

ВОПРОСЫ ЭТНОГЕНЕЗА  
И ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ  
СЛАВЯН  
и  
ВОСТОЧНЫХ  
РОМАНЦЕВ



АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ И БАЛКАНИСТИКИ

ВОПРОСЫ ЭТНОГЕНЕЗА  
И ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ  
СЛАВЯН  
и  
ВОСТОЧНЫХ  
РОМАНЦЕВ

МЕТОДОЛОГИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА 1976

В книге освещаются проблемы этнической истории славян и восточных романцев в Центральной и Юго-Восточной Европе. Особое внимание уделено вопросам методологии и историографии. Отличительной чертой сборника является соединение работ специалистов разных отраслей науки — историков, археологов и лингвистов.

## ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

### Редакционная коллегия:

В. В. ИВАНОВ,

В. Д. КОРОЛЮК (ответственный редактор),  
Г. Г. ЛИТАВРИН, Е. П. НАУМОВ, Н. И. ТОЛСТОЙ

В 1970 г. в составе Института славяноведения и балканстики АН СССР был создан сектор древней истории и средних веков. В соответствии с реорганизацией Института славяноведения в Институте славяноведения и балканстики значительно увеличился территориально объем исследований медиевистов Института, который включает теперь проблематику по двум регионам — Центральной и Юго-Восточной Европе. Вместе с тем изменились и задачи ведущихся исследований, а также хронологические рамки. К исследованиям феодальной эпохи прибавился и широкий круг проблем, связанных с изучением (прежде всего, в плане методологии, источниковедения и историографии) славянского этногенеза, формирования ранне-средневековых народностей Центральной и Юго-Восточной Европы, этнической истории славянских и других балканских народов<sup>1</sup>.

Для координации исследований в этой области и обеспечения комплексной разработки всего обширного круга теоретических вопросов в 1972 г. в Институте была создана межсекторская группа, в состав которой вошли некоторые сотрудники сектора древней истории и средних веков, а также лингвистических секторов Института. Группа ставит своей целью разработку вопросов методологии и методики исследований проблематики славянского этногенеза, выяснение характера исторического механизма образования нового этноса, организацию источниковедческих исследований, связанных с древнейшей историей славян, передвижением славянских племен на Балканы и в Дунайскую котловину, древними племенными связями западных и восточных славян, образованием славянских народностей и других народов в Центральной и Юго-Восточной Европе. Этой проблематике были посвящены доклады В. Д. Королюка, В. В. Иванова, Л. А. Гиндина, Э. А. Рикмана, публикуемые ниже (в первоначальном варианте два первых доклада были напечатаны в журнале «Советское славяноведение», 1973, № 3 и 4).

Вместе с тем, в связи с разработкой данной тематики сотрудники сектора принимали участие в сессиях Научного совета по комплексному изучению проблем славяно-восточных связей

<sup>1</sup> См. подготовленные сектором сборники: «Исследования по истории славянских и балканских народов. Эпоха средневековья (Киевская Русь и ее славянские соседи)». М., 1972; «Вопросы историографии и источниковедения славяно-германских отношений». М., 1973.

и происхождения молдавской народности, созданного в 1970 г. при Академии наук Молдавской ССР. Ряд докладов, сделанных по различным вопросам истории славяно-валахских связей и истории валахов, был опубликован: в 1971 г. отдельной брошюрой была издана работа В. Д. Королюка «Волохи и славяне русской летописи», а в 1972 г. в сборнике «Юго-Восточная Европа в средние века» (т. И. Кишинев) были помещены доклады Г. Г. Литаврина «Влахи византийских источников X—XIII вв.», В. Д. Королюка «О так называемой «контактной» зоне в Юго-Восточной и Центральной Европе периода раннего средневековья». На сессии Научного совета, проведенной в ноябре 1973 г. в Кишиневе, были заслушаны доклады Н. Н. Грацианской и В. Д. Королюка «Проблема этногенеза моравских валахов в современной чехословакской историографии», публикуемый ниже, и доклад Е. П. Наумова «Валашская проблема в современной югославской историографии (средневековые валахи западной части Балканского полуострова)<sup>2</sup>.

К названным работам примыкают также и другие опубликованные по данной тематике исследования. В их числе следует назвать статьи В. Д. Королюка «Волохи и славяне «Повести временных лет»» («Советское славяноведение», 1971, № 4), «К вопросу о месте известий о валахах в «Повести временных лет» (там же, 1972, № 1), «Славяне, валахи, римляне и римские пастухи венгерского «Анонима» (сб. «Юго-Восточная Европа в средние века», 1. Кишинев, 1972), доклад Ю. В. Бромлея и В. Д. Королюка «Славяне и волохи в Великом переселении народов» (сб. «Юго-Восточная Европа в эпоху феодализма». Кишинев, 1973), статьи В. Д. Королюка «Контактная зона в Юго-Восточной и Центральной Европе эпохи раннего средневековья и проблемы ее этнической истории» («Советское славяноведение», 1974, № 1); «Основные проблемы формирования контактной зоны в Юго-Восточной Европе и бессинтезного региона в Восточной и Центральной Европе» («Проблемы социально-экономических формаций. Историко-типологические исследования. М., 1975) и др.

В данной связи следует назвать также выпущенную в 1974 г. монографию В. В. Иванова и В. Н. Топорова «Исследования в области славянских древностей (лексические и фразеологические вопросы реконструкции текстов)».

Говоря о работе межсекторской группы, названной выше, необходимо отметить то обстоятельство, что в настоящее время группа включает только специалистов — историков и лингвистов. Сектор древней истории и средних веков должен пополнить состав сотрудников, прежде всего, историков-античников и археологов. Предполагается привлечь также к участию в работах сектора (и группы) и археологов, этнографов, фольклористов, установить

контакты со специалистами из Института археологии АН СССР, Института этнографии АН СССР, Института русского языка АН СССР, Института истории и Отдела этнографии АН Молдавской ССР и других научных учреждений АН СССР, АН БССР, АН УССР. Имеется в виду также и установление деловых научных контактов со специалистами по славянскому этногенезу в Польше, Чехословакии, Болгарии, Югославии и других странах.

Настоящий сборник, подготовленный сектором древней истории и средних веков и межсекторской группой, является только началом серьезных исследований по проблемам славянского этногенеза, переселения славян в Дунайскую равнину, в областях Балкан и на территории Одро-Лабского междуречья, а также образования восточных, южных и западных славянских народностей и формирования народностей Юго-Восточной Европы (восточные романцы, венгры, албанцы). Сборник включает работы, посвященные тем аспектам широкой проблематики этногенеза и этнической истории, которые в настоящее время в связи с состоянием разработки возбуждают особый интерес и вместе с тем определенные споры и расхождения оценок. Речь идет о подведении итогов и определении перспектив исследований в данной области, о важнейших вопросах методологии (на материале языка, археологических материалов, этнической терминологии).

Вслед за этим сборником сектором и группой были собраны материалы (статьи, сообщения и обзоры) для другого сборника по вопросам этногенеза и этнической истории восточных романцев. В ближайшем будущем в программе сектора и группы имеется подготовка следующих сборников: «Этимология названий славянских племен и перемещение славян в V—VIII вв.», «Этническое славянское самосознание (по письменным источникам до XIII в.)», «Этническое самосознание народностей в Центральной и Юго-Восточной Европе», «Полесье. Лингвистика, этнография, фольклор, топонимика».

Издание серии таких сборников (видимо, один раз в два года) сектора и групп тем самым даст возможность Институту установить связи и прочные контакты с научными центрами за рубежом.

Привлекая силы археологов, лингвистов, этнографов, историков, сотрудников различных институтов в государствах Центральной и Юго-Восточной Европы, сектор и группа смогут вскоре осуществить издание двух комплексных сборников: «Проблема этногенеза славян в современной историографии» и «Проблемы формирования народностей Центральной и Юго-Восточной Европы в современной историографии». Первый комплексный сборник намечается сдать в 1980 г., второй — в 1982—1983 гг. Оба сборника будут отправной точкой, прочной основой для больших, серьезных исследований этногенеза славян и сопредельных народов.

В. Д. Королюк, Е. П. Наумов

<sup>2</sup> Резюме этих докладов опубликованы в сборнике «Историографические аспекты славяно-валахских связей». Кишинев, 1973.

# ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭТНОГЕНЕЗА НАРОДОВ ВОСТОЧНОЙ, ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

## К ИССЛЕДОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ ЭТНОГЕНЕЗА СЛАВЯН И ВОСТОЧНЫХ РОМАНЦЕВ

*В. Д. Королюк*

Проблема этногенеза славян отнюдь не является новой для нашей отечественной науки. Она особенно энергично и многопланово разрабатывалась советскими исследователями в конце 30—40-х годах. Ею занимались такие видные историки, филологи, этнографы и археологи, как А. Д. Уdal'цов, Н. С. Державин, С. П. Толстов, М. И. Артамонов, Б. А. Рыбаков, П. Н. Третьяков и др.<sup>1</sup>. Правда, работы их охватывали главным образом восточнославянский ареал<sup>2</sup>. Происхождение западных славян как самостоятельное и важное направление работы практически не привлекало внимания наших исследователей. Не разрабатывались самостоятельно и вопросы этногенеза восточных романцев. Несколько лучше обстояло дело только в области южнославянской проблематики. В связи с резко ощущимым оживлением интереса к истории Византии именно с конца 30-х годов стали довольно систематически изучаться вопросы славянских переселений на Балканы и славяно-византийских отношений<sup>3</sup>.

Два обстоятельства, хотя принципиально и совершенно разных значения, определили в те годы особую заинтересованность этногенетической проблематикой нашей науки. Советские историки, археологи, лингвисты и этнографы вели свои исследования

<sup>1</sup> Здесь нет необходимости давать подробную библиографическую справку о работах 30—40-х годов. Соответствующие библиографические указания содержатся в книге «Советское славяноведение. Литература о зарубежных славянских странах на русском языке (1918—1960)». М., 1963; см. также: Королюк В. Д., Толстой Н. И., Хренов И. А., Шептулов И. М., Шерлашкова С. А. Советское славяноведение. Краткий обзор литературы. 1945—1963. М., 1963.

<sup>2</sup> См., например: Этногенез восточных славян, т. I. Материалы и исследования по археологии СССР (далее — МИА), т. 6. М.—Л., 1941.

<sup>3</sup> Детальный обзор литературы по этой проблематике см.: Уdal'цова З. В. Советское византиноведение за 50 лет. М., 1969, с. 44—61, 70—79.

в условиях пепримиримой конфронтации с расистской идеологией гитлеровской Германии, отрицавшей какие-либо способности славянских народов к самостоятельному политическому, экономическому и культурному развитию. Трактовка славян как низшей расы надо было противопоставить свою, научную трактовку, чуждую какого-либо расового высокомерия и расовых предрасудков. Конфронтация с расистской идеологией придавала работам советских ученых высокое гражданственное звучание, пафос гуманности, пафос подлинно человеческой защиты прав всех народов, больших и малых.

В то же время интерес к этногенетической проблематике обусловливался, правда, только кажущимся, но все же достаточно прочно закрепившимся в широких кругах нашей научной общественности, убеждением, что теоретические основы этногенетических исследований вполне обеспечены так называемым новым учением о языке акад. Н. Я. Марра. Само собой разумеется, что работы, опирающиеся на единую теоретическую модель, исходящие из методологических принципов одной и той же так называемой яфетической теории, было сравнительно легче планировать и координировать.

В дальнейшем, однако, именно это обстоятельство, т. е. безраздельное господство в этногенетических исследованиях яфетической методологии, сыграло крайне отрицательную роль в судьбе отечественной историографии, посвященной вопросам славянского этногенеза. Как только в начале 50-х годов в результате широкой дискуссии по вопросам языкоznания вскрылись определенные пороки учения о языке акад. Н. Я. Марра, оказавшие тормозящее воздействие на развитие наших лингвистических исследований — важнейшего компонента этногенетических исследований, начался бросающийся в глаза отход от проблематики славянского этногенеза в нашей науке. Предлагавшиеся ранее концепции происхождения славянского или славянских этносов были признаны теоретически несостоятельными<sup>4</sup>. В течение довольно длительного времени не предпринималось сколько-нибудь серьезных попыток заменить старые схемы новыми. Особенно остро ощущался отход от проблематики славянского этногенеза в среде археологов, до того активно участвовавших в его разработке.

Перелом наступил только в конце 50—60-х годах. Но прежде чем коснуться этого перелома, следовало бы подвести некоторые итоги этногенетических исследований конца 30—40-х годов.

Несмотря на несомненную неудачу тогдашних теоретических и конкретно-исторических построений в области этногенетических процессов, особенно в области славянского этногенеза, в нашей науке тех лет было сформулировано несколько важных позитивных принципов, сохраняющих свое определяющее значение и се-

<sup>4</sup> Против вульгаризации марксизма в археологии. М., 1953.

годня. Из принципов этих в первую очередь следует назвать следующие.

1. Признание, что этногенетические исследования по самому своему существу требуют организации комплексной разработки проблематики силами историков, археологов, антропологов, лингвистов и этнографов, что эта проблематика не может считаться исключительной областью какой-либо одной из общественных наук.

2. Научное обоснование того факта, что изучаемые в настоящее время древние этнические процессы, в том числе и процесс славянского этногенеза, не являются процессами биологическими, что в древности нет расово-однородных этносов, что все известные в науке этносы прошли длительный путь развития, характеризующийся сложными явлениями этнического смешения, языкового скрещивания и культурного взаимодействия.

3. Из этого вывода следует, в свою очередь, вывод, что этнические процессы следует рассматривать как социально-экономически обусловленные, трактовать их как процессы общественные, т. е. исторические в полном смысле слова.

4. Признавая доминантой исторического развития усиливающиеся по мере приближения к современности процессы культурного сближения человечества, нет оснований рассматривать этногенетические явления как явления прямолинейные, односторонние, ибо параллельно с явлениями этнической и языковой интеграции постоянно происходили противоположные им процессы этнической и языковой дифференциации на основе специфики социально-экономического развития этносов и их сложных взаимоотношений.

Как уже говорилось, резкое снижение активности в области этногенетических исследований было явлением временными. Уже с конца 50 — начала 60-х годов и особенно с середины 60-х годов эти исследования были возобновлены вновь в достаточно солидных масштабах. Правда, как и ранее, предметом монографического изучения оставался главным образом восточнославянский ареал, а наибольшую активность проявляли археологи. Стали появляться крупные исследования, из которых здесь следует назвать в первую очередь работы П. Н. Третьякова<sup>5</sup>, В. В. Седова<sup>6</sup>, И. И. Ляпушкина<sup>7</sup>. К проблематике восточнославянского этногенеза обратились также лингвисты<sup>8</sup> и антропологи<sup>9</sup>.

<sup>5</sup> Третьяков П. Н. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. М.—Л., 1966; он же. У истоков древнерусской народности. Л., 1970.

<sup>6</sup> Седов В. В. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвилья. М., 1970.

<sup>7</sup> Ляпушкин И. И. Славяне Восточной Европы накануне образования древнерусского государства. Л., 1968.

<sup>8</sup> См., например: Филин Ф. П. Образование языка восточных славян. М.—Л., 1962; он же. Некоторые проблемы славянского этно- и глоттогенеза.—«Вопросы языкоизнания», 1967, № 3; Б. В. Горнунг. Из предыстории образования общеславянского языкового единства. М., 1963, и др.

<sup>9</sup> Алексеев В. П. Происхождение народов Восточной Европы. М., 1969; см. также: Алексеева Т. И. Антропологические материалы по этногенезу вос-

Здесь нет необходимости подробно характеризовать литературу последних лет. В задачи автора не входит попытка дать, хотя бы и в обобщенном виде, библиографическую справку о состоянии отечественных исследований в области славянского этногенеза в настоящее время. Для целей этой статьи достаточно подчеркнуть сам факт активизации этногенетических исследований, указать на развернувшуюся, хотя и далеко не законченную еще в нашей науке, дискуссию по вопросам этнической принадлежности зарубинецкой и черняховской археологических культур, их места в этногенезе славян Восточной Европы. Существенно расширились и советские исследования, посвященные передвижениям славян на Балканах и славяно-византийским отношениям<sup>10</sup>. Важно также, что в разработке этих вопросов теперь участвуют не только историки и филологи, как прежде, но и большая группа археологов. Речь идет об исследованиях Г. Б. Федорова<sup>11</sup> и его молдавских учеников<sup>12</sup>. В результате этих исследований значительно продвинулось вперед изучение так называемой Балкано-Дунайской культуры, по общему убеждению, чрезвычайно важной для правильного понимания этнических процессов, закончившихся формированием болгарской народности, и, как полагают некоторые исследователи<sup>13</sup>, не менее существенной для изучения проблемы происхождения восточно-романских народностей. Не случайно эта культура в болгарской литературе именуется культурой Первого Болгарского царства, а в румынской — культурой Дриду. Сопоставление ее с так называемой салтовско-маяцкой культурой, тесно связанной с хазарским каганатом<sup>14</sup>, как будто бы действительно позволяет в настоящий момент, хотя бы частично, ставить вопросы ее этнической характеристики.

точных славян.—«Советская археология» (далее — СА), 1964, № 3; Великанова М. С. К антропологии средневековых славян Прутско-Днестровского междуречья.—«Советская этнография» (далее — СЭ), 1964, № 6 и др.

<sup>10</sup> Обзор их см.: Удалыцова З. В. Указ. соч., с. 165—194.

<sup>11</sup> Федоров Г. Б. Население Прутско-Днестровского междуречья в I тыс. н. э. М., 1960.

<sup>12</sup> Кратко некоторые итоги этих исследований подведены в работе: Федоров Г. Б. Древние славяне в Прутско-Днестровском междуречье. М., 1969; он же. Итоги и задачи изучения древнеславянской культуры Юго-Запада СССР.—«Краткие сообщения Института археологии АН СССР» (далее — КСИА) 1965, № 105. Библиографический материал собран в брошюре: Бейликчи В. С. Библиография по археологии Молдавии (1941—1966). Кишинев, 1967.

<sup>13</sup> Из молдавских исследователей здесь прежде всего следовало бы назвать И. Г. Хынку. (К вопросу о соотношении восточно-славянской и Балкано-Дунайской культур лесостепной полосы Молдавии.—«Труды Государственного Историко-краеведческого музея МССР», вып. II. Кишинев, 1969). Не вполне ясным остается вопрос о хронологических рамках Балкано-Дунайской культуры. Обычно она датируется VIII — началом XI в. И. Г. Хынку видит, однако, возможность в рамках Молдавии относить ее упадок к XIV в.

<sup>14</sup> Подробнее о салтовско-маяцкой культуре см.: Плетнева С. А. От кочевий к городам. М., 1967.

В области лингвистики наиболее продвинутыми в настоящий момент, по-видимому, следует признать исследования гидронимии, в первую очередь, гидронимов верхнего Поднепровья и Поднестровья<sup>15</sup>. Важные результаты дало при этом сопоставление славянских и балтийских гидронимов и топонимов. В предшествующий период внимание привлекали прежде всего славяно-иранские сопоставления. Эти работы наших лингвистов позволили значительно более четко и определенно трактовать проблематику так называемой балто-славянской языковой общности, уже давно привлекавшую внимание лингвистической науки как в нашей стране, так и за рубежом. «Общий балто-славянский фонд» оказалось возможным рассматривать как историческое, стоящее в ряду сложных этногенетических процессов, явление<sup>16</sup>.

Итак, в настоящее время есть основания говорить не только о простом оживлении интереса в нашей науке к этногенетическим исследованиям, но и довольно явственных конкретных результатах, достигнутых на протяжении последних десяти—пятнадцати лет.

Пытаясь оценить эти результаты в целом, не вдаваясь в детали, даже чрезвычайно существенные, важно, как кажется, подчеркнуть следующие моменты:

1. Совершенно очевидно расширение ареала археологических исследований, выход за пределы сугубо восточнославянской этногенетической проблематики в сторону частично западнославянской, но особенно южнославянской и восточнороманской<sup>17</sup>.

2. Резкое, оказывающее подчас очень сильное воздействие на итоги работы археологов, усиление лингвистических исследований, особенно в области изучения гидронимии и топонимики.

3. Становящееся все более заметным участие антропологов в разработке отдельных конкретных проблем происхождения славян, причем, не только восточных, но частично южных и даже западных, а также и восточных романцев. В

4. Накопление большого нового фактического материала, главным образом при изучении зарубинецкой и черняховской, а по-путьно пшеворской и других культур, побудившее к пересмотру старых этногенетических схем и вызвавшее, пусть и не завершенные,

но плодотворные дискуссии в археологической науке, дискуссии, поставившие на повестку дня важные проблемы теоретического порядка, в частности о соотношении этноса и региона распространения археологической культуры.

5. Бесспорно продолжающееся преобладание в этногенетической проблематике археологов, стремление именно за археологией оставить решающее слово в вопросах этногенеза вообще, славян и даже восточных романцев, в особенности.

Последнее замечание нисколько, разумеется, не умаляет значимости лингвистических или антропологических исследований. Но даже если признать, что лингвистам и антропологам в истекшие десять—пятнадцать лет удалось достигнуть, как кажется, наиболее прочных научных результатов, приходится констатировать все же тот факт, что только археологами в эти годы были предприняты попытки дать крупные обобщающие исследования, в то время как языковеды ограничивались лишь попутным, беглым изложением своих взглядов на проблемы славянского этногенеза<sup>18</sup>, а наши антропологи, лишь недавно обратившиеся к общеславянской этногенетической проблематике, естественно, и не могли еще выступить с трудами такого порядка. Положение это не было, конечно, результатом случайного стечения обстоятельств. Оно, думается, объясняется двумя основными причинами: интенсивным развитием археологических работ, приведшим к необычайному расширению именно археологической источниковедческой базы исследований (обстоятельство это нашло яркое отражение в огромной публикаторской деятельности наших археологов; здесь, пожалуй, достаточно указать только на такое монументальное издание, как «Археология СССР. Свод археологических источников», осуществляемое по инициативе и под общей редакцией Б. А. Рыбакова), и твердым убеждением, причем не только археологов, что именно археологические источники прежде всего способны обеспечить успех изучения этногенетических процессов.

Такое убеждение неоднократно и недвусмысленно высказывалось нашими ведущими археологами, исходящими из постулата о соответствии этноса и археологической культуры<sup>19</sup>, что не мешало, правда, таким дальновидным исследователям, как П. Н. Третьяков, прямо формулировать тезис о неразработанности теоретической базы этногенетических исследований в области археологии<sup>20</sup>. Более того, в среде археологов неоднократно раздавались голоса, призывающие к пересмотру установившегося взгляда на археологическую культуру как безусловный показатель некой бывшей

<sup>15</sup> Топоров В. Н., Трубачев О. Н. Лингвистический анализ гидронимов верхнего Поднепровья. М., 1962; Трубачев О. Н. Название рек Правобережной Украины. Словообразование. Этимология. Этническая интерпретация. М., 1968; ср. Петров В. П. Этногенез слов'ян. Джерела, етапы развития, проблематика. Кіїв, 1972, с. 55—108.

<sup>16</sup> Топоров В. Н. К вопросу о топонимических соответствиях на балтийских территориях и к западу от Вислы.—«Baltoslavica», 1966, № 1/2; Иванов В. В., Топоров В. Н. К постановке вопроса о древнейших отношениях балтийских и славянских языков. М., 1958; Петров В. П. Указ. соч., с. 105—108.

<sup>17</sup> О расширении ареала археологических исследований свидетельствует и появление такого рода изданий, как книги: Кухаренко Ю. В. Археология Польши. М., 1969; Федоров Г. Б. и Полевой Л. Л. Археология Румынии. М., 1973.

<sup>18</sup> Ф. П. Филин. Образование языка...; ср. Бернштейн С. Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961 и др.

<sup>19</sup> Третьяков П. Н. Итоги археологического изучения восточнославянских племен.— В кн.: Исследования по славянскому языкоизнанию. М., 1961;

Седов В. В. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвилья, с. 3.

<sup>20</sup> Третьяков П. Н. Этногенетический процесс в археологии.— СА, 1962, № 4.

этнической общности, рекомендовавших осторожность в этнической интерпретации данных археологии<sup>21</sup>.

Фактом, однако, остается, по признанию самих археологов, то, что все они «исходят из этого допущения (о соответствии этноса археологической культуре.— В. К.) в своей практической работе, даже те, кто выступал или выступает против такого утверждения»<sup>22</sup>.

Непрочность этой либо формулируемой теоретически посылки, либо только практически применяемой в работе стала вскрываться, однако, сразу же и с полной очевидностью, когда исследователи, стоящие на одинаковых методологических позициях, перешли к конкретной разработке проблем происхождения восточных славян. Одна и та же археологическая культура — зарубинецкая — с помощью принципиально не отличающихся друг от друга методов ее этнической интерпретации стала признаваться одними исследователями славянской (П. Н. Третьяков), другими — принадлежащей балтам (В. В. Седов). Показательно при этом, что отсутствие, во всяком случае на данном этапе изучения этногенетических процессов, разработанной на собственно археологическом материале системы критериев этнической дешифровки археологических культур, привело к резкому усилению в археологических исследованиях аргументации, основанной на данных лингвистики. При этом, если судить по противоречивости результатов, эти данные подбирались подчас довольно субъективно, без достаточного учета того реального значения, которое придавали им сами языковеды.

Слабость основной теоретической посылки (т. е. соответствие этносам археологической культуры) не могла не повлиять и на ход дискуссии об этнической принадлежности черняховской культуры. Отнюдь не случайно в настоящее время вырисовывается компромиссный подход к решению этого вопроса в нашей археологической литературе. Таким компромиссом, бесспорно, является находящая себе все большее число сторонников трактовка ее как полиэтнической<sup>23</sup>. И дело здесь совсем не в самом тезисе о полиэтничности, который представляется приемлемым. Этот тезис является скорее результатом общеисторических соображений, чем усовершенствования методики этнической дешифровки археологических источников.

Не случайно и постановка вопроса о славянских элементах в черняховской культуре, по данным археологии, признании

<sup>21</sup> Монгайт А. Л. Археологические культуры и этнические общности. «Народы Азии и Африки», 1967, № 1; Каменецкий И. С. Археологическая культура, ее определение и интерпретация.— СА, 1970, № 2; Клейн А. С. Проблема определения археологической культуры. Там же.

<sup>22</sup> И. С. Каменецкий. Указ. соч., с. 35.

<sup>23</sup> Рикман Э. А. Население Днестровско-Прутского междуречья в первых столетиях н. э.— КСИА, 1969, № 119; он же. О фракийском элементе в черняховской культуре Днестровско-Дунайского междуречья.— КСИА, 1971, № 121.

отсутствия ее генетических связей со славянской культурой VI—VII вв. основывается прежде всего на соображениях общеисторического порядка и фрагментарных сведениях письменных памятников (Певтигеровы таблицы)<sup>24</sup>. То же самое приходится констатировать и при оценке попытки этнического переосмысления археологами таких культур, как лужицкая, поморская, пшеворская и т. д. Подчеркивание здесь этих обстоятельств не означает, конечно, что археологи не должны обращаться к данным письменных источников или пытаться совместить выводы своих конкретных исследований с общей картиной исторического развития изучаемого региона. Как раз наоборот — иначе они перестали бы быть историками. Дело, следовательно, не в методологии археологической науки как науки исторической, а в методике этногенетических исследований, осуществляющихся на археологических материалах. Аргумент можно, конечно, утверждать, что каждому этносу, жившему компактно на четко очерченной территории, должна соответствовать определенная материальная культура, признаваемая этносом своей собственной, поскольку она соответствует условиям его хозяйственной жизни. Компактно расселявшийся этнос имел свою материальную культуру, которую изучают археологи. Иное дело найти признаки принципиального различия материальных культур различных этносов, живущих в аналогичных природных условиях и имеющих одинаковый тип хозяйства. Именно здесь возникают осложнения, побуждающие археологов ставить вопрос о необходимости выделения в материальной археологической культуре элементов, так сказать, этнопоказательных, детерминирующих ее этническую обособленность<sup>25</sup>. Между тем, именно надежной методикой вскрытия этнических детерминативов в материальной культуре археология в настоящее время не располагает. Вполне понятно поэтому, почему подчас принимаемые за такие детерминативы форма и характер жилища, поселения, обряд погребения и другие часто при тщательном рассмотрении оказываются явлениями, определяемыми географической средой, типом хозяйства или широко распространенной формой идеологических, религиозных воззрений. Можно даже указать на примеры, когда в зависимости от типа хозяйства (земледелие, пастушество, например) одному этносу соответствует не один, а два (или более) типа материальной культуры.

<sup>24</sup> Рикман Э. А., Рафалович И. А. К вопросу о соотношении черняховской и раннеславянской культур в Днестровско-Дунайском междуречье.— КСИА, 1965, № 105, с. 46; ср.: Кропоткин В. В. Клады римских монет на территории СССР.— «Свод археологических источников» (далее — САИ), Г4-4, 1961, с. 31, 32. Ср. Ранне-средневековые восточнославянские древности. Л., 1974 (предисловие П. Н. Третьякова), с. 4—7.

<sup>25</sup> См., например: Побаль Л. Д. Славянские древности Белоруссии. Минск, 1971, с. 140—143 и др. Білзія В. І. Історія культури Закарпаття на рубежі нашої ери. Київ, 1971, с. 177.

Так возникает вопрос о принципиальной правомерности суждений об этносе на основе данных сохранившейся от него материальной культуры. Этот вопрос в нашей литературе не нов. Тезис о соответствии этноса и археологической культуры был решительно атакован еще в конце 50 — начале 60-х годов лингвистами, подчеркившими, что язык не тождествен культуре и что нельзя отождествлять археологическую культуру с древними этническими единицами<sup>26</sup>. Решительных противников этот основополагающий тезис археологов-этногенетиков встретил, как уже говорилось, и в среде самих археологов<sup>27</sup>.

При таком положении и при наличии диаметрально противоположных суждений о ходе этнических процессов у исследователей, оперирующих одним и тем же материалом источников, едва ли вызовут удивление горькие признания археолога И. И. Ляпушкина: «Некоторые исследователи, — пишет он, — предпочитают определять принадлежность славянам тех или иных памятников без проверки связи их с достоверными славянскими памятниками, а исходя лишь из того положения, что в более позднее время на данной территории обитали славяне. А, проще говоря, делается это «на глазок», по интуиции. Беда такого подхода состоит не только в том, что мы затрачиваем силы, средства, а также теряем время — что, конечно, имеет свое значение, — сколько в том, что частые изменения во взглядах на историю славянского мира, которые имеют место при таком подходе, создают весьма недоброжелательный настрой к нашей науке, особенно, когда эти повороты совершаются с молниеносной быстротой под углом в 180°, без какого-либо заметного к тому повода»<sup>28</sup>.

Сам И. И. Ляпушкин видит выход из создавшегося положения в обращении к ретроспективному методу, чтобы, отталкиваясь от достоверных славянских древностей X—XIII вв., постепенно углубляться в прошлое<sup>29</sup>.

Ретроспективный метод не вызывает и не может, конечно, сам по себе вызвать возражений. Однако ретроспекция, построенная исключительно на археологическом материале, таит в себе, как кажется, неминуемую неточность и неполноту выводов. Главным при этом являются два следующих соображения:

<sup>26</sup> Филин Ф. П. Образование языка..., с. 72.

<sup>27</sup> Обзор мнений по этому вопросу см.: Артамонов М. И. Археологическая культура и этнос. — В кн.: Проблемы истории феодальной России. Л., 1971. С возражениями против тезиса о совпадении этноса и археологической культуры выступаетпольский исследователь В. Генсель (*Hensel W. Archeologia i prahistoria. Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk*, 1971, s. 465—492); Петров В. П. Указ. соч., с. 114—116. Не имея возможности здесь дать сколько-нибудь полный обзор зарубежной литературы вопроса, соплемемся только на детальный анализ проблем соответствия археологической культуры этносу в работе западногерманского археолога Р. Венскуса (*Wenskus R. Stammbildung und Verfassug. Das Werden der frühmittelalterlichen Gentes*. Köln-Graz, 1961).

<sup>28</sup> Ляпушкин И. И. Указ. соч., с. 27.

<sup>29</sup> Там же, с. 26.

1. Нет оснований полагать, что все последовательно сменявшие друг друга на какой-либо определенной территории археологические культуры уже открыты и выявлены, наоборот, есть все основания думать (и это подтверждает прогресс археологических исследований), что полностью достичь такого выявления, быть может, и не удастся и что построенная на имеющемся материале нисходящая цепь археологических культур, выделенных к тому же не всегда по единому признаку или по ряду вполне сопоставимых признаков, будет отнюдь не идеальной.

2. Материальная культура некоторых этносов, во всяком случае, этносов, практиковавших отгонное пастушеское скотоводство в качестве основного типа хозяйства при вспомогательном характере земледелия, судя по этнографическим данным<sup>30</sup>, такова, что рассчитывать на обнаружение значительных следов ее в археологических раскопках, в сущности, не приходится.

Сложность положения усугубляется трудностью, рискованностью и при всех условиях неразработанностью принципов сопоставления данных археологии и лингвистики, не говоря уже о данных антропологии. В самом деле, как сопоставить лишенные твердых хронологических показателей данные языка (что не исключает возможности датировать отдельные языковые явления по материалам смежных дисциплин) с более или менее хронологически (или даже только стратиграфически) определенными данными материальной культуры? Одним из главных камней преткновения, кстати сказать, здесь оказывается имеющее принципиальный характер положение лингвистики о языке-основе, в данном случае, о праславянском языке — основе праславянской языковой общности. Лингвисты, оперируя этим понятием, часто подчеркивают, что нет возможности локализовать его в пространстве и времени<sup>31</sup>. При таком положении можно понять, конечно, затруднения археологов, но едва ли можно оправдать попытку практически отбросить это понятие, отказаться от него в своих исследованиях, ссылаясь на факт исторического развития языка, как это делает В. П. Петров<sup>32</sup>.

Очевидно, дело все же не в мифичности понятия праславянской языковой общности, а в явном несовершенстве методики комплексных этногенетических исследований, основанных преимущественно на археологических источниках, как, в свою очередь, несовершенстве аналогичных исследований, исходящих главным образом из данных языка. Ведь не более результативным оказалось для решения этногенетических проблем и сопоставление данных археологии и антропологии, антропологии и лингвистики, что побудило некоторых археологов выступить с предложением заменить понятие этногенеза понятием глottогенеза, считать ре-

<sup>30</sup> См., например: Карпатский сборник. М., 1972.

<sup>31</sup> Мейе А. Общеславянский язык. М., 1951, с. 12, 13.

<sup>32</sup> Петров В. П. Указ. соч., с. 114, 115.

шающим не этнические, а только глоттогенетические процессы <sup>33</sup>. На первый взгляд такая подмена понятий — процессов может показаться даже вполне оправданной. В качестве доказательства ее правомерности можно было бы сослаться и на процесс романизации, сопровождавший расширением латыни как общеразговорного языка в Римской империи, на тюркизацию албанцев Азербайджана в результате исламизации и сельджукского завоевания, наконец, на несомненно сохранившиеся черты местного фракийского и иллирийского субстратов в антропологическом типе южнославянских народов <sup>34</sup>.

В пользу такой подмены свидетельствует как будто бы и принятное в этнографии правило, гласящее, что в то время, как изменение физического типа этноса требует процесса этнической метализации, усвоение культуры и языка может происходить и без скрещивания этносов. Язык и культура могут распространяться независимо от антропологических типов, но антропологические типы никогда не распространяются без культуры и языка <sup>35</sup>.

Вопрос этот, однако, при более внимательном рассмотрении оказывается более сложным. Современные этнические процессы, действительно, свидетельствуют в пользу возможности усвоения этносом языка и культуры другого этноса, однако, в условиях их тесных политических, экономических и культурных связей, при полном культурном преобладании одного из этносов. Такое культурное преобладание при политическом и социальном подавлении подчиненных этносов, несомненно, было в Римской империи. Романизация здесь была прежде всего выгодна господствующим классам или слоям покоренных народов, обеспечивая им определенный социальный аванс. Миллионная армия, находящаяся в тесном контакте со снабжавшим ее всем необходимым местным населением, тоже была могучим рычагом романизации. Смена религии и связанных с нею обычаями, политическое и социальное подавление определило деэтничизацию албанцев. Существенно иначе складывались обстоятельства на Балканах, где не было культурного преобладания славян, а массовое заселение ими полуострова достаточно хорошо доказывается письменными источниками. Показательно при этом, что не вся территория, первоначально освоенная славянами, подверглась славянизации. В Пелопоннесе, например, в конце концов возобладал процесс эллинизации <sup>36</sup>.

<sup>33</sup> «Український історичний журнал», 1958, № 6.

<sup>34</sup> Алексеев В. П., Бромлей Ю. В. К изучению роли переселения народов в формировании новых этнических общинностей. — СЭ, 1967, № 2.

<sup>35</sup> Дебец Г. Д., Левин М. Г., Трофимова Т. А. Антропологический материал как источник изучения вопросов этногенеза. — СЭ, 1952, № 1.

<sup>36</sup> Милетич А., Агур Д. Д. Дако-романите и тихата славянска письменност. — В кн.: За народни умотворения, наука и книжница, кн. IХ. София, 1893, с. 16; Тъпкова-Зайкова В. По иякои въпроси за етически промени на Балканите през VI—VII в. — В кн.: Известия на Института за история, т. 12. София, 1963. Направление этнических процессов в Пелопоннесе легко увязывается с характером и масштабами зависимости его от Константинополя.

Следовательно, задача состоит не в подмене или замене одного понятия-процесса другим, а в том, чтобы, признавая как значение процессов этногенеза, так и процессов глоттогенеза, стремиться выяснить конкретную обусловленность, исторический механизм происходящих этнических сдвигов.

При сложившемся положении в археологии и лингвистике, учитывая крайнюю скучность и, порою, неясность, неопределенность показаний письменных источников, отражающих к тому же только конечные стадии славянского этногенеза, нет ничего удивительного, что возобновились старые споры автохтонистов и миграционистов, на что уже обращалось внимание в нашей литературе <sup>37</sup>. Сознание (и, думается, обоснованное), что абсолютизация как автохтонной, так и миграционной теории должна неизбежно привести к ошибочной трактовке этногенетической проблематики, невозможность не учитывать роли этнического субстрата и одновременно понимание того факта, что имеющаяся совокупность данных воспрещает игнорирование миграционных явлений, побудили В. П. Петрова, одного из последних исследователей-археологов, выступивших с обобщающим трудом по проблемам славянского этногенеза, к попытке наметить такую линию научного поиска, которая устранила бы необходимость обращения к обеим этим теориям. По его мнению, «вместо того, чтобы говорить об экспансии... и переселении, надо говорить о культурно-типологических изменениях в географических контактах, изменениях форм и границ в консолидации населения... Географическим контактам соответствуют культурные, связанные культурно-географического порядка — этноязычные, хотя, разумеется, речь идет не о взаимозависимости и тем более об отождествлении» <sup>38</sup>.

Положение, как это не трудно заметить, достаточно туманное, и так или иначе означающее возвращение на позицию автохтонизма. Иного и трудно ожидать, если, с одной стороны, признается, что этническая принадлежность населения определяется языком, а с другой — постулируется, что решающими в конце концов являются безгласные археологические источники <sup>39</sup>.

Как уже говорилось, в задачи пишущего эти строки не входит сопоставление всей литературы вопроса. В настоящей связи важно только отметить основные, определяющие состояние исследований, моменты в разработке проблематики этногенеза славян и восточных романцев. Поэтому, завершая этот по необходимости краткий и очень обобщенный обзор отечественных этногенетических исследований, достаточно будет подчеркнуть три следующих, как кажется, самых существенных обстоятельства:

*(Bon A. Le problème slave dans la Péloponèse à la lumière de l'archéologie. «Byzantium», XX. Bruxelles, 1950, p. 19).*

<sup>37</sup> Петров В. П. Указ. соч., с. 6—10, 134—137 и др.

<sup>38</sup> Там же, с. 135.

<sup>39</sup> Там же, с. 10

1. Серьезное, более чем значительное расширение археологической источниковой базы само по себе не привело еще к достижению надежных результатов в области этногенеза славян.

2. Общее для всех специалистов по вопросам славянского этногенеза стремление к комплексности исследований при безусловной правильности самого постулата о необходимости комплексности оказалось все же больше пожеланием, чем реальным достижением, ибо осталась нерешенной проблема методики археологических и лингвистических, лингвистических и антропологических, археологических и даже исторических (т. е. основанных на письменных источниках) сопоставлений, использовались порою субъективные критерии для исследований такого рода.

3. Для крупных обобщающих работ показательна эмпиричность поиска, пусть и сопровождающаяся, как правило, высоким профессиональным мастерством в той или иной научной области при очень слабом внимании к разработке теоретических основ этногенетических исследований, остававшихся, как правило, статичными: автохтонизм либо миграционизм, этногенез либо глоттогенез, археологическая культура как этническая общность и т. д., в связи с чем теоретически традиционный характер имели и вспыхнувшие вокруг того или иного вопроса научные дискуссии.

Из сказанного не следует, что разработка теоретических проблем этнических процессов полностью отсутствовала в нашей отечественной науке вообще. Однако происходила она отнюдь не в рамках археологии или языкоznания. Разработкой теоретических вопросов этногенеза занимались наши этнографы. Здесь имеется в виду большая дискуссия, проходившая в 1967—1975 гг. среди этнографов и получившая широкое освещение на страницах журнала «Советская этнография»<sup>40</sup>. Несмотря на то, что многое в ходе этой дискуссии можно считать уже достаточно хорошо выясненным<sup>41</sup>, ее нельзя признать окончательно завершенной, о чем свидетельствуют появляющиеся в печати новые материалы<sup>42</sup>.

Вполне понятно, что участники дискуссии, формулируя свои взгляды, опирались отнюдь не только и не столько на материалы проплывших эпох, сколько широко использовали прежде всего наблюдения над современными этническими процессами. Это, од-

нако, не мешает использовать результаты дискуссии для разработки проблематики и организации исследования этногенетических процессов в отдаленном прошлом. Задача состоит в том, чтобы выделить из обширного материала дискуссии те основные положения, которые бесспорно могут быть применены к изучению палеоэтнических явлений.

Каковы же эти положения? Для удобства изложения ниже они формулируются в виде нескольких тезисов, которые попутно в случае необходимости комментируются, исходя из задач изучения этногенеза славян и восточных романцев.

1. Антропологические и этнические категории, как правило, не совпадают — положение, как легко заметить из сказанного выше, не новое в нашей науке.

2. Этнос является устойчивой, исторически сложившейся общностью людей, характеризующейся такими признаками-свойствами, как общность территории, языка, экономических связей, культурного уклада и этнического самосознания, выражавшегося, прежде всего, в сознании действительной или мнимой общности происхождения.

3. Эти признаки-свойства в своей совокупности образуют устойчивую структуру, позволяющую этносу, исторически развиваясь, в зависимости от социально-экономических, в первую очередь, и политических условий, сохраняться в течение длительных периодов, переходя из одной исторической эпохи в другую, включая даже смену формаций.

4. Такие, казалось бы, обязательные свойства-признаки этноса, как общность языка, территории, экономических связей и культурного уклада, нельзя абсолютизировать; потеря одного из этих свойств-признаков не влечет за собой исчезновения этноса. Положение это требует, по-видимому, существенных оговорок применительно к эпохе господства родового строя, когда такие понятия, как племя<sup>43</sup>, язык и племенная территория и даже племенное имя составляли одно неразрывное единое целое, так что потеря одного из них автоматически влекла за собой исчезновение остальных свойств-признаков. Ситуация существенно изменилась на стадии разложения первобытно-общинного строя, в период формирования союзов племен, а затем больших военно-политических объединений и особенно в эпоху Великого переселения народов, когда дисперсность поселений этноса, этническая чересполосица могла и не быть препятствием к сохранению этносом своей отдельности<sup>44</sup>.

<sup>40</sup> СЭ, 1967, № 2, 4; 1968, № 1, 4; 1969, № 2, 5, 6; 1970, № 1, 3, 6; 1971, № 6; 1972, № 3, 5. Показательно, что эта дискуссия отразилась и на страницах журнала «Природа». При ее характеристике ниже учитывается и большая дискуссия по проблематике народности и нации, организованная журналом «Вопросы истории» в 1966—1968 гг.

<sup>41</sup> Итоговой статьей, суммирующей основные результаты дискуссии 1967—1978 гг., можно считать работу: Бромлей Ю. В. К характеристике понятия этнос. — В кн.: Расы и народы, т. I. М., 1974.

<sup>42</sup> Из последних выступлений следует назвать: Чистов К. В. Этническая общность, этническое сознание и некоторые проблемы духовной культуры. — СЭ, 1972, № 3; Бромлей Ю. В. Еще раз о соотношении этнической и экономической общности. — СЭ, 1972, № 5; он же. Опыт типологизации этнических общностей. — СЭ, 1972, № 5.

<sup>43</sup> Род, в силу присущей ему экзогамности, предполагающей неизбежное биологическое и культурное смешение, не может, по-видимому, рассматриваться в качестве самостоятельной этнической единицы. Подробнее об этом см.: Бромлей Ю. В. Опыт типологизации..., с. 64.

<sup>44</sup> Показательно, что именно таким чересполосным или, фигулярно говоря, в «шахматном порядке» представляют себе расселение этносов в Центральной и Восточной Европе в первой половине I тысячелетия н. э. некоторые польские археологи (Hensel W. Op. cit.).

5. Однако сохранение этноса при условии потери им одного из своих свойств-признаков возможно только в том случае, если они в совокупности существовали у него в недавнем историческом прошлом и не исчезли из этнического самосознания.

6. Поэтому решающим условием существования этноса является сохранение им этнического самосознания, выделяющего и противопоставляющего данный этнос соседним, самосознания, особенно остро проявляющегося в условиях непосредственного соседства, а тем более конфронтации с другими этносами. Положение чрезвычайно важное для понимания причин и механизма ассимиляции одним этносом других, например, славянами романизированных или эллинизированных фракийцев, этническое самосознание которых в условиях Римской империи безусловно должно было деградировать, так же как и для выяснения причин устойчивости тех или иных этнических единиц даже в очень сложных социальных и политических условиях (примером могут служить, вероятно, восточные романцы эпохи раннего средневековья). Принимая этот тезис, следует, как кажется, все же оговориться в том смысле, что для периода распада родового строя, эпохи военной демократии и для периода раннеклассовых обществ такие свойства-признаки этноса, как язык и этническое самосознание, остаются еще нерасщепленными — явление, по-видимому, хорошо понимаемое лингвистами. Недаром еще А. Мейе сформулировал тезис, что эпохе так называемого славянского языкового единства соответствовало население, говорившее на одном языке-основе, осознававшее свое единство<sup>45</sup>. Эта нерасщепленность языка — этнического самосознания определялась тем, что именно язык являлся (да и теперь является) основным средством наследственной, в том числе этнической информации, абсолютно необходимой для сохранения этносом своей отдельности. Нарушение механизма этой вертикальной, диахронной наследственной информации, даже сегодня, когда она отступает на задний план перед информацией горизонтальной, синхронной, может вести и ведет к потере отдельными частями этноса этнического самосознания<sup>46</sup>.

7. Обязательное для этноса наличие сознания единства своего происхождения определяет в свою очередь иерархичность этнического самосознания по восходящей линии. Для современных славянских народов эта иерархичность может быть проиллюстрирована на схеме: русский — восточный славянин — славянин, для эпохи Киевской Руси: вятич — русский — славянин и т. д. Значение иерархичности этнического самосознания для процессов славянского этногенеза, образования славянских народностей еще предстоит исследовать, хотя роль его в межславянских контактах не вызывает сомнений. Для этнического развития восточ-

ных романцев тоже могла играть существенную роль иерархия: влах (волох) — римлянин, безотносительно к тому, насколько сама по себе фактически (т. е. исторически) оправдана эта иерархия.

8. Важнейшим свойством этноса является эндогамия — заключение браков внутри этноса, обеспечивающая непрерывность диахронного наследственного пути передачи этнических традиций. Подчеркивая значение этого фактора, нельзя не учитывать, однако, что в абсолютированном виде он показателен лишь для, так сказать, социально угнетенных этносов — этнических изолятов, или, быть может, очень древних племенных этнических единиц. Как правило (и этнографические параллели это очень хорошо показывают), тенденция к эндогамии как доминанта развития сочетается с тенденцией к расширению и увеличению этнической территории и ассимиляции соседних этносов<sup>47</sup>. Думается, что и для понимания палеоэтногенетических процессов эта оговорка имеет существенное значение.

9. Каждому этносу соответствует обычно определенная материальная и духовная культура, осознаваемая этносом полностью или частично, как своя родная, что не исключает подвижности, постоянной обновляемости этой культуры, заимствований из другой этнической среды. «Чистой» этнической традиции еще никогда никому не удавалось выявить. Особой подвижностью обладает именно материальная культура, в которой все же можно выделить более консервативные (например, пища или женские украшения)<sup>48</sup> и менее консервативные элементы, к тому же жестко детерминированные развитием производительных сил, географической средой, типом хозяйства (орудия труда, жилища и т. д.). Последнее обстоятельство может привести к существенной разнице в материальной культуре этноса, расселившегося в зонах с совершенно отличными ландшафтно-географическими условиями (например, степь и горная местность). Этот тезис имеет особенно важное значение для окончательного завершения спора об этнопоказательности археологических культур.

10. Этносу свойственно стремление конституироваться социально, позже — политически в рамках единой территории: условия социальной или политической самостоятельности благоприятствуют нормальному прогрессивному развитию этноса, на что, кстати говоря, уже обращалось внимание в нашей литературе применительно к периоду формирования народностей. Показательно при этом и отчетливо проявляющееся в Центральной и Восточной Европе совпадение границ расселения народностей с политическими границами формирующейся на их основе раннефеодальной

<sup>45</sup> А. Мейе. Указ. соч., с. 5, 6.

<sup>46</sup> С. А. Арutyнов, Н. Н. Чебоксаров. Передача информации как механизм существования этносоциальных и биологических групп человечества. — В кн.: *Расы и народы*, т. II. М., 1972.

<sup>47</sup> На это обстоятельство автору приходилось уже указывать в рецензии на первый том ежегодника *«Расы и народы»* (СЭ, 1971, № 6).

<sup>48</sup> Археологи согласно подчеркивают традиционность лепной домашней керамики (*Відзілка В. І. Указ. соч.*, с. 177; см. также: *Рикман Э. А. Рафалович И. А. Указ. соч.*, с. 53).

государственности<sup>49</sup>. Нет сомнения, что это стремление к социальному, а затем и территориально-политическому конституированию было свойственно и этносам на более ранних стадиях развития, что не мешало им в период разложения родового строя развивать активную территориальную экспансию.

11. С последним тезисом тесно связано и разделение этнических общностей на две большие категории: этнос в узком смысле слова — исторически сложившаяся совокупность людей, обладающих стабильными особенностями культуры и языковой общностью и сознанием своей этнической обособленности (в нашей этнографической литературе этому понятию соответствует обычно термин этникос), и этнос в широком его понимании — этносоциальный организм, предполагающий сочетание собственно этнических свойств с определенными социальными структурами. К этносоциальным организмам или, по терминологии наших этнографов, *это* относятся такие этнические общности, как племя, народность, нация. Характер этносоциального организма определяется принадлежностью к той или иной формации, племя — народность — нация образуют восходящий генетико-таксономический ряд для этносоциальных организмов. Этнос в узком смысле слова (современное понятие национальность) может переходить из одной формации в другую<sup>50</sup>.

Само собой разумеется, что сказанное не охватывает всего содержания дискуссии, происходившей в нашей этнографической науке, тем более, что, как указывалось выше, дискуссия среди этнографов еще не закончена. Важно, однако, другое. Дискуссия подняла много новых теоретических вопросов, связанных с этническими процессами, и важных не только для современности, но и, думается, для решения многих узловых явлений этногенеза народов Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. Она позволяет продолжить исследования в области славянского этногенеза на новом, значительно продвинутом вперед теоретическом уровне.

Это не значит, конечно, что достигнутый теоретический уровень можно признать во всех отношениях достаточным. Вне дискуссии осталось еще много проблем, чрезвычайно существенных для палеоэтнографии. Многие вопросы были затронуты только попутно, без их глубокой разработки.

Не пытаясь охарактеризовать всю ту проблематику, которая так или иначе осталась неразработанной, что потребовало бы самостоятельного исследования, необходимо указать все же на некоторые моменты, имеющие прямое отношение к теме настоящей статьи. Следует заранее подчеркнуть при этом, что при такой оговорке

формулируемые ниже замечания ни в коей мере нельзя считать искривляющими. Замечания эти таковы:

1. К сожалению, до сих пор не было предпринято попыток моделирования исторического механизма основных исторических процессов, таких, как, допустим, процессы ассимиляции или дифференциации этносов, передачи наследственной этнической информации, развития этносов в условиях потери ими своей территории и материальной культуры, возрождения этнического самосознания после длительного периода существования этноса в угнетенном, выражаясь языком биологов, состоянии. Такого рода моделирование, без сомнения, во многом помогло бы при дешифровке древних этнических процессов. Оно позволило бы и поставить очень сложный и неясный вопрос о возможностях регенерации этносов, условиях, благоприятных для этнической регенерации, если таковые возможности мыслимы реально, разумеется.

2. В генетическом ряду племя — народность — нация дополнительного изучения и, возможно, членения требует стадия, отделяющая народность от племени. Главное здесь, как кажется, заключается в том, чтобы четко представить себе принципиальные этносоциальные отличия союзов кровнородственных племен на стадии господства или расцвета родового строя и союзов племен, тоже сознающих единство своего происхождения, но находящихся на стадии распада родового общества. Неизученной остается и этносоциальная структура крупных военно-политических объединений, выходящих за пределы союзов племен, осознающих свое родство, эпохи военной демократии. Здесь лучше изучены только военно-политические объединения кочевников.

3. Важной задачей остается выделение этнопоказательных элементов в материальной культуре с учетом, конечно, ее особой подвижности, с учетом того, что во времени эти показатели сами могут радикально изменяться, обновляться, заменяться другими. Для развития археологических исследований в области этногенеза сейчас это проблема первостепенного значения.

4. В четком определении нуждается такое понятие, как этническая традиция, наследственная информация. Известно, что она изменяется и обновляется во времени, но не изучены ее истоки, в какой мере она в своем происхождении связана с производственной деятельностью, тотемическими мифами, возрастными инициациями, культом предков древнего человечества, каковы направления, каковы основные этапы ее развития на стадиях, предшествующих формированию современных народностей и наций.

5. Слабо изученной остается роль духовной культуры и искусства в развитии этнических процессов. Если охранительная и консолидирующая роль национальной культуры для этноса и этносоциального организма очевидна, если на значение ее в процессе взаимообогащения этносов уже указывалось в этнографической литературе, то сложнее обстоит дело с народной культурой и

<sup>49</sup> Подробнее об этом см.: *Королюк В. Д. Западные славяне и Киевская Русь* (вступительная глава). М., 1964. Здесь же имеется литература по этому вопросу.

<sup>50</sup> Бромлей Ю. В. Этнос и этнография. М., 1973, с. 35—47.

искусством. Обычно довольно ясной представляется опять же их охранительная роль. Однако признать народную культуру и искусство явлением, замкнутым в себе, чуждым внешних воздействий, не позволяют многие конкретные наблюдения над ее развитием. Достаточно, пожалуй, указать на церковную скульптуру эпохи готики и барокко, лежащую в основе польской народной скульптуры XIX—XX вв.<sup>51</sup> или на русскую народную иконопись XVII—XIX вв., через древнерусское и византийское искусство живописи восходящую к эллинистической традиции<sup>52</sup>. Такие примеры легко умножить<sup>53</sup>. Они определенно свидетельствуют в пользу того, что и народная культура и искусство являются своеобразным механизмом духовного взаимообогащения этносов. Особого внимания заслуживает тенденция народной культуры к выработке локальных особенностей, вариантов, а в некоторых случаях (например, в Карпатском ареале) ее способность выйти за пределы этноса, формируя широкий межэтнический культурный круг. Изучение всех этих особенностей облегчит в дальнейшем правильное понимание роли духовной культуры, искусства в этнических процессах древности.

Сказанного достаточно, чтобы представить характер дискуссионных проблем, которые возникают при изучении палеоэтнических проблем. При этом нельзя не учитывать и того, что в полном и точном смысле слова источниковедческой базой специалисты по этногенезу нередко не располагают, что в данном случае комплексное изучение предполагает не столько прямое сопоставление данных лингвистики, археологии, антропологии и письменных памятников, сколько сопоставление полученных в результате их изучения реконструкций. Задачей и итогом анализа должны быть не собственно лингвистические, археологические и другие разработки, а исследования палеоэтнические, комплексные по существу проблематики<sup>54</sup>.

Между тем, именно сопоставление данных имеющихся источников, методика такого сопоставления, как указывалось выше, вызывает наибольшие трудности. Здесь можно было бы ограни-

<sup>51</sup> Grabowski J. Sztuka ludowa. Formy i regiony w Polsce. Warszawa, 1967; Piwocki K. O historycznej genezie polskiej sztuki ludowej. Wrocław, 1953.

<sup>52</sup> Королюк В. Д. Русская крестьянская иконопись (традиция и развитие). — «Etudes balkaniques». Sofia, 1971, N 3.

<sup>53</sup> Даже необычайно яркая связь гуцульской керамической росписи с народным фольклором не исключает ее генетической связи с профессиональным гончарством Коломыи XVIII в., а впоследствии воздействия на нее иконописи, книжной и журнальной графики и т. д. (Губерман Д. Росписи гуцульских гончаров. Л., 1972, с. 22, 30, 31; см. Воронов В. С. О крестьянском искусстве. М., 1972).

<sup>54</sup> Некоторый и в определенной мере интересный опыт постановки такого рода комплексных исследований (с участием археологов и этнографов) имеют лингвисты Института славяноведения и балканистики АН ССРР («Полесье (лингвистика, археология, топонимика)». М., 1967; Лексика Полесья. М., 1968). Принципиальное значение имеет статья: Толстой Н. И. О лингвистическом изучении Полесья. — В кн.: Полесье..., с. 5—17.

читься одной, но очень красноречивой иллюстрацией. Реконструкция, как она рисуется на базе изучения языка-основы, достаточно сложно социально и культурно организованного праславянского общества в настоящее время оказывается несовместимой с теми представлениями об относительной примитивности социальной организации славян в эпоху Великого переселения народов, которые господствуют в нашей исторической науке. Сопоставлению в данном случае должен, очевидно, предшествовать проведенный заново анализ данных языка, но прежде всего археологии и особенно сохранившихся письменных источников<sup>55</sup>. Но это задача, к которой предстоит подготавливаться постепенно, памятая также о том, что сопоставление основанной на лингвистических данных реконструкции с картой археологических культур может дать, во всяком случае первоначально, только альтернативные результаты. В качестве гипотетических праславянских окажется возможным считать не одну культуру, а группу археологических древностей.

Для будущего наших этногенетических исследований в связи со сказанным выше очень большую роль должна сыграть организация равномерно, по возможности синхронно развивающихся разработок во всех возможных направлениях — археологическом, историческом, лингвистическом, этнографическом, даже историко-географическом и историко-социологическом. Только максимальное приближение к теоретически возможным синхронным исследовательским усилиям способно обеспечить действительную комплексность этногенетических исследований, даже если эти исследования будут иметь регионально и хронологически или тематически ограниченный характер.

Сейчас в рамках Института славяноведения и балканистики наиболее продвинутыми и результативными в области славянского этногенеза, бесспорно, являются работы наших лингвистов. Речь идет не только об исследованиях, посвященных, в частности, проблематике балто-славянского языкового единства, гидронимии верхнего Поднепровья и Поднестровья<sup>56</sup>. Интересны по своим предварительным, пусть далеко и не бесспорным еще результатам, опыты комплексного изучения лексики, топонимии и археологии Полесья. Принципиально важной является и постановка задач лингвогеографических исследований на диалектном уровне для решения проблематики этногенеза славян и древних славянских

<sup>55</sup> Королюк В. Д. Вместо городов у них болота и леса... (К вопросу об уровне славянской культуры в V—VI вв.). — «Вопросы истории», 1973, № 12, с. 197—199.

<sup>56</sup> См. указанные выше работы В. В. Иванова, В. Н. Топорова, О. Н. Трубачева; см. также: Топоров В. Н. Очерк истории изучения балто-славянских языковых отношений. — В кн.: Ученые записки Института славяноведения, т. XVII. М., 1957; он же. Из истории изучения древнейших балто-славянских языковых отношений. — Там, же, т. XXIII. М., 1962.

миграций<sup>57</sup>. Изучение гидронимики и топонимии естественно было бы продолжить, расширяя ареал исследований на юг и юго-запад, чтобы постепенно охватить фракийский и, может быть, иллирийский этнический массивы. Важно было бы организовать на должном уровне начатое уже изучение лексических соответствий, в том числе диалектных, в широком географическом ареале.

Должны быть продолжены во вновь организованной группе в Институте славяноведения и балканистики и наши исследования в области индоевропеистики, давшие уже интересные и значительные результаты для изучения ранних этапов славянского этногенеза<sup>58</sup>. Но одновременно должны быть предприняты все меры к тому, чтобы ускорить выравнивание уровней исследований во всех других научных направлениях.

Принимая участие в изучении некоторых как теоретических, методических, так и конкретно-исторических вопросов восточнославянского и западнославянского этногенеза, представляется все же наиболее перспективным при организации комплексных исследований в группе сосредоточиться на проблематике славянских переселений на Балканы и формирования южного славянства и восточных романцев. Наличие всех видов источников — исторических, археологических, лингвистических, антропологических и этнографических, включая данные фольклора, именно в данном случае обеспечивает оптимальные условия для комплексности, не говоря уже о том, что в случае удачи этих исследований будет найдена еще одна твердая опора для развития исследований ретроспективного порядка, разработки методики сопоставления разных типов источников.

Уже первые опыты работы над письменными источниками, относящимися к только что сформулированной проблематике, показали необходимость их тщательного и скрупулезного исследования с учетом внутренней логики памятника. Прежде всего выяснилась многозначность упоминаемых в источниках этнonyms и возможность применения к одному этносу различной по происхождению этненимической номенклатуры<sup>59</sup>. Многозначность этнonyms для рассматриваемого периода характерна, как показывают недавно опубликованные исследования покойного А. П. Ковалевского, посвященные сообщениям о славянах

<sup>57</sup> Подробнее об этом см.: Толстой Н. И. Об изучении полесской лексики. — В кн.: Лексика Полесья; ср.: Б. В. Мартынов. Проблема славянского Полеэтногенеза и методы лингвогеографического изучения Припятского Полесья. — «Советское славяноведение», 1965, № 4.

<sup>58</sup> См., например: Иванов В. В. О значении хеттского языка для сравнительно-исторического исследования славянских языков. М., 1957.

<sup>59</sup> Королюк В. Д. Волохи и славяне «Повести временных лет». — «Советское славяноведение», 1971, № 4; см. также статьи Г. Г. Литаврина о византийских источниках, относящихся к влахам X—XIII вв., и В. Д. Королюка о волошинских этнonymsах в хронике венгерского Анонима (Юго-Восточная Европа в средние века. Кишинев, 1972).

аль-Масуди<sup>60</sup>, и для восточных источников. Многозначным здесь оказывается этноним славяне (сакалибы). Следует учитывать далее, что не только топонимы, но и этнonyms имеют тенденцию отрыва от породивших их этносов, перехода к другим этносам<sup>61</sup>, а многозначность этнonyms не менее показательна и для источников античной эпохи<sup>62</sup>.

Планирование источниковедческих исследований над письменными памятниками предполагает в ряде случаев организацию их новых переводов на русский язык взамен широко используемых археологами устаревших. В настоящее время заканчивается работа над новым и первым на русском языке полным переводом сочинения Константина Багрянородного «Об управлении империей» (Г. Г. Литаврин); начато его научное комментирование. Издание источников будет осуществляться сектором древней истории и средних веков и группой в сотрудничестве с Институтом истории СССР, приступившим к подготовке корпуса древних источников по истории Восточной Европы.

Особенно важной представляется организация новых переводов и научного комментирования латинских и греческих источников, относящихся к истории формирования восточных романцев. Сильное отставание нашей науки по разработке проблем образования восточнороманских народностей в большей мере объясняется слабой исследованностью именно совокупности письменных источников о влахах-волохах, дисперсно расселившихся на обширных территориях Балкан и Карпато-Дунайских земель.

Критический анализ письменных источников призван, естественно, помочь комплексной разработке вопросов происхождения южных славян и восточных романцев. В плане археологическом и этнографическом в настоящее время первоочередной задачей следует считать разработку вопросов о роли античного наследства для социально-экономического, культурного и этнического развития раннесредневековых народностей в Юго-Восточной Европе. Ближайшей целью является полное, по возможности, выяснение этнической характеристики так называемой Балкано-Дунайской культуры, точное определение роли фракийского этнического компонента в процессе формирования древнеболгарской славянской народности и возможности участия в образовании Балкано-Дунайской культуры оседлого восточнороманского элемента.

Если сопоставление данных письменных памятников и археологических материалов позволяет уже сейчас более или менее уверенно судить о славянском земледельческом и тюркоязычном кочев-

<sup>60</sup> Ковалевский А. П. Славяне и их соседи в первой половине X в., по данным аль-Масуди. В кн.: Вопросы историографии и источниковедения славяно-германских отношений. М., 1973, с. 62—80.

<sup>61</sup> Подробнее см.: Никонов В. А. Этнонимия. — В кн.: Этнонимы. М., 1970.

<sup>62</sup> См., например, анализ показаний Страбона о Карпато-Дунайском регионе: Бідзіля В. І. Указ. соч., с. 164—172.

вом элементе в этой культуре, то с дако-фракийским этническим элементом обстоятельства складываются значительно сложнее. Он оказывается практически пока неуловимым в археологических памятниках, хотя и отчетливо выступает в современном и близком к современности этнографическом и антропологическом материале, наблюдается при изучении производственных навыков сложившейся славянской болгарской раннефеодальной народности, ее традиций в области строительной культуры и т. д.<sup>63</sup>, улавливается в данных ономастики и фольклора.<sup>64</sup>

Здесь возможны два решения: либо археологический материал еще просто недостаточен и необходима интенсификация археологических раскопок, либо процессы романизации и эллинизации в рамках Римской империи привели к столь сильной деэтничизации местного земледельческого населения, что оно полностью лишилось осознаваемой этнически своей материальной культуры, а бурные события Великого переселения народов столь сильно подорвали материальные основы его существования, что в условиях упадка позднеримского ремесла и деградации хозяйственной жизни, дако-фракийский земледельческий элемент вынужден был пользоваться однотипной со славянами, не столь развитой материальной культурой.

При условии продолжения соответствующих антропологических, этнографических и фольклорных (быть может, путем картографирования показательных фольклорных серий) работ участие лингвистов в изучении этой проблематики, анализ дако-фракийского языкового наследства в болгарском и восточнороманском языках, сравнение в болгарском языке масштабов этого наследства с наследством греческим и римским тоже способно существенно продвинуть вперед решение вопроса. Одновременно анализ грамматического строя и лексики восточнороманских языков, славянских элементов в них должен помочь в уточнении географии этнического континуитета восточнороманских народностей в Карпато-Дунайском регионе и на Балканах. Вместе с тем, новый шаг будет сделан и в изучении предполагаемого волошско-славянского социально-экономического и этнического синтеза, в условиях которого завершилось становление у волохов феодальных отношений, образование государственности и формирование народностей. Нельзя не учитывать при этом, что хорошо изученный пастушеско-земледельческий тип волошского хозяйства<sup>65</sup> не оставляет как

будто бы больших возможностей для археологических исследований. Приблизительно такое же положение у археологических исследований в ареале Северных Карпат. Следы указаний о наличии пастушества у славян в Карпатах сохранились в сочинениях античных авторов (К. Тацит, Иордан, Прокопий из Кесарии — I — VI вв. н. э.) и в известиях восточных географов (IX в.). Реконструкции фактов пастушества в древности являются главным образом задачей исследований историков-этнографов.

\*

Намеченная выше, пока, разумеется, еще только в предварительном порядке, подлежащая уточнению проблематика группы по изучению этногенеза и этнической истории народов Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы будет в дальнейшем, естественно, расширяться за счет западной части Балканского полуострова и центральноевропейского ареала. Но уже и сейчас она представляется более чем широкой для столь немногочисленной исследовательской ячейки, как паша группа. Тем большее значение должны будут иметь для нее хорошо наложенные научные контакты, деловое сотрудничество с другими научными центрами в нашей стране и за рубежом. Регулярное издание, (один раз в два года) сборника исследований группы должно способствовать развитию контактов и сотрудничества, а достаточно широкая проблематика сборников обеспечит участие в них специалистов разных профилей, советских и зарубежных.

<sup>63</sup> Литаврин Г. Г. Темпове и специфика на социально-экономическото развитие на средневековна България в сравнение с Византия от края VII до края XII в.—«Исторически преглед», 1970, № 6.

<sup>64</sup> Частично касался этих вопросов еще Дацкевич: Дацкевич Н. П. Славяно-русский Троян и римский император Траян.— В кн.: *Serta botyshenica*. Сборник в честь Ю. А. Кулаковского. Киев, 1911; см. также: Державин Н. С. Сборник статей и исследований в области славянской филологии. М.-Л., 1941, с. 7—51.

<sup>65</sup> Подробнее см.: Милич Л. Л., Агур Д. Указ. соч.; Gyoni M. La transhumance des Vlaques balcaniques au Moyen Age.—«Byzantinoslavica», (Pra-

ha), V, XII. 1951; «Симпозијум о средњовјековном катуву». Сарајево, 1963; Dragomir S. Vlahii din nordul peninsulei Balcanice in evul mediu. Bucuresti, 1959; большой обзор литературы содержится в статье: Donat J. Pastoritul romanesc si problemele sale.—«Studii, revista de istorie». Bucuresti, 1966, N 2.

# ЯЗЫК КАК ИСТОЧНИК ПРИ ЭТНОГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ И ПРОБЛЕМАТИКА СЛАВЯНСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ

B. V. Иванов

Изучение праславянского (и соответственно общеиндоевропейского) языка с точки зрения его роли для воссоздания ранней истории и славян (и в целом народов, говоривших на диалектах общеиндоевропейского языка) составляет существенную часть традиционного славяноведения (и изучения индоевропейских древностей) в том виде, в каком эта наука сложилась уже к началу нашего века. Позднее изучение славянских древностей в трудах Нидерле, Мошинского и других классиков этой науки в большой мере основывалось на языковых данных (как и известный компендиум Шрадера и Неринга по индоевропейским древностям). Недавние суммарные характеристики праславянской культуры в основном опираются на лингвистические реконструкции. Но для дальнейшего развития совместных исследований лингвистов, историков, археологов, антропологов, этнографов и фольклористов в этой области представляется необходимым тщательное обсуждение возможностей, предоставляемых каждой из этих научных дисциплин. В настоящей статье рассматриваются те стороны проблематики славянских древностей и этногенеза славян, которые непосредственно связаны с лингвистикой.

1. Прежде всего следует подчеркнуть, что на основании только языковых данных можно сделать выводы, относящиеся исключительно к носителям определенных языков. Изучение праславянского языка позволяет прийти к некоторым заключениям о характере того общества, в котором на нем говорили, но соотнесение этих выводов с данными других дисциплин, где отождествление объектов науки с языковыми фактами может быть достигнуто лишь косвенным образом, нельзя осуществить внутренними средствами самой лингвистики. Но справедливо и обратное: каковы были гипотезы, касающиеся, например, древних балтийских племен и славян, соотношение между их языками может быть выявлено только с помощью сравнительно-исторической грамматики<sup>1</sup>.

В этом состоит смысл утверждения, которое в свое время было отчетливо сформулировано А. Мейе, а по отношению к индоевропейскому было особенно подчеркнуто Н. С. Трубецким<sup>2</sup>: понятие

<sup>1</sup> Ср. Иванов В. В., Топоров В. Н. К постановке вопроса о древнейших отношениях балтийских и славянских языков. М., 1958 (см. также в сб.: Исследования по славянскому языкоизнанию. М., 1961).

<sup>2</sup> Трубецкой Н. С. Мысли об индоевропейской проблеме.—«Вопросы языкоизнания», 1958, № 1.

«общеиндоевропейского» или «общеславянского» языка является прежде всего лингвистическим и может быть определено по чисто языковым критериям. Для адекватного понимания проблематики славяноведения указанное положение имеет исключительное значение: эта наука занимается исследованием разных аспектов истории и культуры всех тех народов, которые и в прошлом и в настоящее время являются носителями языковых традиций, возводимых, в конечном счете, к общеславянскому языку. Но в таком случае языковой аспект славянских древностей является основным; расширенные же понимания других аспектов могут рассматриваться как производные от этого основного.

2. Признание узко языкового характера лингвистических выводов с неизбежностью приводит к постановке вопроса о том, как осуществлять совмещение их с заключениями, полученными представителями смежных наук. В простейших случаях возможно взаимное наложение материалов; так, данные о технической терминологии ремесел, например ткацкого, гончарного, кузнецкого, можно соотнести с фактами истории материальной культуры. Однако и в этом относительно более легком случае лингвистические выводы в большей степени подкрепляются выводами общей типологии развития соответствующих ремесел, чем конкретными археологическими подробностями, так как соответствующие детали, например касающиеся отличий разных типов керамики, не удается связать с лексическими фактами: термины, подобные праслав. \**gъгътъсь*, могли обозначать разные виды глиняных сосудов и горшков. Тем не менее результаты исследования указанного термина представляются существенными для смежных наук, так как связь этого праславянского слова с лат. *fornix* ‘вод, арка’, удостоверяемая данными истории материальной культуры у славян (гончарный горн, крытый сводом из горшков — в Польше, аналогичные факты — в Словении и т. п.) позволяет установить сходство праславянской и древней итальянской гончарной терминологии<sup>3</sup>, что важно для подтверждения ранних контактов носителей соответствующих диалектов<sup>4</sup>. Но особый интерес исследование ремеслен-

<sup>3</sup> См. детальное обоснование этого важного соответствия в кн.: Трубачев О. Н. Ремесленная терминология в славянских языках. М., 1966, с. 197—200.

<sup>4</sup> Другие данные, говорящие в пользу наличия таких контактов, суммированы в публикации: Трубачев О. Н. Несколько древних латино-славянских параллелей.— В кн.: Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков (12—14 декабря). Предварительные материалы. М., 1972, стр. 82—84, где, однако, следует иметь в виду, что славянские соответствия лат. *bige* ‘двойная упряжка’ должны оцениваться как архаизм в свете явно родственного хет. *da-żuga* ‘двугодовалый’ (ср. о его связи с *b’ga*: Иванов В. В. О значении хеттского языка для сравнительно-исторического исследования славянских языков.—«Вопросы славянского языкоизнания». М., 1957, вып. 2, с. 27); см. о других общих латино-славянских архаизмах: Топоров В. Н. Славянские комментарии к некоторым латинским архаизмам.— В кн.: Этимология. 1972. М., 1974; он же. О двух праславянских терминах из области древнего права.— В кн.: Структурно-типологические исследования областей древнего права.

ной терминологии может представить в тех случаях, когда, как это обычно для ключевых терминов соответствующих древних эпох, они обозначали не только определенные аспекты технической деятельности, но в то же время относились и к обширному кругу социальных функций, совмещенных с этой последней. Так, праслав. \**kovālъ* и родственные обозначения ‘кузнеца’<sup>5</sup> в отдельных славянских языках (в частности, в украинском) сохранялось и в качестве обозначения особого мифологического персонажа. Реконструкция соответствующего общеславянского мифа и особой социальной группы кузнецов, имевших не только технические, но и ритуальные функции, подтверждается семантикой соответствующих славянских слов (в.-луж. *kuzło* ‘колдовство’ и т. п.), типологическими данными о роли кузнецов в культурах определенного типа и рядом индоевропейских параллелей<sup>6</sup>, в частности этимологической связью корня праслав. *kov-* и индоиранского *kav-i*, для которого восстанавливается значение ‘шаманствующий’ (откуда в дэвовском авестийском ‘вождь’<sup>7</sup>). На этом примере можно видеть, что надежность семантической реконструкции удостоверяется наличием определенной исторической закономерности, справедливой для разных культур и касающейся не одного изолированного их аспекта (технического), а целого пучка функций (технической — ремесленной, связанной с ней социальной и религиозной). В качестве другого подобного примера можно указать на реконструкцию древних значений праслав. \**obъ-tjo* ‘общий’ (ст. сл. {**ОБЫЦЫ** ‘хосвъс’, серб.-хорв. *obnī*, \**ob(ъ)-lъ* (чеш. *obly* ‘круглый’)<sup>8</sup>, откуда восстанавливается древнее обозначение круглого поселения, что соответствует и археологическим данным<sup>9</sup>, и типологии раннеславянской социальной структуры, имеющей существенные черты сходства с организацией тех коллективов, для которых обычны поселения круглой формы.

3. Наиболее убедительные результаты при наложении друг на друга выводов лингвистических исследований ранней истории

в области грамматики славянских языков. М., 1973, с. 133—139. В том же плане существенны и такие синтаксические сближения, как ослав. \**a ēe* и лат. *atque*, ослав. \**atje* и лат. *etiam* и т. п. (см.: Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. М., 1974, вып. 1, с. 91 и др.)

<sup>5</sup> Трубачев О. Н. Ремесленная терминология..., с. 334 и сл. Ср. также о лужицких отражениях ослав. \**kov-aly* и \**kov-arly* (*Sorbscher Sprachatlas*, 4, *Terminologie des ländischen Gewerks*. Bautzen, 1972, S. 120, 121, карта № 41). См. подробнее о соответствующем украинском мифе о Божьем Ковале в статье В. В. Иванова и В. Н. Топорова в настоящем сборнике.

<sup>6</sup> См.: Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей. М., 1974, с. 158—162.

<sup>7</sup> Герценберг Л. Г. Морфологическая структура слова в древних индоиранских языках. Л., 1972, с. 31.

<sup>8</sup> О соотношении суффиксов в этих словах см.: Иванов В. В. Общеславянская, праславянская и анатолийская языковые системы. М., 1965, с. 208 (там же литература вопроса).

<sup>9</sup> Hensel W. Kształtowanie się osadnictwa słowiańskiego.— In: *Slavia Antiqua*, t. II. Poznań, 1949—1950, s. 6.

славян и гипотез, выдвинутых в смежных науках, изучающих те же периоды, могут быть достигнуты в тех случаях, когда удается соотнести не отдельные факты, а целые комплексы выводов, относящихся к определенным типам культур. Так, восстанавливаемое для балтийского и славянского использование производных от индоевропейского корня \**uel->vel-* в качестве названия ‘скотьего бога’ (дррус. *Велесъ* в договорах русских с греками, позднейшее *Волосъ* и т. п.) или бога загробного мира (лит. *vēles* ‘призраки мертвых’) согласуется с реконструкцией общеславянского представления о загробном мире как пастище. Это подтверждается, с одной стороны, соответствующими данными хеттских, древних индоиранских и древнегреческих текстов<sup>10</sup>, с другой стороны, употреблением обозначения ‘пастиха’ по отношению к богам в тех же языковых и культурных традициях, отражающих скотоводческий тип общеславянской культуры<sup>11</sup>. Характер этой культуры удостоверяется и значительным числом взаимосвязанных лексических реконструкций, относящихся не только к скотоводству, но и к его продуктам (в частности, шерсти) и к их использованию. Той же значимостью скотоводческих терминов объясняется и их переносное употребление в ритуальных контекстах типа ‘пасти’ по отношению к слову или клятве, например, слов. *roti*, *kojihže ne razet* (во Фрейзингенских отрывках), что находит соответствие и в других индоевропейских языках (в частности, тохарском и хеттском), где глаголы, родственные праслав. \**pasti*, выступают в аналогичных контекстах<sup>12</sup>.

4. Основным преимуществом указанных лексических реконструкций является то, что они имеют дело с достаточно широким кругом значений соответствующих терминов, которые соотносямы одновременно с несколькими аспектами древнеславянской и общеславянской культуры. Поскольку целью диахронической типологии является выявление некоторых импликаций (типа «если для материальной культуры данного общества реконструируется роль развитого скотоводства, то проекция скотоводческих отношений обнаруживается и в сфере религии»), ключевые слова данной области, совмещающие несколько соответствующих значений, позволяют проверить надежность соответствующих ре-

<sup>10</sup> Thieme P. Studien zur Indogermanischen Wortkunde und Religionsgeschichte. Berlin, 1952, S. 46 u. f.; Otten H. Hethitische Totenrituale. Berlin, 1958, S. 139—140; Vieyra M. Ciel et enfers hittites (à propos d'un ouvrage récent).— «Revue d'assyriologie et archéologie orientale», 1965, vol. 59, N 3, p. 128; Puuhvel J. ‘Meadow of the Otherworld’ in Indo-European tradition.— In: Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung, Bd. 83. Göttingen, 1969; Ivanov V. V., Toporov V. N. A comparative analysis of the group of the Baltic mythological terms from the root \**vel-*.— «Baltistica» (Vilnius), 1973, VIII (2).

<sup>11</sup> См. подробнее: Иванов В. В. Социальная организация индоевропейских племен по лингвистическим данным.— «Вестник истории мировой культуры», 1957, № 1.

<sup>12</sup> Топоров В. Н. Slovenica.— В кн.: «Вопросы славянского языкознания», вып. 4. М., 1958, с. 92, 93; Иванов В. В. К этимологии русского *пасти*. В кн.: Сб. статей по языкоизнанию памяти М. В. Сергиевского. М., 1961, с. 111—119.

конструкций. Восстанавливаемый тип культуры (как материальной, так и духовной) предполагает несколько разнородных следствий. Если лексические реконструкции, каждая из которых осуществляется порознь, все в целом соответствуют единому типу культуры, то это позволяет считать надежным восстановление всего культурного типа и вместе с тем дает дополнительные критерии для проверки реконструкции значений отдельных слов. Сказанное можно пояснить на примере, относящемся к изучению распространения колесных повозок и колес у индоевропейских племен. Как давно предположил выдающийся археолог Чайлд, диффузия колесных повозок, запряженных на наиболее раннем этапе быками, а позднее конями, могла совпадать с путями миграции ранних индоевропейских племен в пору их разделения<sup>13</sup>. Этот вывод археолога совпадает с лингвистическими данными, которые подтверждают наличие соответствующей терминологии во всех древних индоевропейских языках. Вместе с тем индоевропейские диалекты в этом отношении достаточно сильно отличаются друг от друга. Показательно наличие разных диалектных названий для колеса и колесницы, одно из которых есть в балтийских языках (лит. *rātas* ‘колесо’, мн. ч. *rātai* ‘повозка, колесница’), как и в германских, кельтских, италийских, индо-иранских, а другое (стсл. КОЛО ‘колесо’, КОЛЯ ‘повозка’) объединяет славянские и с восточноиндоевропейскими (греческим, индо-иранским) и некоторыми западноиндоевропейскими (среди них с теми же германскими) языками, а также фригийским и тохарским.

В хеттском языке название ‘колеса’ (в частности, как обрядового символа и судебного знака наказания) *hurki*, совпадающее с тохарским названием колеса, по-видимому родственно, с одной стороны, германским терминам типа др.-исл. *varg-tré*, др.-англ. *warhtreō* ‘дерево преступника’<sup>14</sup>, с другой стороны, рус. *ворожить*, рус. диал. (волог.) *ворожейка* ‘флюгарка, состоящая из длинного, вкопанного в землю шеста, на вершине которого прикреплена палочка горизонтально, на конце последней привязан пучок кудели’<sup>15</sup>. Можно думать, что в этом случае, как и в целом ряде других<sup>16</sup>, славянские языки сохраняют (хотя и в переосмысленном

<sup>13</sup> Childe V. G. Prehistoric migrations in Europe. Oslo, 1950. Ср. также: Иванов В. В. Новая литература о диалектном членении общеиндоевропейского языка. ‘Вопросы языкоznания’, 1956, № 2.

<sup>14</sup> См. об этом, в частности, в связи с этимологией хет. *hurki*; Jacoby M. Wargus, *vargr* ‘Verbrecher’, ‘Wolf’. Eine Sprach- und rechtsgeschichtliche Untersuchung. — In: Acta Universitatis Upsaliensis, «Studia Germanistica Upsaliensia», Bd. 12. Uppsala, 1974.

<sup>15</sup> Словарь русских народных говоров, вып. 5. Л., 1970, с. 109.

<sup>16</sup> Ср., в частности, об ослав. \* *чъгъль* ‘веревка, община’ в работе: Топоров В. Н. О двух праславянских терминах..., с. 119 и сл.; о славянских терминах, связанных с мировым деревом; см.: Топоров В. Н. О брахмане. К истокам концепции. — В кн.: Проблемы истории языков и культуры народов Индии. — Сборник статей памяти В. С. Воробьева-Десятовского. М., 1974, с. 24. Во всех указанных случаях, как и по отношению к русск. диал. *ворожейка*, речь идет о сохранении специального обозначения обрядового предмета.

и видоизмененном виде) такие архаизмы индоевропейской обрядовой терминологии, которые в других диалектах прослеживаются с трудом. Можно думать, что речь идет о том названии колеса как обрядового образа солнца на вершине мирового дерева, которое хорошо еще сохранилось в обычаях отдельных славянских народов вплоть до начала XX в.<sup>17</sup> (но обычно в описаниях этих обрядов использовалось общеславянское название колеса, этимологически отличное от хеттского).

Реконструкция культуры, располагающей колесными повозками, предполагает ряд условий, необходимых для их изготовления, в частности наличие развитой металлургии бронзы<sup>18</sup> и использование соответствующих видов деревьев, в частности, горных пород<sup>19</sup>. В свете этих импликаций и недавних многочислен-

<sup>17</sup> Макаренко И. К. Пречиста в Москалівці. — «Живая старина», 1867, XVI, вып. 1; ср. о купальских обрядах, в которых на шест может надеваться либо колесо, либо пук сена (ср. пучок кудели на ворожейке): Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей. М., 1974, с. 221.

<sup>18</sup> Этот тезис был развит в ряде работ Чайлда, в частности, в его статье: Childe V. G. The diffusion of wheeled vehicles. — In: Ethnographisch-Archäologische Forschungen, Bd. II. Berlin, 1954.

<sup>19</sup> Pigott S. The beginnings of the wheeled transport. — «Scientific American», 1968, vol. 219, N 1, с. 85, 86; он же. The earliest wheeled vehicles and the Caucasian evidence. — «Proceedings of the Prehistoric Society» (London), 1959, vol. 34, с. 266—318.

Из новейших работ о колесницах на Древнем Востоке ср. в особенности Littauer M. A. and Crowell J. H. Terracotta models as evidence for vehicles with tilts in the Ancient Near East. — «Proceedings of the Prehistoric Society», 1974, v. 40, p. 20—37. Отмеченное в последней работе (p. 28) использование колесниц с крытым верхом для жилья может быть подтверждено не только надписью Идриими и из Азалахи, но и еще более ранним употреблением написания *G1š GIGIR MA.AD.NA.NU* ‘спальная повозка’ в древнехеттских анналах Хаттусилиса I (КВо X 2 I 11, Verso III 13, КВо X 1 Vs. 14). Этот термин, как и археологические данные, подобные крытым повозкам из Лчашена и бронзовым и терракотовым моделям таких повозок из различных мест Древнего Востока, подтверждают давнюю идею Хертеля, основанную на анализе др.-инд. *utīpā* как обозначения мифологического ‘дома на колесах’: «Представление о дворцах, которые были одновременно колесницами, не может быть просто плодом воображения... Если, однако, арийские князья кочевников при их появлении в Индии имели такие жилые повозки, которые были всем снаряжены (*ágañkta*), то это могло быть прообразом для повозок богов, которые одновременно были и жилыми повозками. Тогда мифология сохранила такую черту быта, для которой прообраз существовал в человеческом прошлом, позднее забытом» (Hertel J. Die awest. Herrschafts— und Siegesfeuer. — «Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften», 1931, Bd XL, N VI, S. 166). Подобные повозки позднее были обнаружены, с одной стороны, в позднейших индийских свидетельствах (Waldschmidt E. Geschichte des indischen Altertums. — In: Geschichte Asiens. München, 1950, S. 103), с другой стороны, в известных данных о скифских кочевых домах — повозках: Hauschild R. Das Selstlob (Altmastuti) des somaberauschten Gottes Agni. — In: Asia-tica. Leipzig, 1954, S. 259—278, где предложена реконструкция вед. *vandhu* — ‘плетенье из прутьев’, согласующаяся с кузовом, плетеным из прутьев, в колесницах из Лчашена (Мицаканян А. О. Раскопки курганов на побережье озера Севан в 1956 году. СА, 1957, № 2; Есаян С. А. Оружие и военное дело древней Армении, Ереван, 1966, с. 139—140; ср. «Археологические памятни-

ных находок наших археологов на Кавказе очерчивается достаточно ограниченный ареал возможного очага диффузии колесных повозок, охватывающий Закавказье и прилегающие области Древнего Ближнего Востока. Для общеиндоевропейского восстановливаются как упомянутые термины, обозначавшие колесо и колесную повозку (ср. также ослав. \**vozъ* с соответствиями в германском, греческом, индо-иранском), так и названия ее частей (руск. *ось* и т. д.), а также название коня (в славянском замененное другим и, возможно, отраженное только косвенно — в заимствованном названии осла — стсл. **ОСЫЛЫ**, ср. родственное арм. *еъ* ‘осел’ < \**eḱuo-* ‘копь’<sup>20</sup> при важной типологической параллели: шумерск. ANŠU.KUR.RA ‘горный осел’, в позднейших клинописных текстах используемое как обозначение ‘коня’) и бронзы, а также ряд обозначений тех деревьев, из которых могли изготавливаться колесницы, и термины, обозначавшие отдельные части упряжи (дышло, ярмо — стсл. ИГО, слов. *оје* и т. п.). Поэтому реконструируемая индоевропейская культура скорее всего должна быть приурочена к области, находившейся в пределах раннего очага колесных повозок. Давно установленный факт постепенного движения западноазиатских форм колесных повозок через Северное Причерноморье в Центральную Европу<sup>21</sup> подтверждается поздними археологическими открытиями в Венгрии<sup>22</sup>, в свете которых делается вывод о том, что культура, характеризовавшаяся наличием изделий из бронзы (и меди) и колесных повозок, из Передней Азии в конце III тысячелетия до н. э. проникла в долину Дуная. Западноазиатский тип упряжки начинает с XV в. до н. э. распространяться в евразийских степях<sup>23</sup>. Указанные процессы хронологически и пространственно могут быть соотнесены с миграцией индоевропейских племен, часть которых, включавшая и посителей того диалекта, из которого позднее развился праславянский, переселилась из Западной Азии в Северное Причерноморье и далее двигалась на запад<sup>24</sup>.

ки Армении. 4. Наскальные изображения, вып. 1. Ереван, 1970, с. 22—24, рис. 223).

<sup>20</sup> Watkins C. Language of gods and language of men; remarks on some Indo-European metalinguistic traditions.— In: Myth and law among the Indo-European studies in Indo-European comparative mythology. Berkeley-Los Angeles-London, 1970, с. 7.

<sup>21</sup> Кларк Дж. Г. Доисторическая Европа. Экономический очерк. М., 1953, с. 301, 302.

<sup>22</sup> Bóna I. Clay models of bronze age wagons and wheels in the middle Danube basin.— In: Acta archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, t. XII. Budapest, 1964; ср. Калиц Н. Новая находка модели повозки эпохи энеолита из окрестности Будапешта. СА, 1976, № 2, с. 106—116.

<sup>23</sup> Смирнов К. Ф. Археологические данные о всадниках Поволжско-Уральских степей.— СА, 1961, № 1; Sulimirski T. Prehistoric Russia. An outline. London, 1970, p. 275.

<sup>24</sup> Применительно к праславянам указанный процесс обрисован в статье: Golab Z. «Kentum» elements in Slavic.— «Lingua poznanensis», XVI. Warszawa-Poznań, 1972, с. 76 и сл. Ср. также: Gimbutas M. The Slavs. An Outline. London, 1970.

Общеиндоевропейские истоки можно предположить и для целого комплекса ритуалов, связанных с культом коня. На этом пути открываются широкие возможности для сопоставления археологических свидетельств с данными ранних письменных источников. Восточнославянские захоронения коня, обнаруженные в Киеве и Чернигове<sup>25</sup> и обоснованно сопоставляемые со свидетельствами захоронения коня в срубе в былине о Михайле Чотоке и в летописи<sup>26</sup>, имеют разительные параллели как у балтийских племен<sup>27</sup>, так и у индо-иранцев<sup>28</sup> и финно-угорских народов, испытавших иранское влияние<sup>29</sup>. Иранское влияние можно было бы предположить и по отношению к славянскому обряду, так как аналогичный осетинский ритуал, сохранившийся до XX в., восходит к скифскому<sup>30</sup>. Но если это влияние и имело место, оно лишь способствовало упрощению той традиции, которая у балтийских племен и индоевропейцев восходит к общеиндоевропейскому времени. Возможно, что наиболее древние археологические свидетельства этого обряда в Поволжье<sup>31</sup> отражают обычай одной из групп индоевропейцев, мигрировавших через приволжские степи. Давно уже сделанное предположение о том, что конь сопутствует воинским погребениям правителей или князей<sup>32</sup>, соответствует аналогичной интерпретации захоронений в повозках на Кавказе<sup>33</sup> и в Анатолии<sup>34</sup>, где они также (хотя бы отчасти) связываются с индоевропейским этническим слоем.

<sup>25</sup> Блифельд Д. И. К исторической оценке дружинных погребений в срубных гробницах Среднего Поднепровья IX—X вв.— СА, 1954, XX, с. 148—156; Каареер М. К. Древний Киев, I. М.-Л., 1958, с. 187, 200.

<sup>26</sup> Воронин Н. Н. Погребение коня в срубе в 1149 г.— КСИА, 1971, № 125, с. 23—26.

<sup>27</sup> Кулаксауские Р. К. Погребение с конем у древних литовцев.— СА, 1953, XVII.

<sup>28</sup> Калоев Б. А. Обряд посвящения коня у осетин.— В кн.: «Труды VII Международного конгресса антропологических и этнографических наук», т. 8. М., 1970, с. 35, 36.

<sup>29</sup> Дубыкин А. Ф. Малышевский могильник.— «Краткие сообщения Института истории материальной культуры», 1949, вып. XXV, с. 131.

<sup>30</sup> Ср. о культе лошади у индоевропейских племен: Литвинский Б. А. Кангюйско-сарматский фарн. Душанбе, 1968, с. 28—35; о возможной роли индо-иранских племен в распространении коневодства в Северном Причерноморье см.: Кузьмина Е. Е. Навершие со всадниками из Дагестана.— СА, 1973, № 2, с. 187 и сл.

<sup>31</sup> Смирнов К. Ф. О погребениях с конями и трупоположением в Поволжье.— СА, 1957, XXVII, с. 209 и сл.; он же. Быковские курганы.— «Материалы и исследования по археологии СССР» (далее — МИА), 1960, № 78, с. 240; ср. Алиев И. Рец. на кн.: Грантовский Э. А. Ранняя история индоевропейских племен Передней Азии.— «Вестник древней истории», 1973, № 3, с. 177.

<sup>32</sup> Воронин Н. Н. Указ. соч., с. 24, примеч. 14.

<sup>33</sup> Массон В. М. Древние гробницы вождей на Кавказе (некоторые аспекты социологической интерпретации).— В кн.: Кавказ и Восточная Европа в древности. М., 1973, с. 108, 109.

<sup>34</sup> Mellaart J. The Chalcolithic and Early Bronze Ages in the Near East and Anatolia. Berlin, 1966, p. 155; Mellink M. J. Excavations at Karataş, Semayük and Elmalı, Lycia, 1972.— «American Journal of Archaeology», 1973, vol. 77, N 3, p. 300.

Представляется возможным, что обычай наряжения коней в маски, отраженный в житии Даниила Галицкого (см. Ипатьевскую летопись под 1252 г.), имеет общее происхождение с теми масками коней-грифонов в пазырыкских курганах, которые соотносятся с представлениями о «небесных конях», распространявшихся в Восточной Азии, благодаря позднейшим миграциям индоевропейцев — на восток<sup>35</sup>. С той же символикой коня как птицы, подтверждаемой разными индоевропейскими культурными и языковыми традициями, связан и обычай украшать крыши домов двумя коньками (или двумя изображениями птиц), причем в германском арсенале устойчиво сохраняется соотнесение этих двух коньков с двумя «конскими» именами дуальных вождей (Hengest и Horsa), функции которых разъясняются из реконструированной для общеиндоевропейской дуальной социальной организации<sup>36</sup>. В восточнославянских, в том числе и в новгородских обрядах принесения коня в жертву при закладке дома<sup>37</sup> можно видеть подтверждение того, что в символах на крыше и в их названиях отражена особая обрядовая роль головы коня, доказываемая и фольклорными материалами. На славянской почве достаточно хорошо засвидетельствован и культ двух мифологических близнечных существ, связанных с конями, который позднее отразился в христианизированных образах двух святых — коневодов Флора

<sup>35</sup> Pulleyblank E. G. Chinese and Indo-Europeans.—«Journal of the Royal Asiatic Society», 1966, pt. 1—2; Иванов В. В. Опыт истолкования древнеиндийских ритуальных и мифологических терминов, образованных от *aśva* ‘конь’.—В кн.: «Проблемы истории языков и культуры народов Индии». М., 1974, с. 138, примеч. 181. В том же отношении существенный интерес представляет китайское мифологическое представление о Большой Медведице как «колеснице, указывающей на юг» (*Юнь Кэ*). Мифы древнего Китая. М., 1965, с. 12, 122 (п рис. 16), 360, примеч. 68), ср. аналогичное представление у хеттов (хет. *þurkīuš* ‘колеса’ Большой Медведицы: Иванов В. В. Реконструкция индоевропейских слов и текстов, отражающих культа волка.—«Известия АН СССР. Серия литературы и языка», 1975, т. XXXIV, 5, с. 404, примеч. 40), фригийцев (*χιλλήτην ἄρχον τὸ ἄστρον*), балтийских народов (лит. *Didieji Gržiūlo Ratai*, лат. *greizie rati*). Это совпадение может быть присоединено к другим ранее указавшимся сближениям, позволяющим аргументировать западноазиатское (вероятно, индоевропейское) происхождение древнекитайской колесницы: Васильев Л. С. Проблемы генезиса китайской цивилизации. М., 1976, с. 275—279.

<sup>36</sup> Ward D. The Divine Twins. Berkeley and Los Angeles, 1968; Иванов В. В. Отражение индоевропейской терминологии близнечного культа в балтийских языках.—В кн.: Балто-славянский сборник. М., 1972; ср.: он же. Опыт истолкования древнеиндийских ритуальных и мифологических терминов, образованных от *aśva* ‘конь’.—В кн.: Проблемы истории языков и культуры народов Индии. М., 1974, стр. 136.

<sup>37</sup> Миронова В. Г. Языческое жертвоприношение в Новгороде.—СЛ. 1967, № 1. Существенный интерес представляет соотнесение со сходными южнославянскими и другими балканскими обрядами (*Vrabie G. Baladă porumbelor găinăra*. Bucureşti, 1966, р. 69 и сл.; *Eliade M. Comentarii la legenda Mesterului Manole*. Bucureşti, 1943), достаточно древний характер которых подтверждается свидетельствами византийских авторов (см. сводку данных и сравнительно-этнографический анализ в работе: Зеленин Д. К. Тотемы деревьев в сказаниях и обрядах европейских народов. М.-Л., 1937, с. 10—12).

и Лавра<sup>38</sup>. Функция соответствующих близнечных божеств, сходных с древнеиндийскими ашвинами (от др.-инд. *aśva-* < \**ēkṣo-* ‘конь’), восстанавливается благодаря реконструкции социальной структуры, где каждое из таких божеств соотнесено с одним из дуальных предводителей и с одним из рядов символической двоичной классификации<sup>39</sup>. Таким образом, исследование проблематики индоевропейских и праславянских обозначений повозки и упряжи связывается как с другими аспектами изучения истории славянской материальной культуры, так и с реконструкцией основных характеристик духовной культуры и социальной организации. Реконструкция каждого из отдельных звеньев в этой цепочке взаимосвязанных явлений могла бы остаться спорной, но наличие определенных отношений импликации между ними доказывает вероятность всей системы в целом.

5. На основании проведенных в последние десятилетия исследований в области лингвистической реконструкции индоевропейских и праславянских древностей достигнуты существенные результаты, которые должны постоянно учитываться и представителями смежных дисциплин, занимающихся восстановлением дописменной истории славян.

Реконструирован набор природных реалий, позволяющих дать достаточно точную экологическую характеристику той природной среды, к которой относились названия животных и растений в праславянском и общеиндоевропейском. Для историка славянских древностей первостепенное значение имеет вывод автора повейшей монографии об индоевропейских названиях деревьев, согласно которой праславянский лучше всех других групп индоевропейских языков сохранил индоевропейскую систему обозначения деревьев<sup>40</sup>. Из этого следует, что «носители общеславянского языка в общеславянский период жили в экологической зоне (в частности, определяемой по древесной флоре), сходной или тождественной соответствующей зоне общеиндоевропейского, а после общеславянского периода носители различных славянских диалектов в существенной степени продолжали жить в подобной области»<sup>41</sup>.

С точки зрения отмеченной выше существенной особенности лексических реконструкций, которые благодаря многозначности значений основных терминов могут относиться одновременно к нескольким аспектам культуры, следует подчеркнуть, что в прасла-

<sup>38</sup> Н. Малицкий. Древнерусские культуры сельскохозяйственных связанных по памятникам искусства.—«Известия Академии истории материальной культуры», 1932, т. 11, вып. 10, с. 21—26.

<sup>39</sup> Относительно славян соответствующие выводы были намечены еще в 1941 г. А. М. Золотаревым, см.: Золотарев А. М. Родовой строй и первобытная мифология. М., 1964; ср. рецензию: Иванов В. В. Дуальная организация первобытных народов и происхождение дуалистических космогоний.—СА, 1968, № 4. Ср. также сходный вывод: Gasparini E. L'orizzonte culturale del «mir».—«Ricerche slavistiche», 1962, X, p. 3—21.

<sup>40</sup> Friedrich P. Proto-Indo-European Trees. Chicago, 1970, p. 166.

<sup>41</sup> Ibid., p. 167.

вянский период достаточно хорошо сохраняются многообразные семантические внутритекстовые связи, позволяющие восстановить культовую роль отдельных деревьев. В частности, славянские и балтийские языки и фольклорные традиции на этих языках свидетельствуют о непосредственном продолжении тех общеиндоевропейских представлений, которые связывались с дубом и с дубовой рощей на горе как святилищем бога грозы (praslaw. Региль, лит. Perkūnas,ср. лат. *quercus* < \**perkw* — ‘дуб’) <sup>42</sup>. Такие засвидетельствованные в раннеславянских письменных источниках формулы, как *Перунов дуб на горе* (грамота 1302 г. галицкого князя Ільва Даниловича, определяющая границы владений епископа Перемышльского), приурочены к той самой области (прикарпатской), древнее название которой в ряде западных индоевропейских диалектов образовано от общеиндоевропейского имени бога-громовержца, ассоциировавшегося с дубом, ср. сохранившую у античных авторов кельтскую форму древнего названия Карпат *’Аркӯна (бр) Нергунія (silva)* при др. в. нем. *Virgumnia*, *Firgunnea* (Рудные горы), ср. в. нем. *Virgunt* (Судеты) <sup>43</sup>, соответствующее лит. *Perkūnija* (первоначальное значение ‘священная дубовая роща на возвышенности, посвященная богу-громовержцу’).

Некоторые существенные архаизмы сохранены и в таких праславянских названиях животных, как термин, обозначающий лосося (водившегося не только в реках бассейна Балтийского и Северного морей, но и в реках Кавказа и азиатских водных бассейнах), древность которого подтверждалась, благодаря обнаружению соответствия не только в балтийском и германском, но и на крайнем востоке индоевропейского ареала — в тохарском (с развитием значений ‘лосось’ > ‘рыба’, связанным с миграцией тохар из водных бассейнов, где водились лососевые). Однако при непрерывности традиционных названий деревьев, легко объясняемой гипотезой о расселении из Северного Причерноморья (а еще ранее — Кавказа, древесная флора которого близка к северо-причерноморской), в отношении названий животных обнаруживаются некоторые существенные изменения, которые можно было бы объяснить исходя из гипотезы о переселении древних индоевропейских племен с юга на север (соответственно с юго-востока на северо-запад); ср. сохранение только в южных индоевропейских языках названий таких животных, как ‘лев’ (арм. *inj*, др. ипд. *simha* с иранскими соответствиями).

Предложенная в последнее время гипотеза, согласно которой при миграции на запад носителей диалектов общеиндоевропей-

<sup>42</sup> Иванов В. В. и Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей, с. 14 и сл.

<sup>43</sup> Ср. Иванов В. В., Топоров В. Н. Карпаты в связи с проблемами расселения древних индоевропейских племен. — В кн.: Симпозиум по карпатскому языкознанию. Тезисы докладов. М., 1973. Ср. замечания о Карпатах в связи с этногенезом славян: Трубачев О. Н. Ранние славянские этнонимы — свидетели миграций славян. — «Вопросы языкознания», 1974, № 6, с. 49 и сл.

ского языка из первоначальной территории, находившейся в Западной (или Центральной) Азии, часть диалектов (в том числе и тот диалект, из которого развился праславянский) образовала вторичное единство в Северном Причерноморье <sup>44</sup>, может найти подтверждение в таких лексических фактах, как название ‘моря’, общее для западных индоевропейских языков (гот. *marei*, др. ирл. *muir*, лат. *mare*), балтийских (лит. *mārės*) и славянского (\**mōrje*) <sup>45</sup>, при наличии других терминов в остальных индоевропейских языках (хет. *aguna* — ‘море’, др. инд. *sal-ila* ‘море’ < \*‘соленое’ и т. п.). Существенными в той же связи представляются и такие обозначения времен года, как ‘осень’, общие для славянских (стсл. *ОСЕНЬ*, рус. *осень*, чеш. *jeseň*), балтийских (prus. *assanis*), германских (гот. *asans* ‘время уборки урожая’) языков, но являющееся не общей их инновацией <sup>46</sup>, а архаизмом, подтвержденным хет. *zeni* ‘в конце лета’ (‘осенью’; *zen* — < \**sen* — сезон, включающий 8-й месяц; хет. форма локатива *zeni* тождественна дррус. *осени*, с.-хорв. *jесени*).

6. Первоначальная западноазиатская территория реконструируемой общеиндоевропейской культуры находилась достаточно близко к древнейшим центрам ближневосточных городских цивилизаций, что доказывается как приведенными выше аргументами, касающимися распространения колесных повозок, так и фактами, подобными открытому В. М. Иллич-Свитычем пласту семитских заимствований в общеиндоевропейском. Этому географическому приурочению соответствует высокий уровень и технического ее развития, и соответствующих социальных установлений. Для общества этой эпохи устанавливается общественная дифференциация. В частности, необходимо подчеркнуть общеиндоевропейский характер таких терминов, как дррус. **ЛЮДИНЬ** ‘свободный человек’, находящего наиболее точные соответствия в балтийском и германском <sup>47</sup>. Восстановливаемое на основании лит. *liāudis*

<sup>44</sup> Гамкелидзе Т. В., Иванов В. В. Проблема определения первоначальной территории обитания и путем миграции носителей диалектов общеиндоевропейского языка. — В кн.: Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков. Предварительные материалы. М., 1972, с. 23. О культуре Европы до миграции индоевропейцев с востока ср. *Gimbutas M. Cult, myth, and images of Old Europe, 7000—9000* B. C. London, 1973; Goodenough W. *Evolution of pastoralism and Indo-European origins*. — In: *Indo-European and Indo-Europeans*. Philadelphia, 1970.

<sup>45</sup> Более раннее значение отражено в скифском (осет. *mal* ‘глубокая стоячая вода’; Абаси В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка, т. II. Г., 1973, с. 69), армянском (*mavr* ‘болото’), хетт. *ma(r) mara* ‘болото’ ‘точь’ (с редупликацией, ср. *Poetto M. Due note lessicali etce*. — «Paideia», 1973, 28, p. 177, 178).

<sup>46</sup> Вопреки проф. Х. Станту (*Stang Chr. S. Lexikalische Sonderüberstimmungen zwischen dem Slawischen, Baltischen und Germanischen*. Oslo, 1972, S. 74).

<sup>47</sup> Ср.: *Stang Chr. S. Op. cit.*, S. 32 и 74. Исключительный интерес представляет отражение в лит. *arvas* другого индоевропейского прилагательного со значением ‘свободный’, древность которого удостоверяется хет. *agawa* — ‘свободный’ (ср. в связи с прус. *arwīs* Топоров В. П. Прусский язык. Слово

и родственного латыш. *laudis* (в диалектах ‘свои люди’, ср. рус. *свои люди*) значение ‘свободный земледелец’, ‘принадлежащий к своей замкнутой социальной группе’ подтверждается явственно земледельческим характером архаических римских ритуалов типа *Liberalia* и слов других индоевропейских языков, родственных лат. *liber* ‘свободный’ от \**leudh-* ‘расти’<sup>48</sup>. Противоположный латинский термин *seruus* ‘раб’ происходит из \**pecu* — *seruus* ‘скотовод-пастух’, что доказывается этимологическим отождествлением лат. *seruare pecus* ‘сторожить скот’ и авест. (*spā*) *pasuš.haunig* ‘(пес), сторожащий (мелкий рогатый) скот’, ср. предполагаемую некоторыми исследователями связь с этим корнем этнонима *сербы*<sup>49</sup>. Таким образом, противопоставление ‘свободный’ — ‘несвободный’, ‘раб’ возводится по лингвистическим данным к противопоставлению ‘свой, земледелец’ — ‘чужой, скотовод’ (к семантике последнего противопоставления можно привести многочисленные параллели из той же «Авесты»). В случае, если пол. *pasierb* ‘пасынок’ связано с тем же корнем<sup>50</sup>, в семантическом развитии этой группы слов можно видеть частичную параллель и к соотношению между стсл. РЯБЬ, РЯБОТЯ, гот. *arbaip̄s*, арм. *arbaneak* ‘слуга, помощник’ и греч. *όρφανος* ‘сирота’, которое (как и близкие по значению слова западных индоевропейских языков) prawdoшодобно объясняются изменением ранних имущественных отношений.

Наличие терминов, относящихся к ‘богатству’, ‘воровству’ (стсл. ТАИТИ, соответствующее хет. *tai-*), ‘нищете (ср. праслав. \**ne-bogъ*, \**u-bogъ*, архаизм которого подтверждается недавним обнаружением сходного по семантической структуре хет. *a-šiū* — *ant-* ‘нищий’, где *šiū* < \**dieu-* ‘бог’), подтверждает картину существенной экономической дифференциации общества. Древ-

варь. А—Д. М., 1975, с. 112), лик. *arawa* (в том числе в контексте, где, как и в подобных хеттских текстах, речь идет об освобождении, ср.: *Laroche E. La stèle trilingue récemment découverte au Lébdon de Xanthos; le texte lygien.—Academie des inscriptions et belles — lettres. Comptes rendus des séances de l'année 1974. Janvier — mars*. Paris, 1974, p. 117 (строки 12 и 21), 123 — с очень спорными этимологическими соображениями).

<sup>48</sup> См. анализ семантического развития слов этой группы: *Benveniste E. Le vocabulaire des institutions indo-européens. I. Economie, parenté, société*. Paris, 1969, p. 321—325, там же о лат. *liberi* ‘дети’.

<sup>49</sup> *Grégoire A. L'origine et le nom des croates et des serbes. — «Byzantium», 1944—1945, 17; Moszyński K. Pierwotny zasięg języka prasłowiańskiego*. Wrocław—Kraków, 1957, s. 147 и далее (там же ср. объяснение этнонима *хорват*, обычно признаваемого иранизмом, из скифской формы того же слова, но ср. иное объяснение; Трубачев О. Н. Ранние славянские этнонимы..., с. 61).

Представляется вероятным сближение с индоевропейской основой \**seru*, \**soru*, восстановленной на основании хеттской и кельтских форм: *Watkins C. Hittite šaru, Old Irish serb, Welsh herw. — «Indo-European Studies II»*. Cambridge, Mass. 1975, p. 322, 321 (сам Уоткинс отвергает сопоставление с лат. *seruos*, см. р. 327, но не дает никаких обоснований) в значении ‘добыча’.

<sup>50</sup> Ср. о разных этимологических объяснениях: Трубачев О. Н. История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959, с. 53, 54.

ность соответствующих социальных терминов удостоверяется такими точными сближениями, как стсл. НИЩЫ ‘πτωχός’ (рус. *нищий*, с.-хорв. *ništ* ‘бедный’) и др. инд. *nīṣṭya-* ‘находящийся вовне = вне касты, чужой’, где суффикс \**tīo-* имеет общеиндоевропейское значение, связанное с определением положения «по координатам не в материальном пространстве, а в социальном поле общества»<sup>51</sup>.

К числу несомненных архаизмов праславянской социальной терминологии относится ряд деталей системы терминов родства, в частности разграничение кузенов по отцу и по матери<sup>52</sup>, что соответствует данным о кросскузенном браке, вытекающем из дуально-экзогамной организации общеиндоевропейского общества, предположенной Бенвенистом и вслед за ним рядом других исследователей<sup>53</sup>. Ценность этого вывода состоит в том, что он соглашается с данными о наличии черт дуальной организации, сказывающихся в двойчной символической классификации в праславянском<sup>54</sup>.

Относительная простота соответствующих структур в праславянской культуре не всегда может рассматриваться как архаизм. Теоретически можно считаться и с возможностями упрощения более сложных систем, унаследованных от общеиндоевропейского. Одним из факторов, способствующих такому упрощению, могло быть удаление от тех ближневосточных культурных центров, близ которых локализуется общеиндоевропейская территория. Но необходимо отметить, что целый ряд черт общеиндоевропейских поэтических текстов, реконструированных в работах последних лет, достаточно хорошо отразился и в славянских традициях<sup>55</sup>. В частности, тема прославления боевой славы (слав. *slav-* < < \**kle/ou-*) предводителя дружины, восстановленная в качестве основной для ираноевропейского прототипа древних индо-иранских, древнегреческих и древнегерманских фольклорных текстов<sup>56</sup>, достаточно хорошо отражена и в общеславянской ономастике, и в

<sup>51</sup> *E. Benveniste. Hittite et indo-européen*. Paris, 1962, p. 104.

<sup>52</sup> Ср. к истории изучения и типологии древнерусской системы: *Крюков M. B. Система родства китайцев (эволюция и закономерности)*. М., 1972, с. 55, 56.

<sup>53</sup> См.: *Л. Г. Герценберг. Указ. соч.*, с. 67—72; там же новейшая литература, к которой следует теперь присоединить книгу: *Gates H. P. The kinship terminology of Homeric Greek. — International Journal of American linguistics*, 1971, vol. 37, Supplement, N 4, p. 45 и далее (там же об отличии балто-славянской терминологии от других диалектов).

<sup>54</sup> Золотарев А. М. Указ. соч.; *E. Gasparini. Op. cit.*; Иванов В. В. и Топоров В. Н. Славянские языковые моделирующие системы. М., 1965.

<sup>55</sup> См. о метрике: *Watkins C. Indo-European metrics and archaic Irish verse. — «Celtica», 1962, vol. VI; Церетели Г. В. Метр и ритм в поэме Руставели и вопросы сравнительной версификации. — В кн.: Контекст. 1973. Литературно-теоретические исследования*. М., 1974, с. 131—139.

<sup>56</sup> *Schmitt R. Dichtung und Dichtersprache der indogermanischer Zeit*. Wiesbaden, 1967.

соответствующих фрагментах текстов, которые можно восстановить для праславянского периода<sup>57</sup>.

7. Для смежных исторических дисциплин исключительное значение имеет то, что славянское языкознание, как и сравнительно-историческая грамматика индоевропейских языков, уделяют все большее внимание временному и пространственному приурочению тех процессов, которые устанавливаются на основе собственно языковых соотношений. Благодаря используемым в настоящее время способам определения относительной хронологии диахроническая лингвистика с достаточной четкостью разграничивает разные эпохи развития праславянского, начиная с той древнейшей эпохи, когда он практически неотличим от прабалтийского (в настоящее время он считается многими исследователями поздним этапом его эволюции) вплоть до выделения отдельных диалектов в пределах еще реально единого общеславянского<sup>58</sup>. Характер развития таких поздних заимствований общеславянской эпохи, как имя императора Карла Великого (771—814 гг. н. э.), дающее архаические фонетические рефлексы и словообразовательные производные (рус. королевич, пол. królewic, с.-хорв. крálјeviћ — производное на \*-itje- от основы на -jī- из основы на \*-jī-<sup>59</sup>) позволяет считать, что еще в этот период общеславянский язык был еще реальноностью<sup>60</sup>, хотя географическое и историческое расчленение общеславянской области уже началось с V—VI вв. н. э., благодаря движению южных славян на Балканы. Если языковые процессы этой эпохи поддаются соотнесению с археологическими данными, подтверждающими единство материальной культуры славян в VI—VII вв. н. э.<sup>61</sup>, то значительно более сложным остается вопрос о соотнесении более ранних этапов эволюции праславянского языка с конкретными археологическими данными.

<sup>57</sup> Иванов В. В., Топоров В. Н. К реконструкции праславянского текста.— В кн.: Славянское языкознание. М., 1963, с. 134.

<sup>58</sup> Birnbaum H. Zur Problematik der zeitlichen Abgrenzung des Urslawischen.— «Zeitschrift für slavische Philologie», 1970, Bd. XXXV, N. 1; *idem*. Problems of typological and genetic linguistics viewed in generative framework. The Hague — Paris, 1970; *idem*. Common Slavic. Progress and Problems in its Reconstruction. Ann Arbor, 1975.

<sup>59</sup> Meißner A. Общеславянский язык. М., 1951, с. 295, § 418.

<sup>60</sup> Селищев А. М. Славянское языкознание, т. I. М., 1941, с. 15. Но ср. Lunt H. G. Old Church Slavonic \*kraljъ? In: «Orbis Scriptus Dmitrij Tschizewskij zum 70. Geburtstag». München, 1966.

<sup>61</sup> Баран В. Д. Ранні слов'яні між Дніпром і Прип'яттю. Київ, 1972; см. там же о выделении двух основных типов раннеславянской культуры. Диалектные различия в пределах позднего общеславянского языка (значение которых для проблемы этногенеза особенно подчеркивает О. Н. Трубачев) суммированы в кн.: Furdal A. Rozpad języka prasłowiańskiego w świetle rozwoju głosowego. Wrocław, 1961; H. Birnbaum. The dialects of Common Slavic.— В кн.: Ancient Indo-European dialects. Berkeley—Los Angeles, 1966. Обзор данных о прародине славян см.: Birnbaum H. The original homeland of the Slavs and the problem of early Slavic linguistic contacts.— «The Journal of Indo-European Studies», 1973, v. I, N 4.

Существенно продвинувшиеся в последние годы исследования гидронимики верхнего и правобережного Поднепровья и Повиселья очень ценные для определения тех этнических слоев, которые на этих территориях могли предшествовать праславянам, но их значение особенно велико именно по отношению к наиболее древним эпохам ввиду исключительной архаичности названий рек (прежде всего, крупных). Для периодов же, непосредственно предшествовавших появлению письменных памятников, гидродинамика дает сравнительно мало. Так, выделение венетского пласта гидронимов в Северной Польше и иллирийского в Южной Польше<sup>62</sup> еще не может служить достаточным аргументом для описания пути славянских миграций, так как пережиточное сохранение названий рек на протяжении исключительно больших временных интервалов делает гидронимику инструментом более мощным, чем те тонкие методы, которые были бы нужны по отношению к хронологически менее удаленному периоду.

Напротив, интересных результатов по отношению к поздним периодам можно ждать от изучения этнонимов, на что в последнее время не раз обращали внимание и историки<sup>63</sup> и лингвисты<sup>64</sup>. Особенно интересной представляется проблема возможности выводов о направлении миграций, которые можно сделать на основании совпадения этнонимов в разных ареалах. Так, из наличия этнонаима *Kryvitsani* на Пелопоннесе при Крите<sup>65</sup> в Мессении, *Crivitz* в Мекленбурге, др. рус. *Кривичи* (Крівичуї у Константина Багрянородного) делается вывод о миграции соответствующих славянских этнических образований с востока на юг<sup>66</sup>. Существенным в таких случаях для характеристики праславянской культуры может оказаться и исследование внутренней формы подобных этнонимов. Если верно допущение, что приведенный этноним образован от имени родоначальника племени \*Krivъ<sup>66</sup>, то на основании обычного для слов этого этимологического гнезда значения ‘левый’ здесь можно было бы видеть след мифа о герое типа греческого Лая — отца Эдипа (ср. греч. λαῖς ‘левый’; родственно рус. левый) и иранского Имы и др.-исл. *Umír*, которые (как и типоло-

<sup>62</sup> Milewski T. Nazwy z obszaru Polski podejrzane o pochodzenie wenetyjskie lub iliryjskie.— In: *Slavia Antiqua*, XI, Poznań, 1964, s. 37—86.

<sup>63</sup> Королюк В. Д. К исследованиям в области этногенеза славян и восточных романцев.— «Советское славяноведение», 1973, № 3, с. 89, 90.

<sup>64</sup> Трубачев О. Н. Славянские этнонимы...; Топоров В. Н. Заметки по балтийской этногенезе.— В кн.: III Всесоюзная конференция по балтийскому языкознанию 25—27 сентября 1975 г. Тезисы докладов. Вильнюс, 1975, с. 147—150. Cp. Maher J. P. The ethymology of Common Slavic \*Slovene 'Slavs'.— «The Journal of Indo-European Studies», 1974, vol. 2, N 2, 143—156.

<sup>65</sup> Трубачев О. Н. Славянские этнонимы..., с. 62, 66, ср. с. 55, 56; Miklosich F. Die Bildung der slavischen Personen- und Ortsnamen. Heidelberg, 1927, S. 270—271.

<sup>66</sup> Фасмер М. Этимологический словарь русского языка, т. II. М., 1967, с. 375.

Ср. подробнее о группе слов, связанных с этим названием, в статье В. В. Иванова и В. Н. Топорова в настоящем сборнике.

тически им соответствующие герои других мифологических традиций) характеризуются соотнесенностью с левой рукой и соответствующим рядом двойчной символической классификации<sup>67</sup>.

Исключительный интерес представляет и исследование возможных истоков некоторых древнеславянских географических обозначений, от которых образованы этнонимы: так, тип \*ротог'апе (в отличие от кельт. *morīnī*), ср. название Померании и т. п., можно было бы сравнить по структуре с типом шугн. Rōtēg (руш. Ротіг), разъясняемого на основании сближений с гр. γεο-μόρος ‘получивший участок при разделе земли’, др.-англ. mearc ‘граница, район, межа’ (хотя возведение к иранск. \*rāga — mārga<sup>68</sup> сделало бы это структурное сближение славянского и иранского обозначений сомнительным).

8. Основные этапы развития праславянского языка лежат между концом общеславянской общности в I тысячелетии н. э. и предполагаемой миграцией западных индоевропейских племен из Азии в Северное Причерноморье (или на Балканы), начавшейся вскоре после разделения индоевропейских диалектов около III тысячелетия до н. э. Для наиболее ранних этапов этого развития реальной оказывается не столько конкретная локализация праславян, сколько определение места праславянского и прабалтийского среди других близких индоевропейских диалектов. В частности, исключительный интерес представляет выявление некоторых социальных терминов, общих только для германского, балтийского и славянского и позволяющих предполагать лексическую инновацию в таких важнейших для общеиндоевропейской лексики областях, как терминология дара и обмена. К таким терминам относятся стсл. ДРОУГЬ, выступающий, как и соответствующие балтийские и германские термины<sup>69</sup>, в качестве замены термина взаимности типа др. инд. ari, хет. agaš, ср. хет. agraš аган ‘друг друга’; стсл. ДБЛЬ, ДБЛИТИ<sup>70</sup>; ср. также характерные соответствия между стсл. ГОСТЬ и др. исл. gestr ‘гость’ (в том числе о боге), лат. hostis; стсл. ГОСПОДЬ: лат. hospes и т. д. Для определения места праславянского в кругу родственных диалектов многое дает выявляемая в последнее время специфика грамматической и акцентологической системы балтийских и славянских языков, сохранивших целый ряд архаизмов, утраченных в древнегреческом, армянском и индо-иранских языках, где морфология глагола подверга-

<sup>67</sup> См. об этом подробно: Иванов В. В. Об одном типе архаичных знаков искусства и пиктографии.— В кн.: Ранние формы искусства. М., 1972.

<sup>68</sup> Ср. Абаев В. И. Рец. на кн.: Герценберг Л. Г. Морфологическая структура корня.— «Вопросы языкознания», 1974, № 2, с. 132.

<sup>69</sup> Ср. Stang Chr. S. Op. cit., с. 73. Подробно см. Иванов В. В. Происхождение семантического поля славянских слов, обозначающих дар и обмен. В кн.: Славянское и балканское языкознание. Проблемы интерференций и языковых контактов. М., 1975, с. 50—78, особенно с. 76 (о диалектных связях внутри индоевропейского ареала).

<sup>70</sup> Ibid., S. 17, 70 (со ссылкой на анализ данной группы слов у Н. С. Трубецкого).

лась существенной перестройке. Поэтому объединение этих языков в восточноиндоевропейскую группу вместе с балто-славянским<sup>71</sup> только на основании немногих фонологических критериев (таких, как развитие заднеязычных и связанного с ним изменения з в определенных позициях) оказывается несостоятельным. Благодаря этому грамматические исследования последнего времени подтверждают возможность отнесения балтийских и славянских языков к западноиндоевропейской (по терминологии Мейе и Порцига) или «древнеевропейской» (по терминологии Крае) группе индоевропейских диалектов, что давно уже стало вероятным, благодаря исследованию их лексики<sup>72</sup>. Однако оба эти термина едва ли можно считать удачными, если учсть, что они относятся к периоду совместного обитания носителей этих диалектов в Северном Причерноморье. Последняя локализация, согласующаяся и с приведенной выше характеристикой славянских названий деревьев по отношению к индоевропейским, позволяет думать, что передвижение носителей прабалтийского на север из этой области, вызвавшее существенные изменения в отношениях между балтийскими и славянскими языками, не может датироваться достаточно древним временем. К более поздней эпохе, связываемой с появлением носителей восточноиранских языков в Северном Причерноморье, относятся те лексические связи праславянского с иранским (в частности, в религиозной терминологии), которые всего отчетливее выявляются по мере привлечения новых данных иранских языков<sup>73</sup>. Совместное изучение указанных ранних эпох в истории праславян оказывается возможным прежде всего на основе лингвистических данных, остающихся поэтому центральными для всей проблематики славянского этногенеза.

<sup>71</sup> См.: Порциг В. Членение индоевропейской языковой области. М., 1964.

<sup>72</sup> Ср. выводы последней книги Станга: Stang Chr. S. Op. cit. Ср. выше о славянском и латинском.

<sup>73</sup> Трубачев О. Н. Из славяно-иранских лексических отношений.— В кн.: Этимология. 1965. М., 1967; Топоров В. Н. Из наблюдений над этимологией слов мифологического характера.— В кн.: Этимология. 1967. М., 1969; Иванов В. В. Заметки о типологическом и сравнительно-историческом исследовании римской и индоевропейской мифологии.— «Труды по знаковым системам». (Тарту) IV, 1969.

# НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ДРЕВНЕГО БАЛКАНСКОГО СУБСТРАТА И АДСТРАТА

Л. А. Гиндин

Настоящая работа<sup>1</sup> распадается на три неравные части. В первой, самой краткой, высказывается несколько теоретических положений. Краткость этой части обусловлена, главным образом, поставленными задачами, которые в данном случае мыслятся весьма прагматическими, и поэтому углубление в теорию здесь не представляется целесообразным<sup>2</sup>. Во втором разделе показываются основные тенденции в изучении субстратного языкового наследия типа догреческого, усилившиеся в последнее десятилетие. Наконец, в третьей, самой обширной части мы более пространно остановимся на изучении фракийских языковых реликтов и попытаемся подвести некоторые итоги, полученные нами в этой области.

1. Переядя к изложению теоретического раздела, можно отметить два, по всей видимости, бесспорных положения. Во-первых, феномен лингвистического субстрата, адстрата и, соответственно, суперстрата — одно из явлений, наиболее тесно связанных с этногенетическими процессами, поскольку субстратно-суперстратные языковые отношения всегда сопряжены с двуязычием и возникают в результате субстратно-суперстратных этнических взаимодействий. В этом смысле данная тема теснейшим образом включается в проблематику этногенеза тех народов, которые складывались в исторические отрезки, прямо не отраженные в письменных источниках. Во-вторых, трудно найти в Европе другой географический район, где бы проблемы субстрата были столь же актуальны и столь же осложнены, как в языковой и этнической истории Балканского п-ова. Частично характеристика этого обстоятельства посвящена упоминавшаяся выше наша статья «Проблемы античной балканстики»; там же о предмете античной лингвистической балканстики, методе исследования и этноязыковых ареалах в догреческий и парагреческий период.

Между прочим, неизбежное при субстратно-суперстратных отношениях двуязычие нашло отражение у греческих историков.

<sup>1</sup> Публикуемая статья представляет собой почти неизмененный вариант доклада, прочитанного в марте 1972 г. в группе этногенеза в Институте славяноведения и балканстики АН СССР; именно жанром устного сообщения вызвана скопость библиографических примечаний.

<sup>2</sup> В совокупности проблематика, связанная с изучением субстратных языков Балкан, рассматривается в ряде других наших работ, см., в частности: Гиндин Л. А. Языки древнейшего населения юга Балканского полуострова. М., 1967, *он же*. Проблемы античной балканстики. Лингвистический аспект. Вопросы языкознания (далее — ВЯ), 1973, № 1 и т. д.

Так, Фукидид четко свидетельствует (IV, 109), что несколько городов на п-ове Атос были населены смешанными племенами варваров, говорящими на двух языках, т. е. «по-варварски и по-гречески»: *αἱ οἰχοῦται Ἑῳδίκητοις, ἔθνεσι βαρβάροις διγλώσσωι*, букв. «племенами двуязычных варваров». Большую часть их составляли пеласги, принадлежащие к тирсенам, когда-то населявшие Лемнос и Афины, а также бизальты, крестоны и эдоны. Здесь пеласги упомянуты вместе с тремя определенно фракийскими племенами, что в известной мере иллюстрирует нашу мысль о генетической принадлежности «пеласгского» догреческого слоя к фракийскому этническому комплексу, о чем ниже сказано подробнее.

Однако продолжим наши общие рассуждения о субстрате. В плане азбучных истин известная триада терминов — субстрат, адстрат, суперстрат — вряд ли нуждается в дополнительных definicijax. Впрочем, одно положение следует подчеркнуть. Из указанных самым емким и общим содержанием обладает понятие адстрата; этот термин в максимально возможной степени конкретен и более всего отражает механизм и специфику языковых контактов, предполагая длительное сосуществование этносов и языков. В значительной мере феномен субстрата оказывается частным проявлением адстратных взаимодействий.

Тем не менее в материале все обстоит значительно сложнее, во всяком случае на Балканском п-ове, где, как принято считать, наблюдаются классические формы субстрата (например, догреческий, дославянский и пр.).

Прежде всего в именах парицательных, доступных наблюдению, трудно отличить обычное заимствование из соседних языков от субстратного проникновения. Затем, в отличие от анатолийской, индоарийской ономастики Передней Азии, ономастики севера России и т. д., в балканском ареале, где туземные языки догреческого и дославянского периодов сохранились лишь в виде ономастических реликтов, мы сталкиваемся с труднейшим казусом, когда апеллативная субстратная лексика, наряду с прочими ярусами обычного языка, величина искомая, ср. сходную картину при реконструкции скифского языка<sup>3</sup>.

С другой стороны, топонимический ландшафт и ономастический континуум в целом представляет собой плоскость проекции разновременных и лингво-этнически разнохарактерных фактов; причем это наблюдается на любых хронологических срезах, начиная с древнейших греческих фиксаций. Это неукоснительно требует диахронической стратификации предполагаемых субстратных элементов в качестве необходимой процедуры оперирования с подобными фактами. Лингвистическая ситуация здесь совершенна противоположна археологической, откуда заимствовано понятие страта, если, разумеется, раскопки велись квалифицированно.

<sup>3</sup> Ниже речь везде будет идти о балканском ареале.

Необходимо специально отметить, что в послевоенные годы существенно сместились акценты субстратных разысканий. Пафос исследований этой проблематики в настоящее время заключается именно в конкретном познании самих реликтовых субстратных языков (фракийского, иллирийского, македонского и т. д.) и в проверке предложенных ретроспективных реконструкций, базирующихся на закономерных отклонениях от ортодоксальной сравнительно-исторической фонетики и в минимальном размере морфологии языка суперстрата. Указанный методологический прием пришел и несомненно в состоянии приносить в будущем немалые результаты, однако не столь достоверные и обширные, чтобы реальная ценность субстратных лингвистических фактов стала величиной, могущей удовлетворить все чрезвычайно многочисленные случаи апелляции к языковому субстрату в работах, касающихся современных и древних языков Балканского п-ова и шире Средиземноморья.

Нет смысла останавливаться на таких попсепсах, как обращение к фракийскому субстрату в поисках так называемой «утери» инфинитива в албанском. Позволим себе привести другой пример, трактовка которого в настоящее время стала хрестоматийной, несмотря на имеющиеся возражения. В современной балканистике почти общепринято, что балканский языковый союз всей совокупностью своих специфических черт обязан влиянию древнего балканского субстрата. Не говоря уже о том, что балканский субстрат никогда не был гомогенным, можно указать на гносеологические ресурсы, таящиеся в исследованиях балканских языков с точки зрения их тесного межъязыкового контактирования и естественной при этом затрудненности общения, наблюдавшегося в даллом районе с древнейших времен. Следует заметить, что Сандрельд, впервые выделивший специфические особенности современных балканских языков ни о каком субстрате не помышлял, а имел в виду обычную лингвистическую интерференцию в условиях долговременных и постоянных межъязыковых контактов. О том же думали Мейе, Скок, Белич и Младенов, не признававшие даже термина «балканский языковый союз». Судя по отчету Заимова, этот вопрос вновь дискутировался на II Международном конгрессе по балканистике в Афинах<sup>4</sup>. В частности, недавно Розенцевейг как раз в плане теории языковых контактов вновь рассмотрел проблему замены инфинитивных конструкций финитными<sup>5</sup>.

В этом весьма щепетильном месте мне хотелось бы быть правильно попятым. Мы отнюдь не склонны умалять значение субстратных воздействий на современные балканские языки. Но важ-

но настоятельно указать на необходимую и разумную осторожность при обращении к субстрату и на обязательное попимание всей специфики воздействия субстрата на язык-восприемник. В этой связи заслуживает внимания мысль, высказанная С. Б. Берингтейном 30 лет назад на особой сессии, посвященной проблемам субстрата<sup>6</sup>, что падение склонения в болгарском, предполагая влияние субстрата, не обуславливает тем не менее обязательное отсутствие падежной системы в поглощаемом языке, т. е. во фракийском.

Указанное обстоятельство, а также то, что языковые, этнические и археологические ареалы, как правило, механически не налагаются друг на друга, порождает необходимость, осуществляя комплексный подход к проблемам субстрата и его влияния на этиогенез и пр., вести исследования лингво-этнических и других культурно-исторических явлений до определенного момента независимо в рамках каждой из отдельных научных дисциплин (лингвистики, археологии, истории, искусства, этнографии в широком понимании, т. е. фольклор, мифология, литература и т. д.), компетенции которых подлежит изучение каждого данного явления или группы явлений.

Этому способствует, кроме того, и совершение различная ценность факта в перечисленных областях знания, получаемого столь же различающейся суммой рабочих приемов. Здесь уместно напомнить знаменитую работу Хейли и Блегена относительно догреческого субстрата, опубликованную в 1928 г., состоящую, по сути, из двух самостоятельных работ, лингвистической и археологической, и объединяемых лишь картой и выводами<sup>7</sup>.

II. Начало догреческим и, как бы сказали теперь, парагреческим изыдиум, отвечающим требованиям науки, было положено Паулем Кречмером в его и по сию пору непревзойденном труде «Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache», вышедшем в 1896 г., т. е. 80 лет назад. При этом Кречмер привлекал конкретные работы своих предшественников, таких как К. Наули, Г. Майер, В. Томашек. Всякий, кто хорошо знаком с этой во всех отношениях превосходной книгой, мог обратить внимание, что она почти целиком в своей конкретной части посвящена проблемам адстрата, т. е. взаимодействию с соседними языковыми ареалами: балканским, включающим фрако-фригийский, иллирийский, македонский и пр., и малоазийским с ликийским, лидийским, карийским и т. д.; только восемь страниц он счел нужным уделять XI предпоследней главе «Догреческий народ Элады». Хотелось бы обратить особое внимание на указанное обстоятель-

<sup>4</sup> Балканско езикознание, 1973, XVI, 1, стр. 86, сл.

<sup>5</sup> Розенцевейг В. Ю. Языковые контакты. Л., 1972, с. 58 сл.; ср.: Иванов В. В. К типологическому и сравнительно-историческому исследованию инфинитива в балканских и других ираноевропейских языках.— В кн.: Симпозиум по грамматической типологии современных балканских языков (15—16 января 1974 г.). Предварительные материалы. М., 1973, с. 8, сл.

<sup>6</sup> Доклады и сообщения Института языкоznания, IX. М., 1956, с. 130—134; см. доклад: Абаев В. И. О языковом субстрате. Там же, с. 57—69.

<sup>7</sup> The Coming of the Greeks: I. Haley J. B. The Geographical Distribution of Pre-Greek Place-Names; II. Bleleg C. W. The Geographical Distribution of Prehistoric Remains in Greece.— «American Journal of Archaeology», 1928, XXXII, 2, p. 141 ff.

ство, так как в нем в полной мере отразилось целесообразное соотношение объемов, которые должны, по нашему убеждению, занимать проблемы субстрата и адстрата в изучении истории языка, во всяком случае греческого.

В течение долгой научной деятельности (Кречмер умер 9 марта 1956 г.) он много занимался выявлением и стратификацией додревеских слоев, видоизменял и модернизировал свою протоиндоевропейскую теорию происхождения додревеского «пеласгского» слоя, впервые высказанную им в 1925 г., придав конце концов к мысли о двух гетерогенных слоях додревеского субстрата: 1) анатолийский (восточносредиземноморский), инидоевропейский, занесенный в континентальную Грецию, Крит и прочие острова лелегами или карийцами, родственный хеттскому и далее кавказским языкам; 2) дунайский, протоиндоевропейский или ретоторренский (рето-пеласгский)<sup>8</sup>.

С прогрессом наших знаний, особенно в послевоенные годы, менялась общая характеристика этих слоев. Они оказались по лингво-этническому материалу в массе своей индоевропейскими, но конфигурация и соотношение слоев были определены совершенно точно, данные же конкретного порядка и сейчас не потеряли своего позитивного значения. Правомерно в связи с таким положением венцей задуматься, в чем же причина столь поразительного научного проникновения? Думается, это обусловлено достаточно очевидным моментом: Кречмер и соизмеримые с ним учёные конца XIX — начала XX в. не факты приводили в соответствие с созданными теориями, а, наоборот, свои концепции создавали в зависимости от лингвистической и экстраглавионистической ценности фактов. К тому же Кречмер не терял перспективы ареально близких юга Балканского п-ова языков, всегда оставаясь на почве внешнего языкового сравнения.

Иное дело Вл. Георгиев. Будучи учеником Кречмера — одного из пионеров применения ареальной методики в индоевропейской и классической филологии, Георгиев в период, когда про странственная лингвистика уже получила богатые результаты в исследовании древних языков, поступил, скорее, как истинный младограмматик, синтезируя в словарном составе греческого языка все случаи отклонения от греческой исторической фонетики и реконструируя особый индоевропейский язык — остаток самостоительной ветви индоевропейских языков в качестве гомогенного субстрата греческого языка. В своей исследовательской практике он исходил именно из главного младограмматического постулата о безысключительности действия фонетических законов. Я не буду подробно останавливаться на теории Георгиева, поскольку его работы у нас известны больше, чем труды Кречмера, замечу лишь, что если сам Георгиев время от времени говорил о возмож-

<sup>8</sup> См. обобщающую работу: Kretschmer P. Die vorgriechischen Sprach- und Volkschichten. — «Glotta», 1940, 28; 1943, 30.

ном родстве «пеласгского» с фракийским и/или (?) с хеттским, то его последователи Мерлинген, Хаас, Ван Виндекенс и особенно Карнуа довели его идеи о совершенно независимом индоевропейском языке додревеского субстрата до больших крайностей. Ср. малодостоверные гипотезы Ван Виндекенса о двух диалектах пеласгского языка и Мерлингена о додревеском малоазийском *nd*-языке и додревеском *Φ*-языке (последнее вслед за Хаасом).

Впрочем, работы Георгиева, особенно первые две, необычайно смелые и увлекательные<sup>9</sup>, его неиссякаемая энергия в защите своей гипотезы, огромная изобретательность и эрудиция привлекли внимание многих индоевропеистов не только к додревесским проблемам, но и к субстратным языкам Балканского п-ова в целом.

Необходимо отметить, что стараниями Мейе, положившего в основу своего учения о словах «средиземноморского» происхождения также гипотезу Кречмера<sup>10</sup>, еще раньше возник противоположный постулат о едином доиндоевропейском или «средиземноморском» субстрате в Эгейде, которого и сейчас строго придерживается Шантран в всех своих работах и некоторые другие учёные, например, Хестер<sup>11</sup>.

Весьма интенсивное развитие гипотезы Георгиева, осуществляющееся в первые полтора послевоенных десятилетия, к настоящему времени почти совершенно приостановилось. Это было вызвано целым рядом причин<sup>12</sup>, среди которых одно из главных мест занимает скомплексированность методических приемов этимологического анализа, практикуемых приверженцами указанной гипотезы. Факт в высшей степени знаменательный и понятный в свете высказанных замечаний — Фриск и Шантран в своих этимологических словарях полностью игнорируют результаты «пеласгских» штудий для греческой этимологии, Шантран даже не находит нужным цитировать Георгиева и его последователей в этимологических экскурсиях. Любопытно также, что большинство «узких» специалистов по древнегреческому и

<sup>9</sup> См.: Georgiev Vl. Die Träger der kretisch-mykenischen Kultur, ihre Herkunft und ihre Sprache, I. Urgriechen und Urillyrier (Thrako-illyrier). — В кн.: Годишник..., XXXIII, София, 1936; idem. Vorgriechische Sprachwissenschaft, I—II. Sofia, 1941—1945.

<sup>10</sup> Meillet A. De quelques emprunts probables en grec et en latin. — «Mémoires de la société de linguistique de Paris», 1908—1909, XV, p. 161 ss.

<sup>11</sup> См. Hester D. A. «Pelasgian» — a new indo-european language? — «Lingua», 1965, 13, 4, p. 335—384, а также см. полемику в связи с этой статьей между Хестером и Георгиевым-Мерлингеном: «Lingua», 1966, 16, 3; 1967, 18, 2. См. также недавно появившийся фундаментальный труд Э. Фурне, который ввел в научный оборот много нового материала (*Furnée E. Die wichtigsten konsonantischen Erscheinungen des Vorgriechischen*. The Hague — Paris, 1972).

<sup>12</sup> См. о них, например, в рецензии Ноймана на известную книгу Мерлингена *Neumann G. Recl. на кн.: Merlingen W. Das «Vorgriechische» und die sprachwissenschaftlich-vorhistorischen Grundlagen.* — «Gnomon», 1955, 27, s. 370 ff.

анатолийским языкам не сочло возможным признать ни «пеласгскую» теорию, ни практику ее представителей<sup>13</sup>.

Однако отсюда не следует, что сама мысль о индоевропейском характере дogrеческого субстрата не заслуживает внимания, с некоторыми теоретическими и практическими уточнениями она несомненно должна быть принята<sup>14</sup>, и что невозможна ретроспективная реконструкция поглощенного языка как по сохранившимся инородным лексическим элементам в языке-восприемнике, так и по отдельным неорганическим фонетическим и морфологическим явлениям в системе последнего. Более того, сформулированные Георгиевым фонетические закономерности «пеласгского» языка, такие, как передвижение согласных, катемизация палатальных и пр., представляются реально обоснованными, опирающимися на ряд достоверных этимологий и общих рассуждений ареального и типологического свойства. Совпадение этих закономерностей с чертами исторической фонетики фракийского языка побудило нас поддержать тезис о близком родстве «пеласгского» языка с фракийским<sup>15</sup>.

Между тем, пока шла и в какой-то мере идет дискуссия вокруг гипотезы Георгиева, в области греческой этимологии продолжалась кропотливая работа по объяснению темных имен нарицательных и собственных как тривиальных заимствований из ареально близких языков древнейших цивилизаций Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока — в первую очередь хетто-лавийских и семитских.

В работах Боссера, Лароша, Пизани, Кронассера, Хойбека, Гусмана, Ноймана, Иванова и некоторых других было с полной очевидностью установлено, что значительное число слов, считаемых дogrеческими (включенных, например, в списки Дебрунне-ра), заимствовано греками у хетто-лавийцев уже в исторический

<sup>13</sup> Исчерпывающий библиографический список рецензий и отдельных высказываний по поводу данной теории см. в упомянутой работе Хестера.

<sup>14</sup> Например, в противоположность Георгиеву следует указать на гетерогенность индоевропейского дogrеческого субстрата и на его промежуточное положение между греческим суперстратом и более древним дogrеческим неиндоевропейским субсубстратом.

<sup>15</sup> Гиндин Л. А. К проблеме генетической принадлежности «пеласгского» дogrеческого слова.— ВЯ, 1971, № 1 и другие работы.

Предпринятые нами дальнейшие разыскания по установлению и этимологической интерпретации фрако-анатолийских лексических тождеств (Гиндин Л. А. Некоторые ареальные характеристики хеттского. II (К балкано-хетто-лавийским изоглоссам в преданатолийский период).— В кн.: Этимология, 1972. М., 1974; он же. Древнейшая ономастика Восточных Балкан. (Фрако-хетто-лавийские и фрако-малоазийские изоглоссы). М., 1974. Автореф. докт. дис. и другие работы) заставляют пересмотреть нашу прежнюю стратификационную схему лингво-этнических слоев на юге Балканского п-ва и островах Эгейского моря (Гиндин Л. А. Язык древнейшего населения., с. 169 сл.) и предложить следующую последовательность: 1) доиндоевропейский («егейский»); 2) индоевропейский «пеласго»-фракийский; 3) индоевропейский анатолийский; 4) греческий.

период в течение II тысячелетия или у семитов<sup>16</sup>. Среди этих заимствований (главным образом из хеттского или через его посредство) оказалось, по крайней мере, 15 слов, ранее рассматриваемых в качестве «пelasгских» — количество далеко не малое, если учесть, что по нашим подсчетам только 23 лексемы в обширных списках Георгиева и Ван Виндекенса совпадают.

Может быть предложен следующий перечень догреческих («пelasгских») лексем, для которых возможность заимствования из хетто-лавийских языков устанавливается с почти не вызывающей сомнения уверенностью.

θύρσος 'тире': лув. иер. *tuwarsa* (Боссерт, Ларош, Нойманн и др.);

ἄφενος 'богатство': анат. \**hapina*, хетт. *ḥappinānt* то же (Семерены, Хойбек, О. Массон);

λήκυθος 'флакон для масла, благовоний': хетт. *laḥbi-* 'сосуд, кружка' (Георгиев);

κηθῆς 'сосуд, урма, лин. Б и А *ka-ti*: лув. иер. *gati-* 'каменная чаша', хетт. *gazzi-* 'сосуд' (Нойманн).

Все четыре слова предполагают при проникновении хеттских слов в греческий посредство догреческого («пelasгского») языка, о чем свидетельствует наличие передвижения согласных в греческих лексемах<sup>17</sup>.

Θεράπων 'спутник, товарищ', 'слуга', Θεράπυη 'служанка', ср. лин. Б *te-ra-pi-ke*: хетт. *tarpanalli-* 'замена' (Ван-Брок);

τύραννος 'тиран, повелитель': лув. иер. *tarwana-* 'giudice, giusto, legitimo', позже 'tiranno', этр. *turan* — эпитет Венеры, видимо, первоначально 'госпожа' (Хойбек, Пизани);

λαβύρινθος 'лабиринт', первоначально, возможно, 'сооружение из камня (здание) или в камне (шахта) с множеством коридоров и различных помещений (гротов, пещер)', лит. Б *da-ri₂-ri-to-jo*: лид. λάρρος 'топор', лик. Б *laþra*, вероятно, 'каменная плита', лув. *lawar* 'ломать' (Гиндин и др.);

πύργος 'башня на городской стене', 'крепость': хетт. *parku-* 'высокий', м.-аз. ономастика с основой *Par-*, *Per-* и пр., лув. иер. этникон *pargawana-* (Хойбек, Гиндин);

βύρα 'шкура, кожа': хетт. *kurša-* 'кожа, шкура, руно, щит', из хеттского же староасс. *kursannum-* 'меха, кожаный сосуд для жидкостей' (Гусмани, Иванов).

Все перечисленные греческие слова рассматривались ранее как субстратные, эвентуально «пelasгские».

В этой группе догреческих слов вскрывается ряд заимствований из семитских языков. Например, даже такая представлявшаяся столь удачной «пelasгская» этимология, как ἀσάμινθος 'ванна' <

<sup>16</sup> Относительно семитских заимствований в греческий см. новые обобщающие работы: Masson E. Recherches sur les plus anciens emprunts semitiques en Grec. Paris, 1967; Hammerdinger B. De la méconnaissance de quelques étymologies grecques.— «Glotta», 1970, XLVIII, 1—2.

<sup>17</sup> Гиндин Л. А. Язык древнейшего населения..., с. 167 сл.

<и.-е. \*ak' m-‘камень’ оказалась, по последним данным, семитским заимствованием, ср. акк. *nemsētu* ‘плавательный’ бассейн, угарит. (Nuzi) *namštu* (подробнее см. Szemerényi O.—«Gnomon» 43, 1971, S. 657; ср. Hammerdinger B.—«Glotta» XLVIII, 1—2, 1970, S. 59); точно так же *κασᾶς* ‘попона’, ‘чепрак’ проникло из семитских, ср. сем. *kṣy* ‘покрывать’, акк. *kasū* и пр. (Е. Массон и др.).

Список хеттских заимствований может быть продолжен за счет прочих квазидогреческих слов, для которых «пеласгское» происхождение не постулировалось.

*ḫištū* ‘ящик или корзина’ (лат. *cista*): хетт. *kistu-* то же (Пизани);

χύπελλον ‘чаша, кубок’ хетт. *ḫuppar* ‘чаша, миска’ (Пизани);

δέπας ‘чаша, кубок’, лин. Б *di-ra*, возможно, ≈ лат. *lepesta* то же: хетт. *tapišana-* ‘вид сосуда’ (Пизани, Иванов и др.);

λάγυνος ‘бутылка, флакон’ (> лат. *lagona*): хетт. *laḥanni-* то же (Пизани);

χύμβαχος ‘острие шлема, шишак’: хетт. *kupahi-* ‘вид шапки’ (Семерены);

ὅβρυζα ‘проба на огонь золота’ (> лат. *obrussa*): хетт. *ḫuprušhi-* ‘вид какого-то сосуда’ (Бенвенист и др.);

χάνυος ‘лазурит, синяя глазурь, темно-синяя эмаль’, лин. Б *ku-wa-po* ‘стекло синего цвета’, ср. гом. χωανύπις ‘синеглазая’: хетт. *kiwanna-* ‘меди’; ‘медно-синий’; ‘драгоценный камень’, лув. кл. *kiwanzu-* ‘меди’, возможно, шумер. КУ. АН ‘металл (цвета?) неба’ (‘железо?’) и т. д. (Фридрих, Нойманн, Ларош, Иванов и др.);

χαλχός ‘меди, бронза’, лин. Б *ka-ko*, ср. *ka-ke-u* ‘кузнец’: хетт. (<protoхатт.) *ha-palki-* ‘железо’ (Фриск с ссылкой на Пизани, Иванов);

σθόλος ‘железный метательный диск’: хетт. *sul(a)i-* ‘свинец’ (Ларош);

νίτρον ‘сода, щелок’: хетт. *nitri-*, евр. *neter*, араб. *naṭrūn* — все, видимо, из егип. *ntr(j)* ‘сода’ (Фриск с литерат.);

ἐλέφας ‘слон; слоновая кость’, лин. Б *e-re-pa*: хетт. *laḥpa-* ‘слоновая кость’ (Ларош, Иванов);

πάρδαι.ις ‘пантера’: хетт. *paršana-* то же (Гусмани);

λείριον ‘белая лилия’: хетт. *alil* (Бенвенист);

στήσαμον ‘куникульное семя’; лин. Б *sa-sa-ma* (pl.): хетт. *GISšam(m)am(m)a-* ‘вид орехового дерева, маслина?’ — оба из семитских, ср. акк. *šamtašamti*, угарит. *šštn* (Иванов, Э. Массон);

ἀμάρα ‘канал, канава, ров’, ‘Αμάρυνθος — название канала на Эвбее, пилос. лин. Б *a-ma-ru-ta* (дат.), *a-ma-ru-ta-o* (род.) и пр.: хетт. *amijar(a)-* ‘канал’ — оба из египетского *mr* ‘канал’ (Нойманн, Фридрих, Иванов).

В связи с двумя последними лексемами следует подчеркнуть, что поскольку многие из приведенных хеттских слов не имеют индоевропейской этимологии и представляют собой заимствования

из хурритского или семитских, то правомерно предположить как для хеттского, так и для греческого возможность хотя бы в части соответствий независимого восприятия из какого-то общего источника, в том числе из неиндоевропейского средиземноморского гетерогенного адстратно-субстратного слоя.

і<sub>χ</sub>ар (гом.) ‘кровь богов’: хетт. *eškar*, *iškar* ‘кровь’ (Кречмер, Иванов в контексте других весьма яких примеров воздействия анатолийской культурной традиции вплоть до поэтики и метрики<sup>18</sup>).

Сходное состояние можно наблюдать и в исследованиях дославянской субстратной лексики, в частности фракийской, для болгарского и других южнославянских языков. Нам уже приходилось подробно писать о мнимых фракизмах *руфя*, *карпа*, *ватра*<sup>19</sup>, см. также мысли Заимова на этот счет в упомянутом обзоре Афинского балканистического конгресса.

Весьма заманчивой в настоящее время представляется идея, что ю.-слав. *devízma* ‘Verbascum’ при регулярном *devizna* возникло под влиянием дак. διέσεμα ‘Verbascum (*plomoïdes L.*)’, которому в немецком соответствует ‘Himmelsbrand, Marienkerze, Fackelkraut и пр.’, в болгарском — ‘свещилка, багородична свещ’ и т. д. Однако вероятность этой гипотезы существенно снижается наличием южнославянских дублетов типа с.-хорв. *пјесна* : *пјесма*, *бјелизна* : *билизма* и др., ср. болг. *белизна* : *белизма*.

Таким образом, фундаментальной проблемой греческой этимологии оказывается, как и в любом другом языке, не проблема субстрата, хотя она, разумеется, имеет значение в разумных пределах, наряду с методикой реконструкции некоторых фонетических и морфологических черт по отклонениям от ортодоксальной исторической фонетики, но исследования лексики, не поддающейся интерпретации на почве исконно греческой этимологии, под углом зрения возможных заимствований из ареально близких языков, особенно восточносредиземноморских, включая ближневосточные. В любом случае такой подход ставит изучение этимологически затмленной лексики и других ярусов языка на почву реально засвидетельствованных фактов. В то время как по справедливым словам Шантрэна в предисловии к своему этимологическому словарю, «гипотеза об эгейском языке часто рискует быть

<sup>18</sup> Здесь и выше при ссылках на Иванова имеется в виду доклад В. В. Иванова «Древнейшие культурные и языковые связи южнобалканского и малоазийских ареалов (Доклады и сообщения советской делегации, III Международный съезд по изучению стран Юго-Восточной Европы, Бухарест, 4—10 сентября 1974 г. М., 1974; ротапринт), выходные данные почти всех работ других упоминавшихся выше учёных можно найти в книге: *Gusmani D. Il lessico ittito*. Napoli, 1968, p. 84 ss.; критический разбор ряда предполагаемых заимствований из хеттского в греческий см. в кн. *Neumann G. Untersuchungen zum Weiterleben hethitischen und luwischen Sprachgutes in hellenistischer und römischer Zeit*. Weisbaden, 1961, S. 18 ff.

<sup>19</sup> Гиндин Л. А. Проблемы античной балканистики, с. 66, сл.

только распиской в незнании»<sup>20</sup>. Подобную же мысль высказал Ларош еще в 1955 г. на одном из заседаний Парижского лингвистического общества<sup>21</sup>.

Именно поиски в направлении ареальных исследований, т. е. в рамках адстратных отношений, привели нас постепенно к мысли об идентичности и.-е. догреческого «пеласгского» слоя с фракийским, что заставило в свою очередь более пристально заняться изучением фракийских языковых реликтов.

III. Отсутствие ресурсов внутренней реконструкции постоянно возвращало исследователей фракийского языка, даже таких авторитетных, каким был В. Томашек, в *círculus vitiosus* корневой этимологии, хотя и в этой манере было немало достоверных результатов, позволивших в общих чертах наметить фракийскую историческую фонетику. Чтобы позитивным образом продвинуть изучение фракийских ономастических остатков в сторону более конкретной реконструкции фракийского языка: уточнение фонетических характеристик, выявление некоторых элементов морфологии, ареальные связи с этногенетической подоплекой — необходимо было пойти по пути внешнего сравнения, стремясь в рамках пространственно-лингвистической методики выявить целые пласти региональных межъязыковых изоглосс<sup>22</sup>.

Таким полем для внешнего сравнения по ряду причин, из которых самыми существенными нужно признать наличие множества идентичных фрако- (и шире, балкано-) малоазийских лексем и относительную синхронность их греко-римских передач, когда многие тождественные или сопоставимые имена собственные за- свидетельствованы одним и тем же древним автором, были взяты хетто-лувийские языки обоих периодов, чья ранняя письменная фиксация ономастической и апеллативной лексики давала дополнительные преимущества и этимологические критерии достоверности. Указанная синхронность или разрыв во времени в любом случае на тысячу лет меньший, чем при письменном отражении, например балтийских фактов, сохранение сопоставляемых лингвистических массивов в единой и непрерывной, главным образом греческой языковой традиции, с дальнейшим прослеживанием определенного пласта полнолексемных совпадений в хетто-лу-

<sup>20</sup> *Chantreine P.* Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoires des mots. I. Paris, 1968, p. IX.

<sup>21</sup> *Laroche E.* Mots grecs d'origine anatolienne.— BSL, 1955, 51, 1, p. XXXIV.

<sup>22</sup> Ареальный подход к этимологическим исследованиям реликтовых языков Балкан (фракийский и в меньшей степени иллирийский) уже осуществлен в конфронтации *in sorore* ономастического материала этих языков с балтийским материалом, см.: *Duridanov I.* Thrakisch-dakische Studien. I. Die thrakischi- und dakisch-baltischen Sprachbeziehungen. Sofia, 1969; *Топоров В. Н.* Несколько иллирийско-балтийских параллелей из области топономастики.— В кн.: Проблемы индоевропейского языкознания. М., 1964, с. 52, сл.; *он же*. К фракийско-балтийским языковым параллелям.— В кн.: Балканское языкознание. М., 1973, с. 30, сл.

вийских текстах (методика, в известной мере отработанная нами на додреческо-анатолийском материале) — все это сулило надежность результатов в достаточно удовлетворяющей степени. Замеченные возможности получить в итоге этимологического изучения фрако-анатолийских языковых сходствений древнейший из доступных исследованию слой фракийской ономастики служат другим важнейшим стимулом к постановке данной проблемы. Хронологической точкой отсчета здесь является факт засвидетельствования хетто-лавийских имен собственных в клинописных памятниках Анатолии начиная с XIX в. до н. э. (каппадокийские таблички староассирийских колоний).

Поскольку интерпретация ономастического континуума в условиях утери апеллативного слоя по сути является дешифровкой текста на неизвестном языке, то она по необходимости должна покоиться на двух методологически обусловленных процедурах, во-первых, на комбинаторном анализе и, во-вторых, на сплошном этимологическом обследовании в аспекте одного из ареально близких языков.

Такое сплошное этимологическое обследование фракийских реликтов (без особого выделения дакийского) в аспекте возможных древнейших ареальных связей с хетто-лавийскими языками с достаточной, хотя и неравномерной степенью истинности выявило сравнительно большой пласт фрако-хетто-лавийских изоглосс, прослеживаемых не только на уровне греко-римских передач, но и в хетто-лавийских фактах ранне- и позднеанатолийского периода. При этом лишь соблюдение обоих указанных условий служит обязательной методологической предпосылкой дальнейшего более глубокого изучения каждого отдельного сходства.

Следует подчеркнуть еще один момент. Даже предварительные итоги этимологического изучения фракийского ономастикона в характеризованной манере сразу же привели к мысли о более организованной и глубокой природе исследуемых сходствений, нежели ординарное объяснение этого факта широкой греческой или, наоборот, малоазийской колонизацией Балкан, или, наконец, этническими передвижениями с Балкан в Анатолию в поздне- и послехеттский период.

С выполнением необходимых методических процедур нами уже рассмотрены в IV главе диссертационной монографии<sup>23</sup> приблизительно треть, а именно 16 подобных изоглосс, из имеющихся в наличии и могущих быть исследованными в той же манере. Практически количество изученных в этом разделе фракийских лексико-onomастических единиц значительно превышает указанное

<sup>23</sup> См. Гиндин Л. А. Древнейшая ономастика Восточных Балкан (фрако-хетто-лавийские и фрако-малоазийские изоглоссы). М., 1973 (в печати); соответственно см. автореферат докторской диссертации того же названия (М., 1974 (ротапринт), с. 9—23).

число, так как включает все сохранившиеся реализации данных основ.

Пласт фрако-хетто-лувийских соответствий неоднороден как в генетическом, так и в хронологическом отношении, что можно было предвидеть, основываясь на известных фактах культурно-исторического порядка (традиционные тысячелетние взаимосвязи территории Древней Фракии и Анатолии, вскрываемые археологическими и аптичными письменными памятниками). Поразительным оказалось другое: подавляющее количество фрако-хетто-лувийских тождеств (приблизительно 12 : 4 из числа рассмотренных) имеет или допускает (последних пампого меньше) хорошие индоевропейские этимологии, и это при массе неиндоевропейских слов во всех разрядах лексического состава хетто-лувийских языков. Подобное положение вещей открывает реальные условия для предположения относительно потенциальной возможности контактов фракийского с хетто-лувийскими языками преданатолийского периода в ареале, сопричастном балканскому лингвистическому пространству с северо-востока.

Среди этимологически проанализированных изоглосс имеются текстуальные — в реконструкции, разумеется, — совпадения типа клише между ономастическим композитом и отрезком литературного текста. В качестве примера уместно привести фракийские топонимические варианты *Κούσ-καυρί* — кастелль в области Марцианополя (Proc. ae. IV, 11 — Haury 148, 25) и *Κούτ-κάβιρι* — кастелль в Родопах (Proc. ae. IV, 11 — Haury 145, 22) из туземной праформы \**kous-kod(i)r-i*, полностью налагаемой на глоссу Гесихия *κόης·ιερεύς Καβείρων*, ó *καθαίρων φούέα* смысловой костяк которой *κόης* (-ιερεύς) *Καβείρων* позволяет адекватную формальную реконструкцию: \**kod(ā)s kou(e)ir-ōn*; во фракийском, как и догреческом, *oi* спорадически переходит в *ai*, интервокальное *u* в *b*. Необходимо отметить, что в данном минимальном отрезке литературного текста, кажется, уникальном в греческой письменной традиции, и соответственно во фракийском топонимическом композите, наблюдается либо тавтологическое повторение тождественных основ, характерное для языкового мышления на мифологическом уровне, ср. бог *Σάφαῖος* (с синонимом *Σάρος*) — его жрецы, согласно схолиик «Оسام» Аристофана, *σάφοι*; *Βάιχος* — его жрецы *βάιχοι* и пр., либо сближение омофонных комплексов по известному принципу семантико-анаграмматического сближения названия жреца и теонима. Как известно, глоссовое *κόης* (< \**koθ-*) давно идентифицировано с лид. *kaveš* = др.-инд. *kavīḥ* ‘жрец, мудрец, поэт’; и.-е. \**kou-* ‘(про)видеть, слышать, замечать’ (прочие параллели с расширителями *-s-* и *-d-* см. в словаре Покорного под корнем \**keu-:skeu-*<sup>24</sup>). Относительно имени

<sup>24</sup> Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, I. Bern — München, 1959, S. 587 f.

догреческих хтонических шарнирных божеств Кάβειροι : Кάβιροι<sup>25</sup> и в семантическом, и в узкоэтимологическом плане наши сведения менее определены, если не сказать совсем неопределенны. Скудость наших знаний обусловлена прежде всего строго соблюдавшейся тайной мистерий. Даже о государственных, позднее ежегодных в Афинах Элевсинских мистериях мы располагаем самыми отрывочными свидетельствами. Разглашение тайны каралось немедленным убийством или в лучшем случае изгнанием, как это случилось с Эсхилом, которого один памек па Элевсинские мистерии в какой-то из своих трагедий обрек на смерть на чужбине. Из того немногого, что известно, здесь уместно выделить следующее. Греки заимствовали кульп Кабиров у пеласгов, выходцев с о. Самофракия (Hdt. II, 51), чем удостоверяется догреческое происхождение данных божеств (см. выше о родстве «пеласгского» с фракийским). Подобно большинству оргиаистических мистерий Кабировские таинства связаны были с комплексом обрядов плодородия, так как, согласно тому же параграфу Геродота, самофракийские пеласги научили эллинов изображать Гермеса, в одной из первоначальных функций бога скота, с прямо стоящим фаллосом, в связи с чем «пеласги рассказывали какое-то священное предание, которое в этих-то самофракийских мистериях открывалось» (οἱ δὲ Πελασγοὶ ἴρόν τινα λόγου περὶ αὐτῷ ἔλεξαν, τὰ ἐν τοῖς ἐν Σαμοθρῆκῃ μυστηρίοις δεδήλωται). Данный архаический атрибут магической силы Гермеса нашел отражение в фаллическом культе классического периода в его честь, на что указывает возвождение герм-столпов, символизирующих фаллос<sup>26</sup>.

Именно связь с обрядом плодородия обусловила распространение Кабировских мистерий по всей западной Малой Азии, Эгейским островам и Фракии с древнейших времен. Опираясь главным образом на ареальные данные распространения культа Кабиров с центром на о. Самофракия, Дечев с полным основанием включил Кабиров во фракийский пантеон. Далее Кабиры, согласно некоторым источникам, были детьми бога огня и кузничного дела, великого художника Гефеста (щит Ахилла и пр.) и более всего почитались, кроме Самофракии, на о. Лемносе — основном месте пребывания Гефеста.

Последние данные реально-семантического свойства позволяют высказать гипотезу о генетической близости приведенной выше реконструкции Кάβ(ε)ροι < \*κούρ(e)ir-oι с индоевропейскими лексемами, продолжающими, согласно Покорному, и.-е. \*kāw-, kəw- ‘hauen, schlagen’, ср. лат. cūdo, ēre ‘ударять, быть и пр.’,

<sup>25</sup> В греческих надписях встречаются обе формы с ει и с ι в срединном слоге; согласно Etymologicum Gudianum, грамматики Алексион и Филоксен писали Κάβειροι поэтому, возможно, эти формы соседствовали с самой древности (подробнее см.: Hemberg B. Die Kabiren. Uppsala, 1950, S. 318).

<sup>26</sup> См.: Nilsson M. P. Geschichte der griechischen Religion, I. München, S. 505 f.

др.-в.-нем. *hauwan* ‘рубить и пр.’ и т. д.<sup>27</sup> Среди продолжений данного корня в плане интересующей нас реконструкции как с формальной, так и с семантической точки зрения наибольшее значение имеет славянский материал, в котором опорный глагол *\*kovati* претерпел позднюю тематизацию основы в совокупности с семантической инновацией, выразившейся в том, что в славянских языках глагол, восходящий к и.-е. *\*kāy-*, приобрел чисто техническое значение из сферы кузнецного производства — ‘ковать’, с полной утерей прочих, более первоначальных значений ‘бить, ударять вообще’. Номен agentis праславянское региональное *\*kov-ar*, восстановливаемое по чеш. *kovář* ‘кузнец’, с вторично производными на его основе, имеющими отвлеченные значения, ст.-слав. КОВАРЬНЬ, русск.-цслав. *коварьны* ‘мудрый, благородный, искусный’, ‘хитрый, лукавый’<sup>28</sup>, почти полностью совпадает по форме с догреч.-фрак. параллельным образованием *\*koū-ir(oī)* — обозначение детей бога-кузнеца, ср. еще м.-аз. лик. ЛИ *Kawari*, кар. Кеуарос и т. д. В свете сказанного можно заключить, что из двух альтернативных этимологических объяснений отрезка текста *κόης* [-ίερεύς] *Καβείρων* (см. выше) мы склонны выбрать второе и видеть в названии богов и жреца омофонно-семантическую филиацию рефлексов генетически различных корней — и.-е. *(s)keū-* : *koū-* ‘(про)видеть’, ‘слышать’, ‘замечать’ и *\*kāy-* и пр. ‘бить, ударять’, ср. сходные семантические потенции ряда слов, восходящих к этим различным корням (например, др.-русск. *кудесъ* ‘чары’, ‘колдовство’, ст.-слав. ЧОУДО, -ЕГЕ ‘чудо’ ≈ греч. *χόδος* ‘слава, честь’, букв. ‘то, о чем слышат’, наряду с чеш. *kuzlo* ‘колдовская сила’, в.-луж. *kuzlo* ‘колдовство, чары’ и пр.), недавно специально рассмотренные В. В. Ивановым и В. Н. Топоровым, с предположением глубинной и более непосредственной связи между греч. *κόης* = лид. *kareš* = др.-инд. *kariś* и славянскими производными от праслав. *\*koū-*, в том числе *\*kovati*, обозначающими кузнечное искусство и искусство вообще, в частности магическое<sup>29</sup>.

В плане важнейшей задачи реконструкции конкретных фракийских апеллативных лексем и соответственно открывающихся возможностей для стратиграфии и расслоения топонимического и шире ономастического континуума значительный и относительно недостаточно использованный резерв представляют гречес-

<sup>27</sup> Pokorný J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, S. 535; Walde A. Lateinisches etymologisches Wörterbuch. 3. neubearb. Aufl. von Hofmann J. B. I. Heidelberg, 1938, S. 301 («nicht *\*koū-*»).

<sup>28</sup> Подробнейшим образом праслав. *\*kovati* и все семейство слов, группирующихся вокруг него, рассмотрены в кн.: Трубачев О. Н. Ремесленная терминология в славянских языках. М., 1966, с. 334, сл.; 343, сл.

<sup>29</sup> Иванов В. В., Топоров В. Н. Этимологическое исследование семантически ограниченных групп лексики в связи с проблемой реконструкции праславянских текстов.— В кн.: VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1973, с. 155, сл.; они же. Исследования в области славянских древностей. М., 1974, с. 158, сл.

ские и римские надписи с территории Древней Фракии и Дакии (приблизительно границы современной Болгарии и Румынии). Оба указанных направления исследований субстратных фракийских реликтов хорошо иллюстрируются анализом, в частности этимологическим, двух прекрасно сохранившихся вотивных надписей под рельефами, изображающими фракийского конного бога Хэроса, обнаруженных в Галате (район Варны). В уточненном чтении Г. Михайлова эти надписи имеют следующий вид: (№ 283) 'Αρτεμιδώρος καὶ Πολέμαρχος // οἱ Θεοῖς ένοι Περκόφ 'Ηρωεί πτυχέφ «Артемидор и Полемарх (сыновья) Теоксена Перкосу (либо, точнее, Перкусу) Хэросу внемлющему» (II—I вв. до н. э.) и (№ 283 bis) 'Ηρωεὶ Περκώνει // Μένανδρος Αμύνης τορος «Хэросу Перкону Менандру (сыну) Амюнтора (приносит в дар)» (I в. до н. э.—I в. н. э.)<sup>30</sup>. Не имея возможности входить во все подробности анализа приведенных надписей (это сделано нами в другом месте<sup>31</sup>) укажем, здесь лишь некоторые существенные в данном случае детали.

‘Ηρωεὶ и пр.—название фракийского конного бога, одного из самых распространенных во Фракии, вслед за В. Н. Топоровым<sup>32</sup> может быть сопоставлено с кашп. *Perua* — главным божеством г. Канеса, хетт.-лув. теонимом *Pirwa* : *Pirwa*, чей культ был связан с почитанием лошади (ср. изображения *Perwa*, стоящим на коне; печати). Последнее чрезвычайно часто встречается как теофорное личное имя и в качестве теофорной антропонимической основы; на апеллативном уровне: *pirwa-*, *peru-*, *peruna-/piruna-* ‘скала’. Цепь рассуждений более культурно-исторического порядка, нежели лингвистических, высказанных Топоровым, (атрибут громоверхца для *Perwa/Pirwa* реконструируется по рельефу в галерее Язылыкая, где главный бог стоит на скале; идентификация начала фракийских и хетто-лувийских лексем в случае их общего происхождения обусловлена судьбой *p-* «во фригийско-армянских диалектах» и т. д.) поразительным образом замыкается в эпитетах фрак. бога Хэроса — *Перкώνεις* и *Перкόφ* из данных греческих надписей. Первый эпитет — фрак. туземное \**Perkūn-* отождествлен нами в качестве самостоятельного образования с балт. богом грома \**Perkūn-*, содержащимся в лит. *Perkūnas*, лтш. *Perkons* и т. д.; второй — фрак. туземное \**Perku-* — с лат. *quercus* ‘дуб’ и т. д., восходящим к и.-е. \**perkʷū-ī-* от и.-е. \**per-* ‘ударять, поражать’<sup>33</sup>, в свою очередь тот же и.-е. глагольный

<sup>30</sup> Mihailov G. Inscriptiones graecae in Bulgaria repertae, I. Serdicae, 1970, p. 273.

<sup>31</sup> См. также указанную диссертацию автора (с. 153—165); соответственно автореферат (с. 14—16).

<sup>32</sup> Топоров В. Н. К древним балкано-балтийским связям в области языка и культуры.— В кн.: I Симпозиум по балканскому языкознанию. Античная балканистика. Предварительные материалы. М., 1972, с. 33, сл.

<sup>33</sup> Данная идентификация, предложенная впервые в упомянутой выше нашей диссертационной работе (с. 155, соответственно автореферат, с. 14 сл.)

корень посредством суффикса *\*-in-o-*: *-и-о-* реализуется в упомянутых хеттских ономастических и апеллативных лексемах.

Сюда же древнее название Фракии Πέρκη [χώρα] (и.-е. \*perk<sup>u</sup>ā) идентичное кельт. глоссовому ἔρχος и топониму *Hercunia Silva* (и.-е. \*perk<sup>u</sup> o-).

Кроме упомянутых лексем от основы *\*Perk<sup>u</sup>-*, к исконно фракийскому слою относятся два топонима, восходящие к данному и.-е. корню, но без гуттурального расширителя: Φέρουνα (туземн. \*Pherūn-) < \*Perūn = вост.-слав. *Перунъ* и Πέρινθος < \*Peri-*runto-* = др.-инд. párvata ‘гора’ < и.-е. \*perq-ṇ-t-, ср. приведенное выше хетт. *peruna-*, либо < \*Perun(th)- = слав. *Perunъ*. Все прочие образования: топонимические (болг. *Перин Планина*, *Перуна Дубрава* и т. д.) и мифологические (болг. макед. *Пеперуна*, *Преперуна* и т. д.), связанные с культом бога-громовержца, — возникли в результате славянанизации Балкан, по крайней мере, на 5—6 веков позже фракийских названий. При этом следует подчеркнуть, что с точки зрения лингвистической речь здесь может идти только с самостоятельной конкретной славянской праформе *Perun*, а не о следах балто-славянского имени бога грома *Per(k)un*.

Истоки богатства топонимических и даже культовых реликтов слав. *Perunъ* в пределах Балкан по сравнению с другими территориями славянского мира необходимо, по всей вероятности, искать в совмещении принесенного на Балканы славянского божества с туземным фракийским культом Хэроса, в реконструкции бога-громовержца, самого почитаемого из фракийских богов предславянского периода. Кстати, святилища Хэроса, как и Перуна, обычно располагались на возвышенностях близ студеных источников, в пещерах или на скалах с нишами<sup>34</sup>.

В балканском ареале на фоне топонимических реликтов слав. *Perunъ* выделяется единственное географическое название от основы на гуттуральный, приведенное И. Ивановым в форме *Перкуниста*<sup>35</sup> с ссылкой на Дм. Шеппинга<sup>36</sup>, который в свою очередь опирался на М. Кастрорского<sup>37</sup>, указавшего местное название *Perkunisti* — село на р. Яловиц в Валахии. В случае правильности записи, *Perkunista/Perkunisti* может оказаться прямым пережитком исконно фракийского топонима, состоящего из тео-

включена В. Н. Топоровым в более широкий контекст — мифологический (мотив Громовержца, поражающего соперника) и ареальный (Балканы — связующее звено между Прибалтикой и Анатолией), см.: *Топоров В. Н. К вопросу о древнебалканских связях в области языка и мифологии*. — В кн.: Доклады и сообщения советской делегации. III Международный съезд по изучению стран Юго-Восточной Европы. М., 1974, с. 14; ср. *Иванов В. В. Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей*, с. 105.

<sup>34</sup> Михайлов Г. Траките, София, 1972, с. 237, сл.

<sup>35</sup> Иванов И. Культ Перуна у южных славян. — «Известия отделения русского языка и словесности Академии наук», 1903, VIII, 4, с. 158.

<sup>36</sup> Шеппинг Дм. Мифы славянского язычества. М., 1849, с. 117.

<sup>37</sup> Кастрорский М. Начертания славянской мифологии. СПб., 1841, с. 71.

нимной основы \**Perkūn-*, оформленной продуктивным в фракийском языке суффиксом *-st-* с предшествующим *i*, ср. фрак. топонимы *Βρατσίστα*, *Orudista* и т. д.

Изложенное, помимо всего, допускает с полным основанием восстановить фракийский appellativ \**perku-* ‘дуб’, — лат. *quercus* = кельт. глоссовое ‘έρχος’, ср. лат. передачу *Hercu-nia Silva*.

В процессе анализа фрако-хетто-лувийского сопоставительного материала неожиданно открылась возможность изучения другого специфического пласта изоглосс балкано-малоазийского ареала, а именно — фрако-троянских (гомеровских) тождеств, в подавляющем большинстве отличающихся от коллекции фрако-хетто-лувийских фактов как хронологически, так и генетически прежде всего своей компактностью и определенностью, предполагая с полной очевидностью направление этимологической траектории исследуемых лексем с Балкан в северо-западный угол Малой Азии (гомеровская Троада с близлежащими территориями).

В свое время Страбон, блестящий интерпретатор Гомера, с присущей ему ученой сухостью отметил в своей «Географии» (XIII, 1, 21) в связи со стихами Илиады (II, 835 сл.), где упомянута δῖα Ἀρισβά, что πόλλαι δ' ἐμωνυμίαι Θρᾳξι καὶ Τρῳδίν «ведь множество одноименных названий у фракийцев и троянцев», и привел в качестве примера во Фракии этоним Σκαιοί, гидроним Σκαιός, топоним Σκαιού τεῖχος — в Трое знаменитые Σκαιαὶ πόλαι; во Фракии этоним Ξάνθιοι — в Трое гидроним Ξάνθος; во Фракии гидроним Ἀρισβός — в Трое топоним Ἀρισβη; во Фракии имя царя Ρῆσος — в Трое гидроним Ρῆσος.

Этот вывод самого крупного из дошедших географических трудов древности заслуживает самого пристального внимания, так как Страбон в части книги, относящейся к Эгейде, по сути являющейся развернутым и скрупулезным комментарием к Гомеру, опирался на многовековую традицию в толковании гомеровской географии, в частности на Деметрия Скепсийского, Гегесианакса (Троада и Эолида), а также на Аполлодора и Артемидора.

Разумеется, список соответствий Страбона в настоящее время может быть значительно расширен. В данной статье ограничимся по необходимости очень кратким анализом одного отрезка текста Илиады, весьма знаменательного в смысле фракийско-троянских тождеств. Поиски подобных омонимов привели нас к началу XII песни Илиады, где поэт в замечательно энергичных стихах повествует о разрушении ахейской оборонительной стены, уравновешивающему в поэтико-этическом плане неизбежно предстоящую гибель Трои, о чём заранее известно большинству главных действующих лиц поэмы. В этом отрывке Феб Аполлон направил в одно место устья всех рек, берущих начало на Иде, как то: Ρῆσος, Επτάπορος, Κάρυσος, Ροδός, Γρύγικος, Αἴσηγπος, Σκάμανδρος и Σιμόεις (стх. 20—22). Приведенный список производит впечатление

лапидарной географической справки — такова уж особенность эпического стиля, где высоко трагическое слито с обыденными подробностями. В связи с этим своевременно напомнить мнение Страбона (XI, 6, 3; ср. I, 2, 35) о том, что в смысле достоверности Гомер, Гесиод и трагические поэты предпочтительнее Геродота, Кtesия и Гелланика, которые в угоду читателю сознательно (или бессознательно.— Л. Г.) смешивают миф и подлинную историю. Этимологическая обработка данного гидронимического списка с достаточной степенью вероятности показала, что из 8 гидронимов только 2 — Κάρυτος и Σικλόεις не находят объяснения на фракийской или — шире — балканской почве; при этом Ρήθρος, Ἐπτάπορος и Αἴσηπος имеют совершенно безукоризненные фракийские этимологии — и все это при отсутствии каких-либо сходных образований в ономастической и апеллативной лексике Анатолии. Небезынтересно отметить, что рассмотренный список целиком повторен Гесиодом в Теогонии (стх. 337—345) с пропуском Κάρυτος и где Ρήθρος вместе с Μαιάνδρος помещен в один ряд с названиями больших потоков Балканского п-ова, среди которых два — Στρυμών и Ἰστρός — являются крупнейшими реками Фракии.

В заключение несколько слов о возможностях координации результатов ареально-лингвистического анализа и данных археологии в пределах интересующих нас ареалов, т. е. с территории Восточных Балкан и северо-западного угла Малой Азии. Оба пласта изоглосс — частично фрако-хетто-лувийские и полностью фрако-малоазийские, в данном случае фрако-троянские (гомеровские), поразительным образом укладываются в контекст традиционных культурно-исторических связей между указанными областями. Эти связи археологически особенно четко прослеживаются начиная с последней трети IV тысячелетия.

Интенсивно проводимые в послевоенные годы на территории Болгарии раскопки многослойных поселений, компактно расположенных на юго-востоке континентальной части Балканского п-ова: Эзеро — строительные горизонты 1—9, по последним данным, 1—13, Михалич и т. д. (ранний бронзовый век, тип Карапанова VII, III тысячелетие до н. э.); Новозагорское поселение, Юнаците, Разкопаница и т. д. (средний и поздний бронзовый век, II тысячелетие до н. э.) — не только установили непрерывность культурной традиции в этом районе исторической Фракии, но и показали теснейшие взаимоотношения юго-востока Балкан с северо-западной Анатолией и в первую очередь с Троадой. Во всяком случае, для раннебронзового века (Троя I—IV, 3000—2000 гг.) результаты идентификации, стратиграфии и датировки археологических фактов делают утверждение об определенном единстве данных ареалов трудно поддающимся сомнению (В. Чайлд, Г. Георгиев, Н. Я. Мерперт, ср. А. Гётце, Дж. Мелларт, И. Виснер и т. д.). При этом выделяется один, по нашему мнению, чрезвычайно важный момент. Если некоторые локаль-

ные черты раннебронзового века Болгарии и других балканских областей (формы сосудов, шнуровой орнамент, боевые топоры, тип захоронений) связывают его с центрально-европейскими и восточно-европейскими культурами и прежде всего с районами Подунавья и Северного Причерноморья (Н. Я. Мерперт, Е. Н. Черных), то в археологическом плане территория Трои resp. северо-западной Малой Азии на протяжении всех культурных слоев выглядит достаточно обособленно по отношению к прочим территориям Анатолии, заселенным приблизительно с последней четверти III — начала II тысячелетия до н. э. хетто-лувийскими племенами (А. Гётце, ср. Дж. Мелларт). Последнее наблюдение было четко сформулировано К. Блегеном в его замечательной книге «*Troy and the Trojans*» (New York, 1963, с. 37): «Во всяком случае, насколько мне известно, ни одного хеттского импорта не было обнаружено ни в одном из стратификационных слоев Трои и, соответственно, характерные троянские предметы не были обнаружены в основных хеттских центрах».

Что же касается фрако-хетто-лувийских изоглосс, проецируемых в ареале, сопричастном Балканскому п-ову с северо-востока, то хронологически<sup>38</sup> соответствующая этому изоглоссному пласту археологическая ситуация в данном географическом районе весьма расплывчата, поскольку археология этой эпохи дает преимущественно лишенную расчлененного этно-лингвистического подтекста картину связей и миграций материальных культур. Однако и этих суммарных фактов достаточно, чтобы укрепиться в правильности избранного направления в попытках этнического и пространственного обоснования указанного разряда изоглосс, тем более, что археологи обычно помещают область распространения лувийцев и хеттов в преданатолийский период к северо-востоку от Балканского п-ова в Причерноморских степях, либо в восточных областях Балкан, либо, наконец, прокладывают пути движения лувийцев в Анатолию через восточные районы континентальной части Балканского п-ова (Дж. Мелларт, П. Бош-Гимпера, М. Гимбутас и др.).

---

<sup>38</sup> Нижней хронологической границей является время первых свидетельств о хетто-лувийцах в Анатолии — отражение хеттских имен в кappадокийских табличках, датируемых XIX в. до н. э.

# ЭТНОГЕНЕЗ И ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ СЛАВЯНСКИХ И БАЛКАНСКИХ НАРОДОВ

## РАННИЙ ПЕРИОД СЛАВЯНСКОГО ЭТНОГЕНЕЗА

*B. B. Седов*

Первая известная нам попытка ответить на вопросы: откуда, как и когда появились славяне на исторической территории, восходит к началу XII в. Общую картину состояния славянского мира в раннем средневековье нарисовал древнерусский летописец — автор «Повести временных лет». Исходя из библейского предания, согласно которому родиной всего человечества была Передняя Азия, летописец пишет о вавилонском столпотворении, разделении человечества на 72 народа и расселении их в разных направлениях. «От сихъ же 70 и 2 языку бысть языкъ словенескъ... По мнозехъ же времянях сели суть словени по Дунаеви, где есть ныне Угорьска земля и Болгарьска. И от техъ словен разиода по земле и прозвапася имены своими, где седше на котором месте»<sup>1</sup>.

Таким образом, родиной славян, по летописцу, были области Среднего и Нижнего Подунавья. Скорее всего такая локализация славянской прародины обусловлена библейской легендой — путь от Вавилона в Среднюю и Восточную Европу шел через Балканский полуостров и Подунавье<sup>2</sup>. Поводом для расселения славян из бассейна Дуная на широких пространствах Средней и Восточной Европы, по летописцу, было нападение на них волохов.

Сообщение древнерусской летописи о расселении славян с Дуная стало основой так называемой дунайской (или балкан-

<sup>1</sup> Повесть временных лет, ч. I. М.—Л., 1950, с. 11.

<sup>2</sup> Высказано предположение, что летописные строки о расселении славян с Дуная основаны не на преданиях, а появились в начале XII в. в связи с конфликтом Руси с Византией из-за дунайских земель, имевшем место на рубеже XI—XII вв. Алешковский М. Х. О происхождении летописной легенды о дунайской прародине славян.— В кн.: Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам работы Гос. Эрмитажа за 1966 г. Л., 1967, с. 5—7.

ской) теории происхождения славян. Последняя была очень популярна в сочинениях средневековых авторов — польских и чешских хронистов XIII—XV вв. Подобной точки зрения придерживались большинство русских историков XIX — начала XX вв. Несостоятельность дунайской теории славянского этногенеза была показана знаменитым чешским славистом Л. Нидерле<sup>3</sup>. Однако она иногда встречается и в некоторых современных работах.

К эпохе средневековья восходит также сарматская теория происхождения славян. Впервые она зафиксирована Баварской хроникой XIII в., а позднее господствует во многих западноевропейских сочинениях XIV—XVIII вв. Согласно этой теории, предки славян опять-таки из Передней Азии расселялись вдоль западночерноморского побережья на север и осели на юге Восточной Европы. Античным авторам славяне были известны под этонимами скифы, сарматы, аланы, роксоланы. Отождествление славян с различными этническими группами, названными античными авторами, характерно для средневековья. В сочинениях западноевропейских историков той эпохи можно встретить утверждение, что славяне прежде назывались кельтами. Среди южнославянских книжников было распространено мнение, что славяне и готы были одним и тем же племенем. Довольно часто славяне отождествлялись с фракийцами, даками, гетами и иллирийцами. Ныне все эти издания имеют чисто историографический интерес<sup>4</sup>.

Научные изыскания по проблеме славянского этногенеза начинаются с 30-х годов XIX в., когда вышла в свет книга известного исследователя славянских древностей П. И. Шафарика<sup>5</sup>. Свои выводы этот исследователь попытался обосновать анализом сведений древних авторов о венедах (Тацит, Плиний и Птолемей) и этнogeографических данных Иордана. По представлениям П. И. Шафарика, славяне искони заселяли обширные пространства Средней Европы, а впервые славянский язык зазвучал к северо-западу и северо-востоку от Карпат. Прикарпатская теория происхождения славян была весьма популярна в XIX столетии.

XIX в. характеризуется успехами в индоевропеистике и развитием сравнительно-исторического языкоznания. Уже в 30-х годах Ф. Бопп показал, что славянские языки принадлежат к индоевропейской языковой семье, куда входят также индо-

<sup>3</sup> Niderle L. Slovanské starožitnosti, I, s. 1. Praha, 1902—1904, s. 5—17. Б. А. Рыбаков считает, что фраза «По мнозехъ же времянях сели суть словени по Дунаеви...» должна быть переставлена в другое место летописного текста, туда, где описываются миграции кочевых орд на Балканы. И, следовательно, речь идет здесь не о размещении славянской прародины на Дунае, а о заселении славянами Балканского полуострова в V—VI вв. н. э. (Рыбаков Б. А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. М., 1963, с. 219—247).

<sup>4</sup> Средневековые теории происхождения славян собраны в книге: Первоильф И. Славянская взаимность с древнейших времен до XVIII в. СПб., 1874.

<sup>5</sup> Safarik P. Slovanské starožitnosti. Praha, 1837; Шафарик П. И. Славянские древности, т. I. М., 1837.

иранские, греческий, армянский, кельтский, итальянские, германские, балтские, иллирийский, фракийские и другие, в том числе ныне исчезнувшие<sup>6</sup>. Некогда существовал единый индоевропейский язык, в результате распада которого и образовались отдельные языки.

Сравнительно-историческое языкознание определило различную степень родства и близости между языками индоевропейской семьи. Так, установлено было, что славянский язык наиболее близок к балтским и германским языкам, на основании чего высказаны предположения о существовании в древности балто-славянского языка и индоевропейской группы, в которую входили предки славян, балтов и германцев. В XIX и в начале XX в. были выявлены и изучались следы ирано-славянских языковых контактов и поставлены вопросы о возможности славяно-кельтских, славяно-иллирийских и славяно-фракийских контактных отношений. Таким образом, устанавливалось, что древние славяне и их территория находились, где-то между балтами, германцами и иранцами. Очень вероятно также соседство славян с кельтами, фракийцами и иллирийцами. В результате была предложена схема размещения индоевропейских племен в древности<sup>7</sup>. Однако локализация этой схемы на географической карте встретила непреодолимые трудности.

С конца XIX в. для определения места расселения ранних славян стали привлекаться данные топонимики. В самом начале XX в. появилось интересное исследование А. Л. Погодина, в котором дается очерк истории древних славян по данным античных и раннесредневековых авторов и предпринята попытка очертить раннюю славянскую территорию при помощи анализа водных названий<sup>8</sup>. Исследователь утверждает, что ранние славяне занимали современную Польшу, Подолию и Волынь, где обнаруживаются много старых славянских гидронимов.

Анализом гидронимики в связи с определением славянской прародины много занимался Я. Розвадовский. Его выводы менялись. В первых работах древние славянские земли были определены в пространстве между Неманом и Днепром, а в последних — от Вислы до Днепра<sup>9</sup>.

В 1908 г. польский ботаник Ю. Ростафинский предпринял попытку определить древнюю территорию славян на основе флоры-

<sup>6</sup> Bopp F. Vergleichende Grammatik des Sanskrit. Berlin, 1833.

<sup>7</sup> Hirt H. Die Indogermanen. Ihre Verbreitung, ihre Urheimat und ihre Kultur. Strassburg, 1905.

<sup>8</sup> Погодин А. Л. Из истории славянских передвижений. СПб., 1901.

<sup>9</sup> Rozwadowski J. Ze studjów nad nazwami rzek słowiańskich. Lwów, 1910; *idem*. Kilka uwag do przedhistorycznych stosunków Europy wschodniej na podstawie nazw wód.— «Rocznik slawistyczny», VI, 1914; *idem*. Remarques critiques sur la patrie, dite primitive, des peuples slaves.— In: Conference des historiens des états de l'Europe orientale et du monde slave, II. Warszawa, 1928; *idem*. Studia nad nazwami wód słowiańskich. Kraków, 1948.

стической лексики<sup>10</sup>. Как известно, название буков не является исконно славянским, а названия граба, тиса и плюща славянские. Отсюда делается вывод, что славянская прародина находилась вне ареала букв, но в пределах распространения растений со славянскими названиями. Такой областью, по мнению Ю. Ростафинского, были Припятское Полесье и Верхнее Поднепровье. Несмотря на то, что ботаническая аргументация славянской прародины была встречена критически<sup>11</sup>, ей суждено было в течение нескольких десятилетий играть важную роль в определении ареала ранних славян.

В первой трети XX в. различными исследователями было создано несколько гипотез по проблеме славянского этногенеза. Наиболее крупной работой в области славянского этногенеза этого периода являются исследования Л. Нидерле, в которых были обобщены достижения различных наук — истории, лингвистики, этнографии, антропологии и археологии<sup>12</sup>. Согласно Л. Нидерле, общеиндоевропейский язык распался на отдельные языки в начале II тысячелетия до н. э. Наряду с другими индоевропейскими языками сначала существовал балто-славянский язык, из которого в I тысячелетии до н. э. (а возможно, и раньше) образовался праславянский. Территория формирования праславян, отмечал исследователь, пока не может быть определена. Вместе с тем, он считал, что невры, будины и скифы-пахари Геродота были славянами. Весьма осторожно определяет Л. Нидерле ареал славян в начале н. э. На востоке, по его мнению, он достигал верховьев Днепра и отдельных районов Подонья, на севере — Нарева и левых притоков Припяти, на западе — Эльбы. Западную границу славян, замечает исследователь, может быть, придется переместить к Висле, если не будет доказана славянская принадлежность полей погребений лужицко-силезского типа. Труды Л. Нидерле долго оставались вершиной науки о происхождении и ранней истории славян.

В русской литературе оригинальные теории славянского этногенеза были разработаны А. А. Шахматовым и А. И. Соболевским. Согласно представлениям первого исследователя<sup>13</sup>, в отдаленной древности восточные индоевропейцы жили в бассейне Балтийского моря. Отсюда часть их (предки индо-иранцев и фракийцев) переселились в более южные области Евразии. В юго-восточной Прибалтике остались балто-славяне, из которых

<sup>10</sup> Rostański, J. O pierwotnych siedzibach i gospodarstwie] słowian w przedhistorycznych czasach. Kraków, 1908.

<sup>11</sup> Brückner A. Zur Geschichte der Buchenbenennung.— «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen», XLVI, 1914, S. 193—197.

<sup>12</sup> Niederle L. Slovanské starožitnosti; idem. Manuel de l'antiquité slave, t. I. Paris, 1923; idem. Rukovět slovanské archeologie. Praha, 1931; Нидерле Л. Славянские древности. М., 1956.

<sup>13</sup> Шахматов А. А. Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915; он же. Введение в курс истории русского языка. Пг., 1916.

в I тысячелетии образовались балты и славяне. Для своих построений А. А. Шахматов использовал и топонимику, и фитонимику. Однако главным было якобы существовавшие в древности непосредственные контакты славян с кельтами и финнами. По представлениям А. А. Шахматова, славяне первоначально жили в низовьях Западной Двины и Немана. Их восточными соседями были балты, соседями славян были также германцы, кельты и финны. Во II в. н. э., — когда германцы ушли из Повисленья, славяне продвинулись в области современной Польши, а оттуда позднее расселились в те области Европы, где они известны по средневековым источникам. Построения А. А. Шахматова не были приняты исследователями<sup>14</sup>.

На основе изучения индоевропейских языков и восточноевропейской топонимики А. И. Соболевский полагал, что славянские языки образовались посредством слияния двух языков — один из них относился к балтской ветви, второй — к иранской. Исследователь считал, что многие из древнеславянских племен были ославленными скифами<sup>15</sup>.

В 20-х годах и позднее большую популярность имело исследование М. Фасмера, в котором отстаивалась припятско-волынская прародина славян<sup>16</sup>. Помимо данных сравнительно-исторического языкоznания и ботанических доводов, исследователь использовал гидронимику. Произведенный им анализ водных названий Средней Европы выявил древние ареалы кельтов, германцев, иллирийцев и фракийцев, после чего славянам здесь не осталось места. Поэтому славянскую прародину М. Фасмер локализовал в бассейнах Припяти и Среднего Днепра, где им были выявлены десятки архаичных славянских гидронимов. В этом регионе из балто-славянской общности около 400 г. до н. э. и выделился славянский язык.

20—30-е годы характеризуются бурным развитием славистики в Польше. Большинство польских исследователей отстаивало западное происхождение славян, утверждая, что их прародина находилась в междуречье Вислы и Одера. Мысль о западном происхождении славян зародилась еще в конце XVIII в., но до 20-х годов XX в. она не имела солидной аргументации. Теперь славянским этногенезом занялись польские и отчасти чешские ар-

<sup>14</sup> Бузук П. А. Взгляды академика А. А. Шахматова на доисторические судьбы славянства.— «Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук» (далее «Известия ОРЯС»), XXIII, 1921, с. 150—179; Ильинский Г. А. Проблема праславянской прародины в научном освещении А. А. Шахматова.— «Известия ОРЯС», XXV, 1922 с. 419—436.

<sup>15</sup> Соболевский А. И. Русско-скифские этюды.— «Известия ОРЯС», XXVI, 1921, с. 1—44; XXVII, 1922, с. 252—332.

Критика гипотезы А. И. Соболевского дана в статье: Погодин А. Л. Теория акад. А. И. Соболевского о двояком происхождении славянского племени.— In: Slavica, IX. Praha, 1930/1931.

<sup>16</sup> Vasmer M. Die Urheimat der Slawen.— In: Der ostdeutsche Volk boden. Breslau, 1926, S. 118—143.

хеологи, которые пытались показать генетическую преемственность археологических культур в междуречье Вислы и Одера, начиная с лужицкой культуры. В этом отношении особенно много сделал польский археолог Ю. Костшевский<sup>17</sup>. Эту позицию активно поддерживал и видный польский антрополог Я. Чекановский, использовавший для этногенетических построений данные антропологии, топонимики, ботаники и других наук<sup>18</sup>.

Наиболее основательно вопросы славянского этно- и глотто-генеза были рассмотрены крупнейшим польским славистом Т. Лер-Славинским<sup>19</sup>. В основе построений — материалы языкоznания, гидронимики, археологии и антропологии. Суть теории заключается в следующем. До 2000 г. до н. э. Северо-Восточная Европа (вплоть до Силезии и Померании) была заселена финно-уграми, оставившими культуру гребенчатой керамики. Около 2000 г. из Центральной Европы в восточном направлении расселяются носители культуры шнуровой керамики. На востоке они достигают Среднего Поволжья и Северного Кавказа. Это была одна из групп индоевропейцев. В результате взаимодействия индоевропейцев с финно-уграми на территории между Одером и Окой формируются балто-славяне (или прабалты). Лужицкая культура относится исследователем к индоевропейцам — венетам. Расселение последних в междуречье Вислы и Одера (1500—1300 гг. до н. э.) привело к отделению части прабалтов, что было первым шагом к образованию славян. Окончательно славяне сложились к середине I тысячелетия до н. э. после миграции носителей поморской культуры из Нижнего Повисленья в южном направлении. Результатом этого было формирование в Висло-Одерском междуречье пшеворской и оксыцкой культур, которые Т. Лер-Славинским считаются рапнеславянскими.

Построения Т. Лер-Славинского привлекательны комплексным решением славянской этногенетической проблематики. Некоторые положения в теории этого исследователя подверглись критике<sup>20</sup>, а отдельные археологические и топонимические выводы ныне уже устарели. Тем не менее исследование Т. Лер-Славинского остается существенным вкладом в изучение проблемы славянского этногенеза.

В последнее время в польской науке, наряду с гипотезой происхождения славян в Висло-Одерском междуречье, распространились иные взгляды. В частности, по мнению А. Гардавского, основой славянства были племена тшинецкой культуры (эпоха

<sup>17</sup> Kostrewski J. Prasłowiańska. — In: Biblioteka Słowiańska, ser. 1, N 2. Warszawa, 1935; *idem.* Prasłowiańska. Zarys dziejów i kultury prasłowian. Poznań, 1946; *idem.* Wielkopolska w pradziejach. Warszawa — Wrocław, 1955.

<sup>18</sup> Czechanowski J. Wstęp do historii słowian. Lwów, 1927 (второе расширенное издание — Poznań, 1957).

<sup>19</sup> Lehr-Sławinski T. O pochodzeniu i praojczyźnie słowian. Poznań, 1946.

<sup>20</sup> Ułaszyń H. Prawojozyczna słowian. Łódź, 1959; Filipin F. P. Образование языка восточных славян. М.—Л., 1962, с. 34—45.

бронзы) бассейна верхней Вислы и Среднего Поднепровья<sup>21</sup>.

Развитие исследований по славянскому этногенезу в нашей стране некоторое время сдерживалось распространением марристских представлений. К тому же многие области Восточной Европы до недавней поры в археологическом отношении были слабо изучены. В частности, исследованными оставались верхнеднепровские и отчасти среднеднепровские древности I тысячелетия до н. э. и I тысячелетия н. э., имеющие важное значение для решения славянского этногенеза.

В 50-х годах попытки изложения ранней истории славян по данным археологии предпринимались М. И. Артамоновым и П. Н. Третьяковым<sup>22</sup>. Согласно представлениям первого исследователя, раннеславянскими на западе были лужицкая, поморская и пшеворская культуры. Кроме того, славяне с глубокой древности распространялись также на восток вплоть до Поднепровья. Здесь славянам принадлежали скифские лесостепные культуры. Невры, гелоны и будины, по М. И. Артамонову, были славянами.

П. Н. Третьяков считал протославянскими племена шнуровой культуры, расселившиеся во II тысячелетии до н. э. на территории от Эльбы до среднего Днепра. В I тысячелетии до н. э. славянам принадлежали лужицкая, поморская, скифские лесостепные, верхнеднепровская и южновская культуры. Позднее славянскими были пшеворская, зарубинецкая, черняховская и более северо-восточные культуры, вплоть до городища Березняки на Волге.

По мере накопления археологических материалов эти этногенетические схемы были коренным образом пересмотрены. Пыне П. Н. Третьяков относится к проблеме происхождения славян осторожно. С одной стороны, исследователь, по-видимому, разделяет мысль А. Гардавского о племенах тшинецкой культуры как основе славянства, с другой стороны, считает возможным начинать историю славян только с рубежа н. э. — от пшеворской и зарубинецкой культур<sup>23</sup>.

В лингвистическом плане наибольший интерес представляют работы советских исследователей С. Б. Бернштейна и Ф. П. Филина<sup>24</sup>. Как и многие современные лингвисты, они отрицают

<sup>21</sup> Gardawski A. Zagadnienie ciągłości osadniczej, kulturowej i etnicznej w międzyrzeczu Odry-Dniepru od II okresu epoki brązu do VI/VII w.n.e. — In: I Międzynarodowy kongres archeologii słowiańskiej, I. Wrocław — Warszawa — Kraków, 1968, s. 215—240.

<sup>22</sup> Артамонов М. И. Происхождение славян. М., 1950. Третьяков П. Н. Восточнославянские племена. М., 1953.

<sup>23</sup> Третьяков П. Н. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. М.—Л., 1966, с. 190—220; он же. Некоторые итоги изучения восточнославянских древностей. — Краткие сообщения Института археологии (далее КСИА), вып. 118, 1969, с. 20—29.

<sup>24</sup> Бернштейн С. Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961; Филин Ф. П. Образование языка восточных славян. М.—Л., 1962.

гипотезу о существовании в древности балто-славянского языка. Исследователи полагают, что предки балтов и предки славян находились в длительном контакте между собой, не слившись в единое (в языковом отношении) целое. Начало формирования общеславянского языка относится к I тысячелетию до н. э. Ф. П. Филин много внимания уделил анализу славянской лексики и на его основе показал, что славянская прародина находилась вдали от моря, в лесной, равнинной полосе, изобиловавшей болотами и озерами. Однако подобный ландшафт весьма распространен во многих областях Центральной и Восточной Европы. Для определения конкретного ареала праславян Ф. П. Филин привлекает флористические и фаунистические аргументы. Отмечается также славянский характер ряда названий рек Поднепровья. В результате ранняя славянская территория (около рубежа нашей эры) определяется между Западным Бугом и Средним Днепром. При этом, как отмечает исследователь, ее восточная и северная границы остаются весьма неопределенными.

\*

Проблема происхождения славян может быть разрешена только при сотрудничестве разных наук — лингвистики, топонимики, археологии, антропологии, истории, этнографии и эпиграфики. Каждой из этих наук свойственны свои методы исследования, перед каждой из них стоят свои задачи. Так, средствами языкоznания должен решаться вопрос о происхождении славянской языковой общности, т. е. вопрос глоттогенетический, являющийся существенной частью этногенетического процесса.

На первых порах развития индоевропеистики исследователи полагали, что образование отдельных языков является результатом простой эволюции диалектов индоевропейского языка вследствие отрыва или изоляции их носителей от основного ствола. Однако позднее установлено, что распад индоевропейской общности был весьма сложным процессом. Скорее всего, ни одна из известных лингвистике ветвей не образовалась непосредственно из диалектов индоевропейского языка. В древности индоевропейских языков и диалектов было значительно больше, чем фиксирует современная наука. Распад индоевропейского языка не был однократным процессом, а прошел через ряд этапов и длился тысячелетия. Между древними индоевропейскими диалектами и современными языками группами имели место промежуточные этнические образования, а в отдельных случаях, вероятно, и серия промежуточных групп.

Первый период распада индоевропейской общности связан с отделением анатолийских и индоирапских языков. Древнейшие письменные памятники свидетельствуют, что хеттский и индоиранские языки выделились из индоевропейского, по крайней мере, уже в III тысячелетии до н. э. К раннему времени относится

также оформление армянского, греческого и фракийского языков. Зато языки племен Срединной Европы оформились как самостоятельные сравнительно поздно<sup>25</sup>.

Представляют интерес наблюдения и выводы Г. Крае по древнейшей истории индоевропейцев в Европе<sup>26</sup>. Лексические и топонимические изыскания привели этого исследователя к выводу, что в то время, когда анатолийские, индо-иранские, армянский и греческий языки уже отделились от остальных индоевропейских и развивались как самостоятельные, полностью оформленные языки, италийский, кельтский, германский, славянский, балтский и иллирийский языки еще не существовали. «Западноевропейские языки Северной и Средней Европы во II тысячелетии до н. э., — отмечает Г. Крае, — в своем развитии были достаточно близки друг другу, составляя хотя и слабо связанные, но еще единообразную и находящуюся в постоянных контактах группу, которую можно назвать «древнеевропейской». Из нее со временем вышли и развились отдельные языки: германский и кельтский, италийский и венетский, иллирийский, балтский и на окраине славянский языки»<sup>27</sup>. Древнеевропейцы выработали общую терминологию в области сельского хозяйства, социальных отношений и религии. Древнеевропейские гидронимы, согласно Г. Крае, распространены от Скандинавии до материковой Италии и от Британских островов до Восточной Прибалтики. На этой территории наиболее древними представляются области севернее Альп.

Независимо от Г. Крае О. Н. Трубачев в результате анализа славянской лексики гончарного, кузнецкого, текстильного и деревообрабатывающего ремесел пришел к почти аналогичному выводу. В тот период, когда складывалась эта терминология, носители раннеславянских диалектов или их предки находились в тесном контакте с предками германцев и италиков, т. е. с индоевропейцами Центральной Европы. Центральноевропейский культурно-исторический ареал, который занимали протогерманцы, протоиталики и протославяне, локализуется исследователем в бассейнах верхнего и среднего Дуная, верхней Эльбы, Одера и Вислы, а также в Северной Италии<sup>28</sup>.

В. И. Абаев выявил целый ряд североирано-европейских языковых сходств и отметил параллели в области мифологии, свидетельствующие о контакте древних иранцев Юго-Восточной Европы с нерасчененными европейскими племенами. Древнеевро-

<sup>25</sup> Trager G. L. and Smith H. L. A Chronology of Indo-Hittite.— Studies in Linguistics, vol. 8, N 3. Norman, Okla, 1950.

<sup>26</sup> Krahe H. Sprache und Vorzeit. Heidelberg, 1954; *idem*. Die Struktur der alteuropäischen Hydronimie.— In: Akademie der Wissenschaft und der Literatur. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse. Wiesbaden, 1962, N 5; *idem*. Unsere ältesten Flussnamen. Wiesbaden, 1964.

<sup>27</sup> Krahe H. Germanische Sprachwissenschaft. I. Einleitung und Lautlehre. Berlin, 1960, S. 13.

<sup>28</sup> Трубачев О. Н. Ремесленная терминология в славянских языках. М., 1966.

пейская языковая общность, куда входили будущие славяне, германцы, кельты и италики (по В. И. Абаеву, и тохары), подчеркивает в этой связи исследователь, является исторической реальностью<sup>29</sup>. В. П. Шмид обнаружил шесть водных названий древнеевропейского типа в верхнеднепровском бассейне и высказал предположение, что древнеевропейско-иранский контакт имел место во II тысячелетии до н. э. в южной части Верхнего Поднепровья, где имеются и иранские гидронимы<sup>30</sup>.

Славянский язык принадлежит к числу молодых в системе индоевропейских. Исходя из лингвистических данных, образование праславянского языка определяется серединой I тысячелетия до н. э.<sup>31</sup>

Сравнительно-историческое языкознание устанавливает, что в тот период, когда праславянский язык уже выделился из индоевропейского и развивался самостоятельно, славяне имели языковые контакты с балтами, германцами, иранцами и, возможно, также с кельтами и фракийцами. Однако нельзя утверждать, что все контакты эти были равнозначными и одновременными.

Наиболее существенными были балто-славянские взаимосвязи. Из всех индоевропейских языков славянский наиболее близок к балтскому. Поэтому было высказано предположение о существовании в древности балто-славянского языка, в результате распада которого образовались самостоятельные балтский и славянский языки. Дискуссия по балто-славянским языковым отношениям, имевшая место в связи с IV Международным съездом славистов, показала, что сходство между балтскими и славянскими языками и наличие балто-славянских изоглосс могут быть объяснены и длительным контактом славян с балтами (балто-славянская общность)<sup>32</sup>. При этом необходимо подчеркнуть, что балто-славянская общность охватывала не все балтские племена, а только славян и западных балтов (предков пруссов, галиндлов и ятвягов), что существенно для определения праславянской территории.

В последнее время удалось обнаружить достаточное число надежных примеров славяно-германского лексического взаимо-

<sup>29</sup> Абаев В. И. Скифо-европейские изоглоссы. М., 1965.

<sup>30</sup> Schmid Wolfgang. P. Alteuropa und der Osten im Spiegel der Sprachgeschichte. Innsbruck, 1966.

<sup>31</sup> М. Фасмер и Т. Лер-Славинский определяли начало праславянского языка серединой I тысячелетия до н. э. По мнению Ф. П. Филина, первый этап развития праславянского языка приходится на I тысячелетие до н. э. Некоторые исследователи относят образование языка славян ко второй половине I тысячелетия до н. э. (Trager G. L. and Smith H. L. A Chronology of Indo-Hittite.)

Согласно данным современной германистики, прагерманский язык существовал до середины I тысячелетия до н. э. Выделение праиталийского языка относится к рубежу II и I тысячелетий до н. э. Специалисты по латтонитовским языкам допускают функционирование общебалтского языка во II тысячелетии до н. э.

<sup>32</sup> Славянская филология, т. I, М., 1958.

проникновения, относимого к середине I тысячелетия до н. э. О языковых контактах праславян с пра германцами в это время свидетельствуют не только данные лексики (славизмы в пра германском языке), но и иные языковые материалы<sup>33</sup>. Отсюда можно утверждать, что славяне в древнейший период жили где-то по соседству с западными балтами и германцами.

Исследователи, размещавшие славянскую прародину в Среднем Поднепровье или Припятском Полесье, подчеркивали большое число славяно-иранских языковых сходствений. Однако повейшие изыскания показывают, что те лексические материалы, которые прежде рассматривались как продукт взаимодействия праславян с иранцами, в действительности отражают лишь восточнославяно-иранские или западнославяно-иранские контакты, а последние ни в коем случае нельзя отождествлять с древнейшими славяно-иранскими<sup>34</sup>. Нет бесспорных свидетельств ранних славяно-иранских контактов и в других материалах лингвистики<sup>35</sup>. Очевидно, нужно полагать, что в первый период развития праславянского языка славяне жили где-то в стороне от иранского мира.

В пользу такого решения вопроса говорят и материалы эпиграфики. Исследование ранних эпиграфических памятников Северного Причерноморья, произведенное Л. Згустой, показало, что среди тысяч имен, упомянутых в этих надписях, нет ни одного славянского происхождения<sup>36</sup>. По-видимому, вплоть до III в. н. э. славяне жили где-то в стороне от Северного Причерноморья.

Для определения места формирования славян очень немного может дать анализ праславянской лексики. Привлечение зооботанической терминологии кажется беспerspektивным. Смены географических зон, миграции животных и растений, малочисленность и эпохальные изменения флористических и фаунистических терминов делают всякие этногенетические выводы, основанные на анализе этой лексики, малодоказательными. Из зоотерминологии для определения прародины славян важны, пожалуй, только названия проходных рыб — лосося и угря. Поскольку последние названия являются общеславянскими, можно утверждать, что славянский регион древнейшей поры находился в пределах оби-

<sup>33</sup> Мартынов В. В. Славяно-германское лексическое взаимодействие древнейшей поры. Минск, 1963; Типология и взаимодействие славянских и германских языков. Минск, 1969.

<sup>34</sup> Грубачев О. Н. Из славяно-иранских лексических отношений.— В кн.: Этимология. 1965. М., 1967, с. 3—81.

<sup>35</sup> Некоторые исследователи высказывали предположение, что изменения в праславянском *s* в *ch* после *i*, *u*, *r*, *k* пред гласными произошли при воздействии иранских языков. Однако при отсутствии каких-либо иных фактов о раннем славяно-иранском контакте эти новообразования в праславянском могут быть объяснены иными мотивами, не зависимыми от процессов, протекавших в индо-иранских языках.

<sup>36</sup> Zgusta L. Die Personennamen griechischer Städte der nördlichen Schwarzecküste. Die Verhältnisse, namentlich das Verhältnis, der Skythen und Sarmaten im Lichte der Namenforschung. Praha, 1955.

тания этих рыб, т. е. в бассейнах рек, впадающих в Балтийское море.

Для локализации прародины славян некоторый интерес представляют наблюдения В. М. Иллич-Свитыча, обнаружившего в лексике южнославянских языков элементы «горного ландшафта»<sup>37</sup>. Следовательно, предки южнославянских народов перед расселением на Балканском полуострове пересекли Карпаты, а это значит, что более ранняя славянская территория находилась где-то к северу от Карпат.

Для изучения глотто- и этногенеза славян перспективны внутрилингвистические методы исследования. Фонологическая система того или иного языка обычно перестраивается под воздействием субстрата. При этом, чем дальше фонологическая система от первоначальной, тем дальше удалены ее носители от прародины. Отсюда вывод о максимальной близости современных диалектов, распространенных на территории прародины, к общему языку той или иной системы.

Согласно наблюдениям В. В. Мартынова, занимавшегося реконструкцией элементов фонологической системы праславянского языка, наиболее последовательно праславянские фонологические черты выявляются в великопольских говорах. В юго-восточном направлении от ареала последних праславянские особенности в современных славянских диалектах заметно ослабевают, а в южном (в Подунавье и на Балканском полуострове) пропадают вовсе<sup>38</sup>. Лексика обычно дает обратную картину — периферийные (по отношению к прародине) области расселения славян, как правило, сохраняют архаичную лексику, в то время как коренной территории свойственные лексические новообразования. В южнославянских и восточнославянских диалектах (в том числе и в Припятском Полесье) имеются архаичные лексические микроструктуры. Наиболее древние районы славянства на этом основании намечается в регионе современных польских диалектов.

Праславянский язык эволюционировал неравномерно. На смену спокойному развитию языка приходило время бурных изменений, что, по-видимому, обусловлено степенью взаимодействия славян с соседними этническими группами. Поэтому для реконструкции славянского этногенеза весьма важной является периодизация праславянского языка. В его развитии Ф. П. Филин выделяет три крупных этапа<sup>39</sup>.

На раннем этапе (до конца I тысячелетия до н. э.) формировались основы общеславянской языковой системы. Это — период,

<sup>37</sup> Иллич-Свитыч В. М. Лексический комментарий к карпатской миграции славян (географический ландшафт).— «Известия АН СССР. Отделение литературы и языка», 1960, № 3, с. 222—232.

<sup>38</sup> Мартынов В. В. Проблема славянского этногенеза и методы лингвогеографического изучения Припятского Полесья.— «Советское славяноведение», 1965, № 4, с. 73—77.

<sup>39</sup> Филин Ф. П. Образование языка восточных славян, с. 99—110.

когда славянский язык начал развиваться самостоятельно и спокойно и постепенно выработал свою систему, отличную от других индоевропейских языковых систем.

Средний этап развития праславянского языка датируется от конца I тысячелетия до н. э. до III—V вв. н. э. В этот период происходят серьезные изменения в фонетике языка славян (палафонизация согласных, устранение некоторых дифтонгов, изменения в сочетаниях согласных, отпадение согласных в конце слова), эволюционирует его грамматический строй. В это время развивается диалектная дифференциация славянского языка. По всей вероятности, эти существенные изменения в развитии праславянского языка обусловлены взаимодействием славян с другими этноязыковыми группами. Иначе их объяснить невозможно.

Поздний этап истории праславянского языка (V—VII вв.) совпадает с началом широкого расселения славян. Языковое единство славян в этот период продолжало существовать, но появились условия для зарождения в разных местах славянского ареала отдельных языков, что привело в конечном итоге к разделению единого языка на несколько славянских языков.

В изучении славянского этногенеза перспективной является ономастика. Попытки использования топонимики для локализации славянской прародины, как уже отмечалось, предпринимались давно. Однако утверждения, встречающиеся как в прежних исследованиях, так иногда и поныне, что областью первоначального жительства славян являются районы наибольшего сосредоточения славянской гидронимики, должны быть решительно отвергнуты. В действительности наблюдается обратная картина — области сосредоточения гидронимии определенной языковой принадлежности оказываются районами миграции соответствующих этнических групп. Праславянское население в первый период своей истории, следуя полагать, пользовалось прежними (индоевропейскими и древнеевропейскими) названиями вод. Бессспорно, что формирование языка славян не сопровождалось переименованием гидронимов. Следовательно, славянскую прародину древнейшей поры нужно искать в ареале древнеевропейской гидронимики. Только в процессе освоения новых территорий славяне стали давать рекам и озерам собственно славянские названия.

Вполне очевидно, что чем древнее славянские гидронимы, тем более древнюю территорию славян они обрисовывают. Однако стратиграфия славянской гидронимики пока не поддается изучению. Удаётся выделить лишь отдельные водные названия, которые с известной долей вероятности можно относить к праславянскому периоду<sup>40</sup>. Но эти гидронимы могли образоваться в разные этапы праславянской истории, в том числе и в самое позднее время. Сле-

довательно, распространение древних славянских гидронимов отражает уже не славянскую прародину, т. е. ареал формирования славян, а область их расселения к третьей четверти I тысячелетия н. э.

Интересна попытка Т. Лер-Славинского дифференцировать область между Одером и Средним Днепром на основе гидронимики на две зоны — зону первичной гидронимики (бассейны Одера и Вислы) и зону с производными словообразовательными формами по отношению к первичным (Среднее Поднепровье)<sup>41</sup>. К такому же выводу, но на основе структурно-словообразовательного анализа старославянских водных названий, склоняется и польский топонимист С. Ропонд<sup>42</sup>. Если это так, то междуречье Вислы и Одера оказывается более древней славянской землей.

Топонимике принадлежит также значительная роль в исследовании направлений и путей славянского расселения как в раннее время, так и в эпоху средневековья. Исследователи давно обратили внимание на то, что систематическая повторяемость водных названий в определенном направлении отражает путь расселения племен и народностей. Некоторые наблюдения о деталях восточнославянского расселения в Поднепровье сделаны еще П. Л. Маштаковым<sup>43</sup>. Недавно болгарскому исследователю Й. Заимову на основе топонимики удалось нарисовать обстоятельную картину славянского заселения восточной части Балканского полуострова, осуществляемого из северокарпатских областей<sup>44</sup>.

В разрешении проблемы происхождения славян много можно было бы ожидать от палеоантропологии, если бы у славян в I тысячелетии до н. э. и позднее вплоть до последних веков I тысячелетия н. э. не господствовал обряд сожжения умерших. Полное отсутствие краинологических материалов по ранней истории славянства делает антропологию вспомогательной наукой в изучении славянского этногенеза.

Для исследования самого раннего этапа славянской истории этнографии предстоит систематизировать и должным образом обработать обильный этнографический материал, собранный исследователями XIX и XX вв. К изучению проблемы славянского этногенеза этнографы, по-видимому, активно смогут подключиться после составления региональных и общеславянских атласов.

<sup>40</sup> Lehr-Saławiński T. Rozmieszczenie geograficzne prasłowiańskich nazw wodnych.— In: Rocznik sławistyczny, t. XXI, cz. 1, Wrocław—Kraków, 1960, s. 5—22.

<sup>41</sup> Ropond S. Prasłowianie w świetle onomastyki.— In: I Międzynarodowy kongres archeologii słowiańskiej, I. Wrocław — Warszawa — Kraków, 1968, s. 109—170.

<sup>42</sup> Mash'takov P. L. Десна. Пг., 1918; Седов В. В. Из истории восточнославянского расселения.— «Краткие сообщения Института археологии АН СССР» (далее — КСИА), 1965, вып. 104, с. 3—11.

<sup>43</sup> Zaimov Й. Заселване на българските славяни на Балканския полуостров. София, 1967.

<sup>40</sup> Никонов В. А. Межславянские топонимические черты Украины.— В кн.: Питання ономастики. Київ, 1965, с. 51—54; Трубачев О. Н. Назания рек Правобережной Украины. М., 1968, с. 270—273.

Ныне вопросы этногенеза славян нельзя решать без учета данных археологии. Лингвистические выводы по этногенезу обычно не имеют конкретно-исторического смысла, а археология является наукой исторической. Языком пользуется вполне определенная группа людей, которые являются творцами материальной культуры. Последняя не существует в отрыве от этноса. Конечно, имеются элементы культуры, которые зависят от географической среды или социальных условий жизни, но и они часто приобретают некоторое своеобразие под воздействием этноса их носителей.

Археологические культуры, если они выделены на основе достаточноенных фактов, как правило, этничны. Впрочем, известны и многоэтнические культуры, что вполне понятно, ибо в древней истории человечества неоднократно имели место миграции и взаимопроникновения одной или нескольких этнических групп на территории других. Однако исследователи почти всегда могут определить, этнична или многоэтнична та или иная археологическая культура, и выявить племенные компоненты многоэтнических культур. Исследователи, отрицающие связь археологической культуры с этносом, обычно оперируют статическими примерами.

Обоснованием славянской принадлежности той или иной археологической культуры не может быть то, что она находится в пределах предполагаемой прародины славян, устанавливаемой исследователями других наук. Так как среди языковедов распространены самые различные мнения относительно локализации ранних славян, то таким образом, можно «обосновать» славянскую принадлежность самых разных как в территориальном, так и в хронологическом отношении культур. Однако при этом имеет место явное нарушение методологии собственной науки. Археолог должен прежде всего попытаться обосновать славянство той или иной культуры на собственных материалах и только потом сопоставить свои результаты с данными других наук.

Непременным условием для заключения о единстве этноса должна быть генетическая преемственность при смене одной археологической культуры другой. Если такая преемственность не обнаруживается, то неизбежен вывод о смене одного этноса другим или о наслоении одной этноязыковой единицы на другую. Поэтому ведущая роль в исследовании этногенеза принадлежит ретроспективному методу исследования, заключающемуся в поэтапном прослеживании истоков различных элементов культур.

В настоящее время наиболее ранние достоверно славянские древности относятся к середине I тысячелетия н. э. Поиски генетических корней этих древностей встречают трудности. Хронологически им предшествует эпоха «великого переселения народов», когда, как свидетельствуют древние авторы, в результате миграций и диффузий различных племен в Европе имели место значительные территориальные смешения разноэтнического населения. Значит, археологические культуры этой эпохи, по-видимому, и те, которые имеют непосредственное отношение к славянскому

этногенезу, являются совокупностью элементов материальной культуры этнически смешанного населения. А если это так, то ожидать генетической преемственности славянских древностей V—VII вв. с более ранними археологическими культурами не следует. Приходится ограничиться отдельными связующими элементами между ними.

Ниже излагается начальная история славян в основном по данным археологии. Предлагаемая теория славянского этногенеза в отдельных местах гипотетична, но ее привлекательность заключается в том, что она не обнаруживает каких-либо существенных противоречий с данными современной науки.

В первой половине I тысячелетия до н. э. в срединной Европе складывается следующая этническая картина (рис. 1). Северо-восточные области этого региона занимали балты, которым принадлежали побережье Балтийского моря от Западного Повисленья до устья Даугавы, а также бассейны Немана, Западной Двины и Верхнее Поднепровье. К началу железного века балтская языковая общность уже не существовала, поэтому балтские племена представлены многими археологическими культурами. На востоке это — днепро-двинская, верхнеокская, юхновская, милорадская культуры и культура штрихованной керамики, а в более западных районах — культура восточно-пруссских курганов<sup>45</sup>. На западе окраинной балтской была поморская культура, в VII—VI вв. до н. э. (вельковейский этап), занимавшая сравнительно небольшую территорию на нижней Висле и западнее до Одера.

Балтская принадлежность поморской культуры VII—VI вв. до н. э. определяется археологией и гидронимикой. Еще в 20—30-х годах XX в. польские археологи Ю. Коштревский и Т. Вага, сопоставляя поморские древности с культурой восточно-пруссских курганов, балтская атрибуция которой вне сомнения, считали их двумя группами единой археологической культуры<sup>46</sup>. Действительно, сходство памятников Польского Поморья с культурой восточно-пруссских курганов значительное. Общими для них являются устройство каменных ящиков для захоронений, многие типы глиняной посуды (круглодонные горшки и миски, грушевидные сосуды, усечено-конические миски и другие), некоторые украшения и орудия труда. Другим важным аргументом в пользу однотипичности культур поморской и восточно-пруссских курганов является то, что в их основе лежит единая культура бронзового века. А ныне представляется бесспорным, что поморская культура

<sup>45</sup> Engel G. und La Baume W. Kulturen und Völker der Frühzeit im Preußenlande. Königsberg, 1937; Gimbutas M. The Balts. London, 1963; Третьяков П. Н. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. М.—Л., 1966; Седов В. В. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвилья. М., 1970.

<sup>46</sup> Kostrzewski J. Kultura przedhistoryczna województwa pomorskiego.—In: Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego. Seria Balticum, 1. Toruń, 1929; *idem*. Dwa cmentarzyska kultury pomorskiej.—«Wiadomości archeologiczne», 1934, XIII, s. 43—102; Waga T. Pomorze w czasach przedhistorycznych. Toruń, 1934.

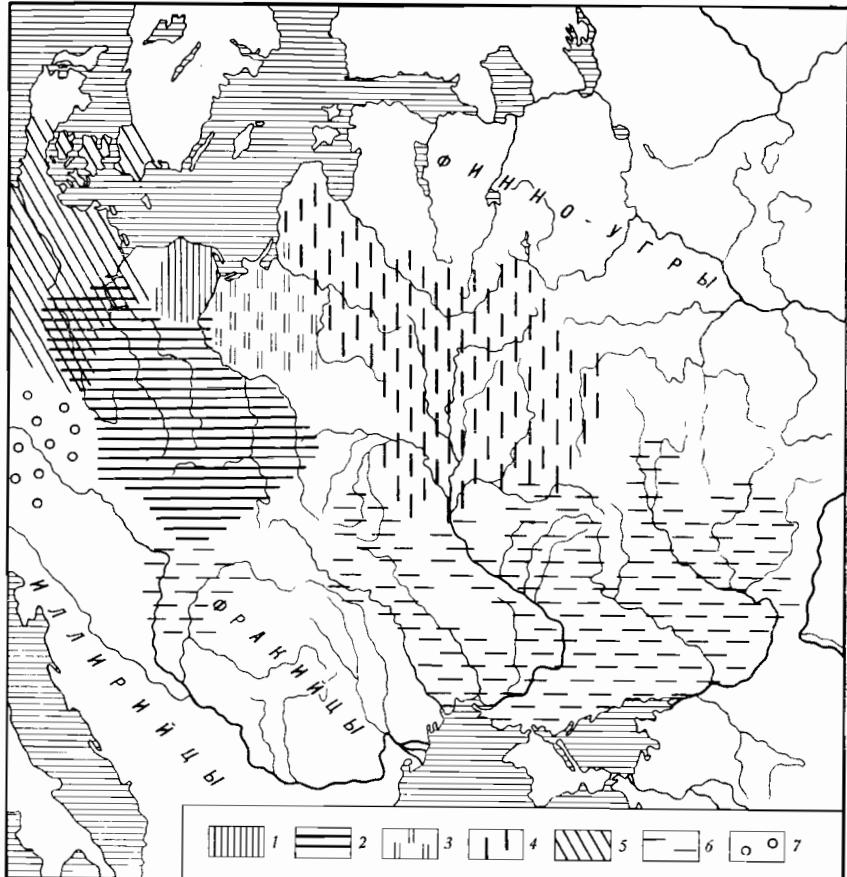


Рис. 1. Средняя Европа в первой половине I тысячелетия до н. э.

1 — поморская культура (окраинный диалект балтов); 2 — лужицкая культура (один из древнеевропейских диалектов); 3 — культура восточно-пруссих курганов (западные балты); 4 — культуры штрихованной керамики, днепро-днестровской, верхнеокской, юхновской и милоградской (восточные и днепровские балты); 5 — ясторфская культура (германцы); 6 — скифские культуры (иранцы); 7 — кельтская культура

сложилась на Кашубской возвышенности в основном в процессе эволюции предшествующей ей культуры местного населения<sup>47</sup>.

Поморская культура целиком формировалась в ареале балт-

<sup>47</sup> Впольской литературе ныне распространено мнение о сложении поморской культуры на основе одной из групп лужицкой культуры (*Kostrzewski J. Pradzieje Pomorza. Wrocław — Warszawa — Kraków*, 1966, с. 70—89). Основано оно исключительно на том, что в бассейнах рек Слупы и Лупавы, входящих в ареал поморской культуры, есть памятники лужицкой культуры. Однако этого мало для утверждения генезиса поморской культуры из лужицкой. Поморские и лужицкие древности, в особенности керамика и погребальный обряд, настолько различны, что не приходится говорить об эволю-

ской гидронимии<sup>48</sup>. Последняя здесь является достаточно древней. Вместе с тем, в сложении поморской культуры какая-то роль принадлежит и пришлому элементу. В начале железного века на Кашубской возвышенности появляются такие элементы культуры, как домковые и лицевые урны, а также некоторые вещевые находки свидетельствующие о проникновении сюда отдельных групп нового населения. Пришельцы, по-видимому, растворились в среде нижневисленских аборигенов. Каких-либо следов в топонимии этого края пришельцы не оставили, поэтому их этническая атрибуция неизвестна. Вероятно, это было одно из древнеевропейских племен, может быть, венеты, как полагает Т. Сулимировский<sup>49</sup>.

С запада к балтскому этническому массиву примыкал ареал ясторфской культуры<sup>50</sup>. Принадлежность последней германцам вне всякого сомнения, поскольку ясторфская культура обнаруживает преемственность с более поздними достоверно германскими древностями. Согласно данными языкоznания, балты с давних времен соседствовали с германцами<sup>51</sup>.

Южными соседями балтов в Поднепровье были иранские племена (скифская культура). В бассейне Днепра на границе леса и степи гидронимия и археология выявляют следы балто-иранского соседства<sup>52</sup>. Западнее скифского ареала, в Карпато-Дунайском районе обитали фракийские племена<sup>53</sup>. Имеются основания предполагать, что фракийцы, а, возможно, и иллирийцы соприкасались с балтами<sup>54</sup>.

ции первых из вторых. Присутствие лужицких памятников в части ареала поморской культуры допускает лишь предположение о частичном участии лужицких компонентов в генезисе этой культуры.

<sup>48</sup> Kilian L. Baltische Ortsnamen westlich der Weichsel. — «Altpreußen», 1939, N 3; Krahe H. Baltische Ortsnamen westlich der Weichsel? — «Altpreußen», 1941, N 1; Schall H. Baltisches im Namengut Nordwestslawiens. — In: «Kurzfassungen der Mitteilungen Fierenz», Fierenze 1961, S. 150—159; *idem*. Die baltisch-slavische Sprachgemeinschaft zwischen Elbe und Weichsel (Nordwest — «slawisches» Namengut). — In: Atti e memorie del VII Congresso internazionale di scienze onomastiche, t. II. Firenze, 1963, S. 385—404; *idem*. Baltische Sprachreste zwischen Elbe und Weichsel. — In: Forschungen und Fortschritte, B-36. Berlin, 1962, S. 56—61.

<sup>49</sup> Sulimirski T. Zagadnienia starożytnych Wenedów — Wenedów na ziemiach słowiańskich. — In: Kongres w spółczesnej nauki i kultury Polskiej na obczyźnie, t. 1. London, 1970.

<sup>50</sup> Schwantes G. Der Urnenfriedhof bei Jastorf. Hannover, 1904; *idem*. Die Jastorf — Zivilisation. — In: Reinecke — Festschrift zum 75 Geburtstag. Mainz, 1950; Germanen — Slawen — Deutsche. Forschungen zu ihrer Ethnogenese. Berlin, 1969.

<sup>51</sup> Чемоданов Н. С. Германские, балтийские и итальянские языки. — «Вестник Московского Университета», серия VII, 1962, № 1, с. 33—39.

<sup>52</sup> Седов В. В. Балто-иранский контакт в Днепровском левобережье. — «Советская археология», 1965, № 4, с. 52—62.

<sup>53</sup> Wiesner J. Die Thraker. Stuttgart, 1963.

<sup>54</sup> Krahe H. Baltisch und Illyrisch. — In: Festschrift M. Vasmer. Wiesbaden, 1956; Duridanov J. Baltisch-Thrakische Parallelen. — In: Studia linguistica slavica baltica. Lund, 1966, S. 55—59; Sulimirski T. Ancient Southern Neighbors of the Baltic Tribes. — In: Acta Baltico — Slavica, V. Białystok, 1967, p. 1—17.

В Центральной Европе, в основном в междуречье верхней Эльбы и Вислы, к последним векам II и к первой половине I тысячелетия до н. э. относится лужицкая культура. Об ее этнической принадлежности в литературе высказано много мнений. Эту культуру приписывали германцам, кельтам, славянам, иллирийцам. Однако лужицкая культура не обнаруживает прямой генетической связи ни с одной из индоевропейских группировок. Поэтому нужно полагать, что носители этой культуры в языковом отношении занимали промежуточное место между древним индоевропейским и современными языковыми группами.

Лужицкие древности являются составной частью культур полей погребальных урн, характерных для средней Европы в конце бронзового и в самом начале железного века. На раннем этапе в ареале этих культур наблюдается еще довольно пестрая картина. Зато в начале I тысячелетия до н. э. ареальные различия нивелируются, и можно говорить о сложении и существовании в центре Европы единой культурной общности полей погребальных урн<sup>55</sup>.

Эта культурная общность лежит в основе культуры пракельтов (верхний Рейн), прайталиков (приальпийский регион), иллирийцев (на юго-востоке), прагерманцев (древнейшая германская культура — ясторфская сложилась на основе местных древностей эпохи бронзы при участии проникшей с юга культуры полей погребений), славян и, по-видимому, некоторых других европейских этносов. Это позволило В. Киммигу отождествить культуры полей погребальных урн с древнеевропейской общностью, описанной Г. Крае<sup>56</sup>.

Это был период, когда население средней Европы говорило на близких между собой индоевропейских диалектах, из которых позднее образовались такие языки, как итальянский, кельтский, иллирийский, германский и славянский. Выделяемый О. Н. Трубачевым центральноевропейский культурно-исторический ареал по времени и территориально соответствует культурной общности полей погребальных урн, а, может быть, и более ранним древностям — культурам курганных погребений и унетицкой (рис. 2).

Начиная с 550 г. до н. э. посетители поморской культуры расселяются в южном направлении по территории, занятой восточно-лузицкими племенами. На ранних этапах в Повисленье и смежных районах бассейна Одера поморское и лужицкое население сосуществовало раздельно. Но очень скоро пришельцы смешиваются с аборигенами. Число погребений в каменных ящиках или обставленных камнями, что характерно для поморской культуры,

<sup>55</sup> Gimbutas M. Bronze Age Cultures in Central and Eastern Europe. Paris-The Hague — London, 1965, p. 296—355.

<sup>56</sup> Kimmig W. Seevölkerbewegung und Urnenfelderkultur. Ein archäologisch-historischer Versuch.— In: Studien aus Alteuropa, I. Köln, 1964, S. 220—283.

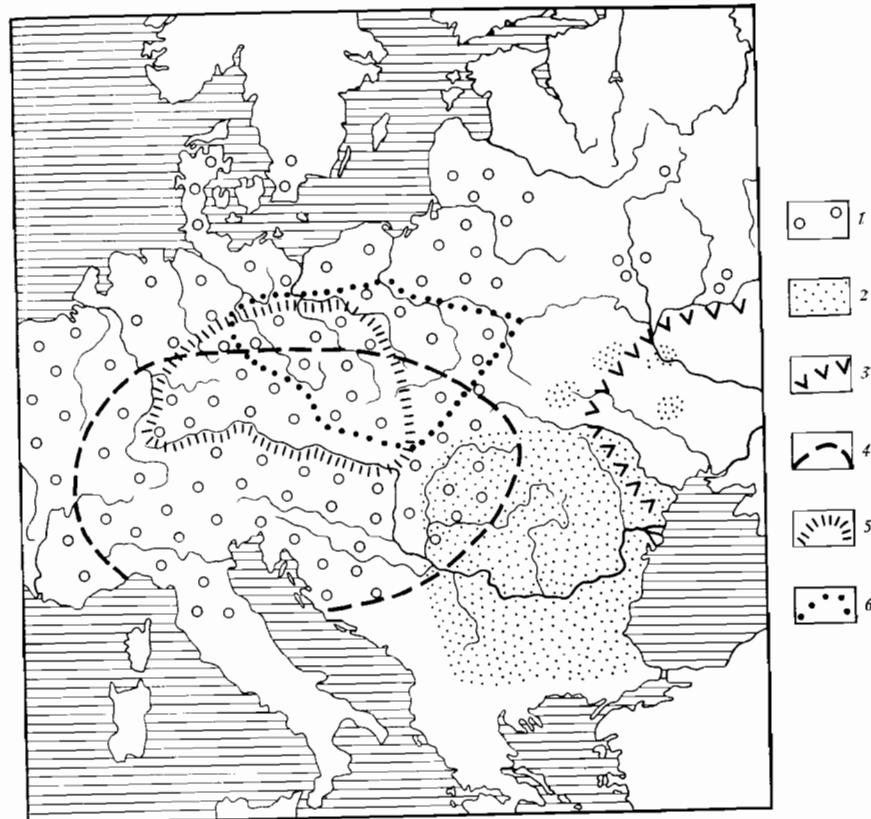


Рис. 2. Средняя Европа во II тысячелетии до н. э.

1 — ареал древнеевропейской гидронимики; 2 — ареал фракийской гидронимики; 3 — северо-западная граница иранской гидронимики; 4 — центральноевропейский культурный ареал (по О. Н. Трубачеву); 5 — пределы унетицкой культуры; 6 — пределы лужицкой культуры

здесь постепенно уменьшается. Зато увеличивается количество погребений в виде ямы со ссыпанными в нее остатками погребального костра — характерный позднелужицкий погребальный ритуал. Уменьшается число коллективных захоронений, уступив место обычным для лужицкой культуры одиночным погребениям. На верхней Висле и в междуречье средней Вислы и Одера распространяются подклешевые захоронения. Керамика и украшения подклешевых погребений частично поморская, частично лужицкая. Таким образом, в результате слияния двух культур к 400 г. до н. э. формируется новая археологическая культура — подклешевая (рис. 3). Ее сложение по времени примерно соответствует лингвистической дате начала формирования праславянского языка.

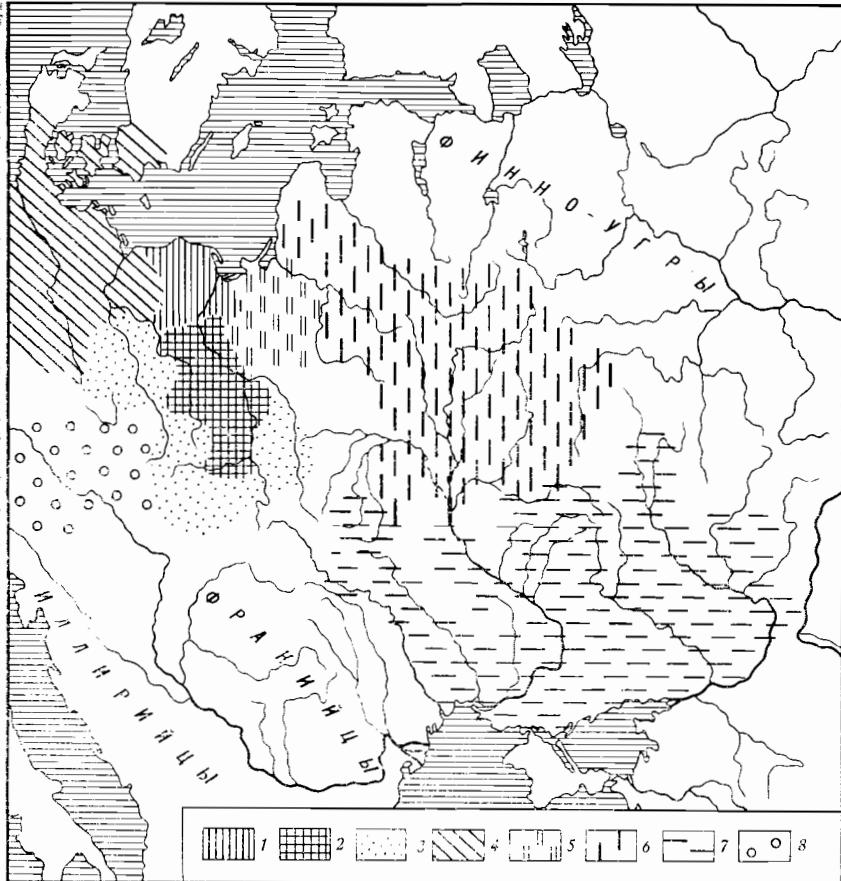


Рис. 3. Средняя Европа в середине I тысячелетия до н. э.

1 — поморская культура; 2 — культура подклешевых погребений (ранние славяне); 3 — остатки лужицкой культуры; 4 — ясторфская культура; 5 — культура восточно-пруссских курганов; 6 — восточнобалтийские культуры; 7 — скифские культуры; 8 — кельтская культура

Среди лингвистических и топонимических нет таких данных, которые противоречили бы предположению о славянстве носителей культуры подклешевых погребений. Ареал этой культуры в значительной степени налегает на область великопольских говоров, в которых наиболее последовательно наблюдаются праславянские фонетические особенности. На севере и северо-востоке носители культуры подклешевых погребений находились в непосредственном контакте с западными балтами, а на северо-западе — с германцами, что соответствует данным исторического языкоизнания. Сформировалась культура подклешевых захоронений в результате

взаимодействия племен восточной части лужицкой культуры (древнеевропейское население) с носителями поморской культуры (окраинный диалект балтов). Последние, нужно полагать, и внесли в славянский язык те элементы (или часть их), которые объединяют славянский с балтским и дали почву для предположения о существовании в древности балто-славянского языка. Наоборот, ремесленная, земледельческая лексика и иные языковые элементы, находящиеся параллели в германских и итальянских языках, являются наследием древнеевропейского диалекта (племена лужицкой культуры).

Мысль о формировании праславянского языка на основе одного из балтских диалектов не нова. Вероятнее всего, балто-славянского языка в древности не было. Существовала балтская языковая общность, которая на основной территории сохранилась, а на западной окраине подверглась изменениям, превратившись в славянскую.<sup>57</sup>

Излагаемая теория формирования славян близка к предложенной Т. Лер-Славинским четверть века назад<sup>58</sup>. В его этногенетические построения науки внесены существенные корректировки, но основа этих построений оказалась прочной.

Культура подклешевых погребений соответствует первому этапу развития праславянского языка<sup>59</sup>. Во II в. до н. э. на ее основе складывается пшеворская культура, просуществовавшая до конца IV в. н. э. (рис. 4). Как в деталях погребальной обрядности, так и в керамическом материале прослеживаются элементы преемственности пшеворской культуры с подклешевой. В раннее время глиняная посуда носителей пшеворской культуры мало отличалась от керамики из подклешевых погребений (яйцевидные горшки с двумя ушками наверху, миски с загнутым наружу краем, чаша с ушком и другие). В начале нашей эры пшеворская кера-

<sup>57</sup> Иванов В. В., Топоров В. Н. К постановке вопроса о древнейших отношениях балтийских и славянских языков. М., 1958. Топоров В. Н. К проблеме балто-славянских языковых отношений.— В кн.: Актуальные проблемы славяноведения. М., 1961, с. 211—218. Mažiulis V. Baltų ir kitų indo-europiečių kalbų santykiai. Vilnius, 1970.

<sup>58</sup> Lehr-Sławiński T. O pochodzeniu i praojczyźnie słowian.

<sup>59</sup> Такие ответвления поморской культуры, как древности типа Поянешты-Лукашевка или зарубинецкие, по-видимому, непосредственно не связаны со славянским этногенезом. Культура Поянешты-Лукашевка в основе геттская. Расселение носителей поморской культуры в гетской среде, видимо, не внесло коренных изменений в этническое лицо населения Поднестровья (Романовская М. А. Об этнической принадлежности населения, оставившего памятники типа Лукашевки.— В кн.: Древние фракийцы в Северном Причерноморье. М., 1969, с. 81—95). Зарубинецкая культура в значительной части сложилась в милоградском ареале, принадлежащем балтам. Позднейшее расселение зарубинецких племен на северо-восток привело к формированию на Оке средневекового племени голяди (Седов В. В. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвилья, с. 38—48). Южная часть зарубинецких племен вместе с расселившимися в междуречье Днестра и Днепра носителями пшеворской культуры составили ядро славянского населения в черняховском ареале.

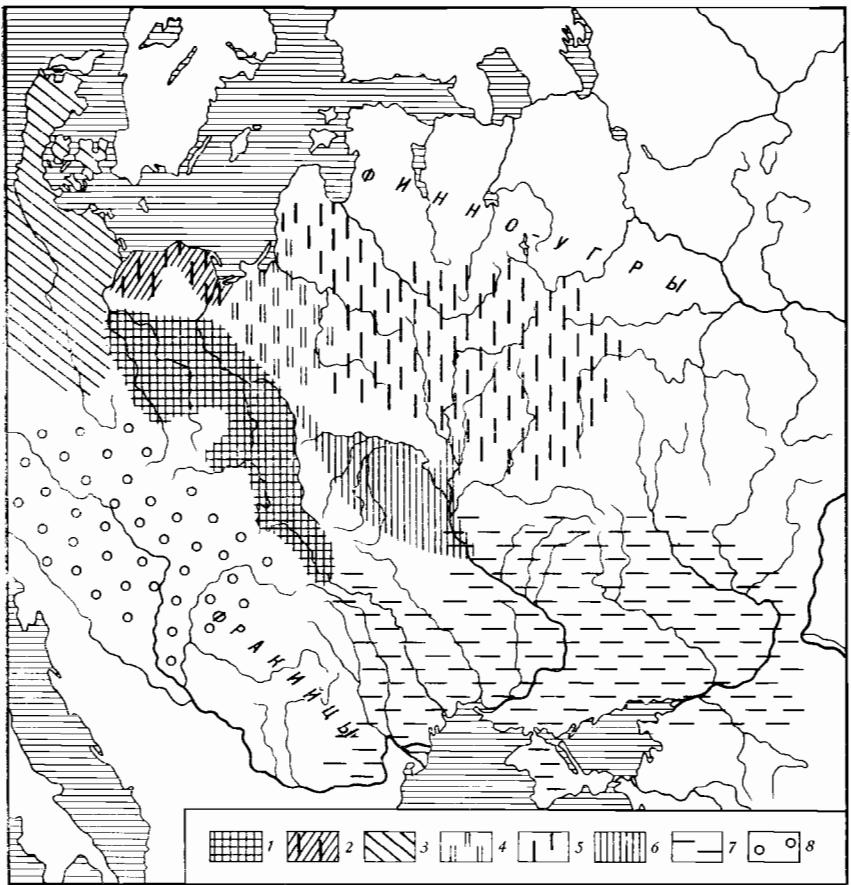


Рис. 4. Средняя Европа на рубеже нашей эры

1 — пшеворская культура; 2 — оксывская культура; 3 — листорфская культура; 4 — культура западных балтов; 5 — культуры восточных балтов; 6 — зарубинецкая культура; 7 — сарматская культура; 8 — кельтская культура

мика бурно эволюционирует — распространяются лепные черпощеные горшки и высокие вазообразные миски. В развитии пшеворской керамики безусловно сказывается кельтское (латенское) воздействие. Носители пшеворской культуры вплотную соприкасались с кельтами и, продвигаясь в Силезию и Малопольшу, возможно, частично ассимилировали кельтское население. С III в. н. э. в пшеворских памятниках появляется гончарная керамика, главным образом с серой заглаженной или шершавой поверхностью. Найдены монеты и бронзовых сосудов отражают римское влияние на пшеворскую культуру.

Вместе с тем, вполне очевидно, что пшеворская культура не является простым продолжением культуры подклешевых погребений. В пшеворских могильниках известен целый ряд существенных элементов, которые не имеют местных корней и могут быть объяснены только вторжением иноэтничного населения на территорию славян-носителей культуры подклешевых погребений. Уже в первой фазе пшеворской культуры в ее могильниках почти исчезает обычай накрывать остатки трупосожжений глиняными сосудами, одновременно появляются новые формы керамики и новые орнаментальные мотивы, распространяется обычай класть в могилы оружие и т. п. Немецкие исследователи 20—30-х годов, делая ударение на близость пшеворской керамики Силезии и области Вендисель на Ютландском полуострове и отмечая сходство погребальной обрядности этих областей, приписывали пшеворские памятники восточнонемецкому племени вандалов<sup>60</sup>. Ошибкой этих исследователей является недоучет местных элементов в пшеворской культуре, которые, как показывают новейшие изыскания, являются весьма существенными. Очевидно, нужно признать, что формирование пшеворской культуры является результатом смешения и эволюции местной культуры подклешевых погребений с пришлыми западными элементами.

О том, что пришлым этническим компонентом в Повисленье были германцы, говорят и сведения античных авторов и данные лингвистики. Самые ранние исторические сведения о славянах относятся к первым векам нашей эры. В источниках этого времени славяне зафиксированы под именем венедов. О том, что венеды древних авторов были славянами, прямо свидетельствует Иордан, писавший в VI в. н. э.<sup>61</sup> Германские и прибалтийскофинские народы до сих пор называют славян венедами.

Впервые этоним венеды встречается в «Естественной истории» Плиния Младшего<sup>62</sup>. Географические координаты венедов здесь не указаны. Сообщается только, что венеды наряду с другими этническими группами (сарматами, скирями и гиррами) были восточными соседями германцев, и их земли доходили до Вистулы (Вислы). Корнелий Тацит в сочинении о германцах (конец I в. н. э.) также говорит о венедах, живших к востоку от них<sup>63</sup>. Согласно Птолемею, венеды были одним из крупнейших племен Европейской Сарматии. Последняя на западе имела границами р. Вистулу (Вислу) и Сарматские горы (Малые Карпаты). У истоков Вислы начиналась уже территория германских племен. Южная граница

<sup>60</sup> Peschek Chr. Die fröhwaldische Kultur in Mittelslesien. Leipzig, 1939; Jahn M. Die Wandalen. — In: Vorgeschichte der deutschen Stämme, Bd. III. Berlin, 1940, S. 946—951.

<sup>61</sup> Иордан. О происхождении и деяниях гетов. Getica. М., 1960, с. 71, 72.

<sup>62</sup> Плиний Секунд Г. Естественная история. — В кн.: В. В. Латышев. Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе, т. II, вып. I. СПб., 1904 с. 176.

<sup>63</sup> Тацит Корнелий. Сочинения в двух томах, т. I. Л., 1969, с. 372, 373.

Сарматии проходила по Карпатам и северному берегу Понта (Черного моря), северная — по Венедскому заливу Сарматского океана (Балтийскому морю). Венеды, по Птолемею, жили по всему Венедскому заливу<sup>64</sup>.

Вместе с тем известно, что начиная со II в. до н. э. в течение короткого времени из южной Скандинавии и Ютландии по южному побережью Балтийского моря в устьях Одера и Вислы и вверх по этим рекам расселяются восточногерманские (по Плинию, вандальские) племена<sup>65</sup>. На основе данных различных авторов готы (гутоны) отчетливо локализуются в устье Вислы, ульмеруки (ругии Тация) — рядом с готами на Балтийском побережье, там же — гепиды. Бургунды, по данным Птолемея, по-видимому, жили в бассейне Варты (между Одером и Вислой) в ближайшем соседстве с западными (приэльбскими) германцами, а вандалы-силинги и вандалы-хаздинги, согласно Диону Кассию, занимали верхнюю часть бассейна Одера. «Готский диалект занимает, таким образом, — писал в этой связи Ф. Энгельс, — довольно компактную территорию между Вандальскими (Исполиновыми) горами, Одером и Балтийским морем до Вислы и за этой рекой»<sup>66</sup>.

Соседство и территориальное смешение славян с восточными германцами нашло отражение в языковых материалах. Установлено, что в праславянском языке имеется много восточногерманских лексических заимствований (в том числе къпѣзъ, кгъстъ, chlēbъ, kotъ, bl'udo, kupiti, chlēvъ, šelmъ, хълтъ, xъsa, dъlgъ, тесъ, osъль и многие другие)<sup>67</sup>. Как по фонетическим особенностям, так и по семантике все эти германизмы относятся уже не к ранней поре развития праславянского языка<sup>68</sup>.

Таким образом, нужно полагать, что пшеворская культура, в основе своей славянская, принадлежит к тому периоду этногенеза славян, когда на одной территории обитали славяне, восточногерманские племена и отчасти, может быть, кельты. Пшеворская культура по времени синхронна второму периоду развития праславянского языка. Понятно поэтому, почему этот период в отличие от первого характеризуется существенными фонетическими сдвигами. Причиной последних, видимо, было территориальное смешение славян с иноязычными племенами.

Дифференциация пшеворских древностей на славянские и восточногерманские пока не произведена. В условиях территориального смешения, взаимовлияния и неизбежной метисации славян

<sup>64</sup> Птолемей Клавдий. Географическое руководство.— В кн.: В. В. Латышев. Указ. соч., т. I, вып. I. СПб., 1890, с. 228—233.

<sup>65</sup> Древние германцы. Сборник документов. М., 1937.

<sup>66</sup> Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 19. М., 1961, с. 484.

<sup>67</sup> Kiparski V. Die gemeinslavischen Lehnwörter aus dem Germanischen. Helsinki, 1934. Имеются в праславянском и западногерманские лексические проникновения.

<sup>68</sup> Филин Ф. П. Образование языка восточных славян, с. 136—138; Shevelov G. A Prehistory of Slavic. N. Y., 1965, p. 617—619.

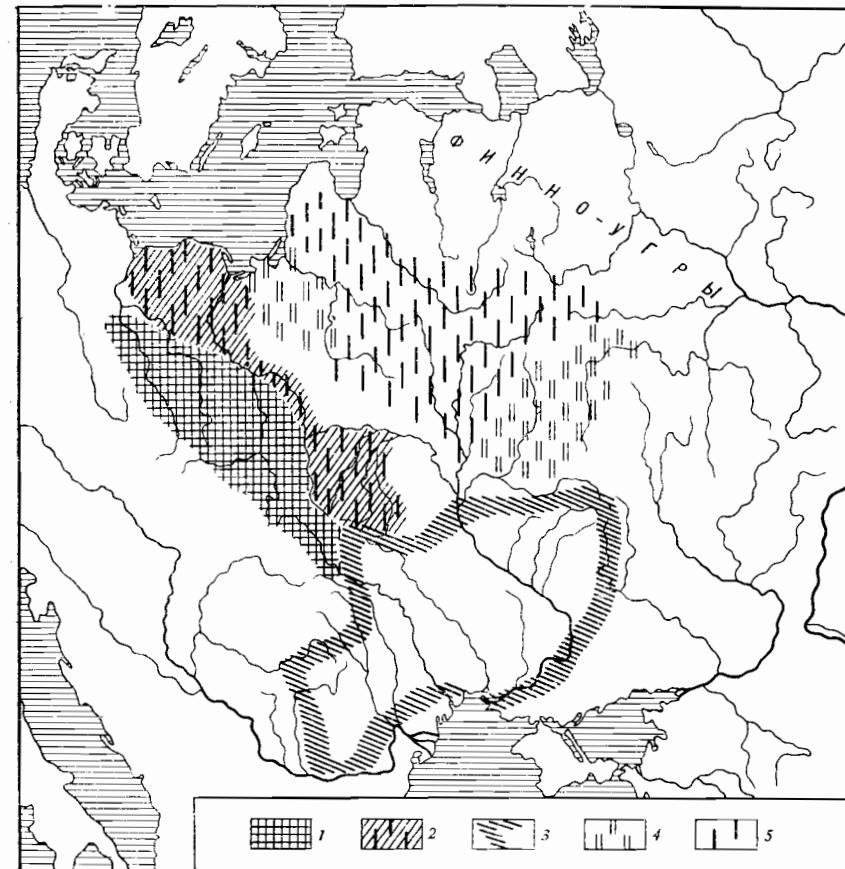


Рис. 5. Средняя Европа в III—IV вв. н. э.

1 — пшеворская культура; 2 — вельбарская культура и памятники типа Дытиничи; 3 — черняховская культура; 4 — культуры западных балтов; 5 — культуры восточных балтов

вяне могли воспринять у пришельцев чужеродную культуру и некоторые обычай и, наоборот, передать германцам элементы им не свойственные. Поэтому пока невозможно даже сказать, занимали ли славяне в это время весь ареал пшеворской культуры или им принадлежала, как полагают некоторые исследователи, лишь его восточная часть<sup>69</sup>.

В конце II или в самом начале III в. н. э. на обширном пространстве северопричерноморских областей от нижнего Дуная

<sup>69</sup> Jankuhn H. Germanen und Slawen.— In: Berichte über den II. Internationalen Kongreß für Slawische Archäologie. Berlin. 24—28. August 1970, Bd. 1. Berlin, 1970, S. 55—74.

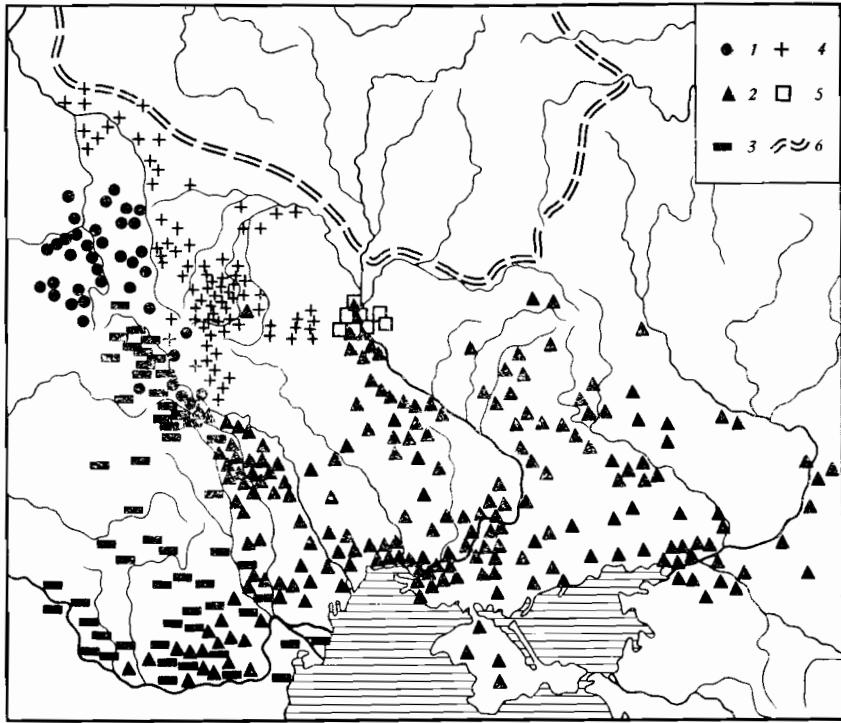


Рис. 6. Северное Причерноморье накануне сложения черняховской культуры

1 — пшеворские памятники; 2 — сарматские памятники; 3 — гето-дакийские памятники  
4 — памятники типа Дытиничи; 5 — позднезарубинецкие памятники в Среднем По-  
днепровье; 6 — южная граница балтского ареала

на западе до бассейна Дона на востоке складывается черняховская культура (рис. 5). Вопрос о ее происхождении и слагаемых компонентах является весьма сложным и окончательно еще не решен. Значительную часть ареала черняховской культуры до ее сложения занимали сарматы. Позднесарматские памятники известны на среднем и нижнем Днепре, в бассейне Южного Буга и в Днестро-Дунайском междуречье (рис. 6). Вполне очевидно, что черняховская культура не является генетическим продолжением культуры поздних сарматов. Вместе с тем в черняховских памятниках выявляются бесспорные элементы, унаследованные от сарматской культуры<sup>70</sup>. Таковыми являются (рис. 7):

<sup>70</sup> Сарматские элементы в черняховских древностях Поднепровья впервые подмечены в статье Ю. В. Кухаренко «К вопросу о славяно-скифских и славяно-сарматских отношениях» («Советская археология» (далее — СА), 1954, XIX, с. 114—120).

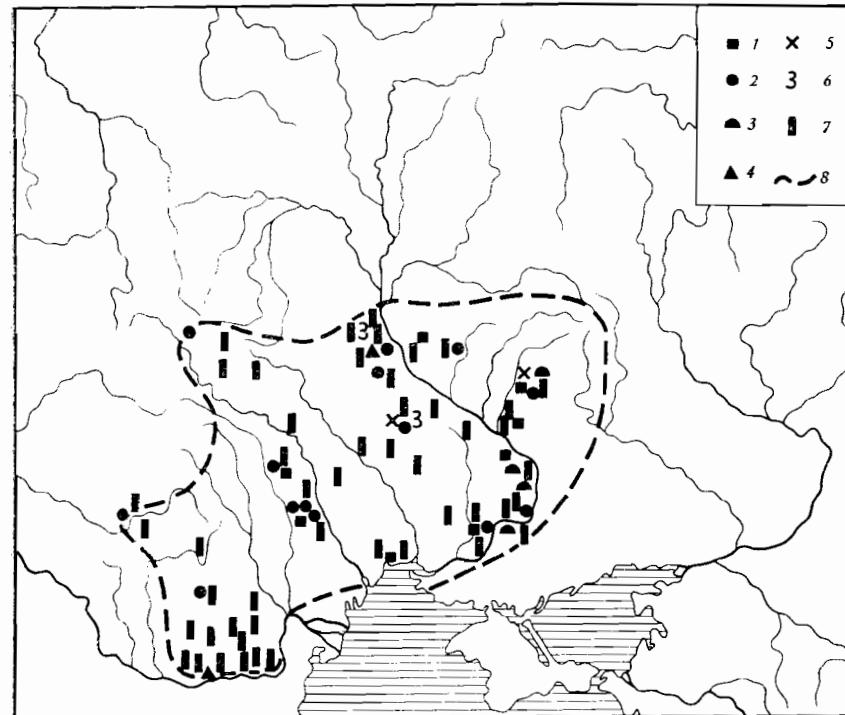


Рис. 7. Сарматские элементы в черняховской культуре

1 — могильники с захоронениями в подбоях; 2 — могильники, содержащие трупоположения с согнутыми или скрещенными ногами; 3 — курганные захоронения; 4 — могильники с погребенными, у которых наблюдалась искусственная деформация черепов; 5 — могильники с захоронениями, посыпанными кусочками краски или мела; 6 — могильники с находками сарматских зеркал; 7 — могильники с меридиональными трупоположениями; 8 — граница черняховской культуры

1. Положение умерших в могилах со скрещенными или согнутыми в коленях ногами. Такой обряд зафиксирован во многих могильниках.

2. Устройство подбойных могил для трупоположений.

3. Спорадическое сооружение курганов над погребениями.

4. Присутствие в могилах около остатков захоронений костей барабана, кусочков краски, мела и древесных угольков.

5. Находки в могилах бронзовых зеркал.

6. Искусственная деформация черепов.

Румынские археологи считают, что сарматским наследием в черняховской культуре являются также некоторые типы украшений (бусы, пирамidalные подвески из костей и зубов животных

или раковин, серьги) и преднамеренная деформация черепов <sup>71</sup>. Эти сарматские особенности довольно широко распространены в черняховских памятниках, свидетельствуя о бесспорном участии местного сарматского населения в генезисе описываемой культуры. В этой связи можно полагать, что сарматским по происхождению является в черняховских могильниках и ритуал трупоположения с северной ориентировкой. На молдавских материалах это обосновывалось Г. Б. Федоровым <sup>72</sup> и, очевидно, по некоторым румынским памятникам <sup>73</sup>. Действительно, из всех этнических компонентов, которые присутствовали в то время в Юго-Восточной Европе и которые могли принять участие в формировании черняховской культуры, подобный погребальный обряд был присущ только причерноморским сарматам.

Об участии местного ираноязычного населения в формировании черняховских племен определенно свидетельствуют материалы палеоантропологии. Черепа из черняховских могильников Поднепровья (Черняхов, Маслово, Дедовщина, Гавриловка) характеризуются долихокранностью, узкоЛицостью, средними размерами мозговой коробки, сильно выступающими носом и низкими орбитами <sup>74</sup>. По ряду признаков они заметно отличаются и от североевропейских (германских) краинологических материалов, и от мезокранных относительно широколицых черепов раннесредневековых славян юга Восточной Европы. По основным признакам черепа из черняховских могильников Поднепровья близки к скифским черепам той же территории. Отсюда можно полагать, что основную часть черняховских трупоположений Поднепровья составляют потомки местного скифского населения. По-видимому, в период экспансии сармат значительная часть скифского населения не покинула мест обитания и подверглась сарматизации.

Черепа из черняховских могильников Поднестровья принадлежат к тому же антропологическому типу, но отличаются от днепровских грацильностью, повышенным черепным указателем, меньшим выступанием носа <sup>75</sup>. Как раз эти признаки отличают сарматские серии черепов с территории Украины от скифских <sup>76</sup>.

<sup>71</sup> Аурелиан П. Следы культуры Черняхов-Сынтана де Муреш в Малой Скифии.—«Dacia», 1962, VI, с. 235—256.

<sup>72</sup> Федоров Г. Б. О двух обрядах погребения в черняховской культуре (по памятникам Молдавии).—СА, 1958, № 3, с. 234—243.

<sup>73</sup> Диакону Г. К вопросу о культуре Сынтана-Черняхов на территории РНР в свете исследования могильника в Тыргипоре.—«Dacia», 1961, V, с. 415—428.

<sup>74</sup> Дебец Г. Ф. Палеоантропология СССР. М.—Л., 1948, с. 164—167; Кондукторова Т. С. Палеоантропологический материал из могильника полей погребений Херсонской области.—«Советская антропология», 1958, № 2, с. 69—79.

<sup>75</sup> Великанова М. С. Палеоантропологический материал из могильников черняховской культуры Молдавии.—В кн.: Антропологический сборник, т. III. М., 1961, с. 26—52.

<sup>76</sup> Кондукторова Т. С. Материалы по палеоантропологии Украины.—В кн.: Антропологический сборник, т. I. М., 1956, с. 172, 173.

Поэтому нужно полагать, что специфичность черепов из черняховских могильников Поднестровья частично обусловлена повышенной ролью здесь сарматского этнического элемента. Кроме того, некоторая грацильность поднестровских краинологических материалов, видимо, объясняется фракийским субстратом <sup>77</sup>.

С самого начала функционирования черняховской культуры, наряду с трупоположениями, широко применялась кремация умерших. Обряд трупосожжения в первой половине I тысячелетия н. э. был широко распространен, и поэтому выяснить его происхождение у носителей черняховской культуры очень трудно. Работа в этом направлении только начата. Н. М. Кравченко выделяет 28 типов черняховских захоронений по обряду трупосожжения, которые удается сопоставить с погребальными типами других археологических культур <sup>78</sup>. В северных районах черняховского ареала, там, где черняховская культура территориально наслаждается на зарубинецкую (рис. 8), встречаются сожжения с зарубинецкими признаками (для них характерно наличие сосудов-приношений). Захоронения, имеющие аналогии в гето-дакийских древностях (отсутствие обрядового инвентаря), отмечаются, прежде всего, в западных районах черняховской территории, хотя изредка встречаются и в Поднепровье. Самую распространенную группу черняховских трупосожжений составляют сходные по обряду с пшеворскими. При этом относятся они как к самому раннему, так и к позднему этапу развития черняховской культуры.

Поскольку многие предметы материальной культуры черняховцев являются продуктами ремесленного производства и развивались при активном воздействии античных ремесел и культуры, то для выявления этнических компонентов существенным является лепная керамика.

Предлагаемая картограмма лепной керамики (рис. 8) показывает, что по всему черняховскому ареалу преобладающими являются формы, идентичные пшеворским. В результате Г. Ф. Никитина, посвятившая специальное исследование лепной керамике черняховской культуры, пришла к заключению, что формирование этой культуры произошло в результате переселения в Северное Причерноморье значительных масс носителей пшеворской культуры из бассейна Вислы <sup>79</sup>. Некоторые гончарные сосуды

<sup>77</sup> Выделяются черепа из Косаповского могильника на Южном Буге, заметно отличающиеся от скифо-сарматских (Зиневич Г. П. Очерки палеоантропологии Украины. Киев, 1967, с. 133—138). Из-за малочисленности этой краинологической серии какие-либо выводы представляются преждевременными.

<sup>78</sup> Кравченко Н. М. К вопросу о происхождении некоторых типов обряда трупосожжения на черняховских могильниках.—КСИА, 1970, вып. 121, с. 44—51.

<sup>79</sup> Никитина Г. Ф. Население лесостепной полосы Восточной Европы в первой половине I тысячелетия н. э. М., 1965; Автореф. канд. дис.; она же.

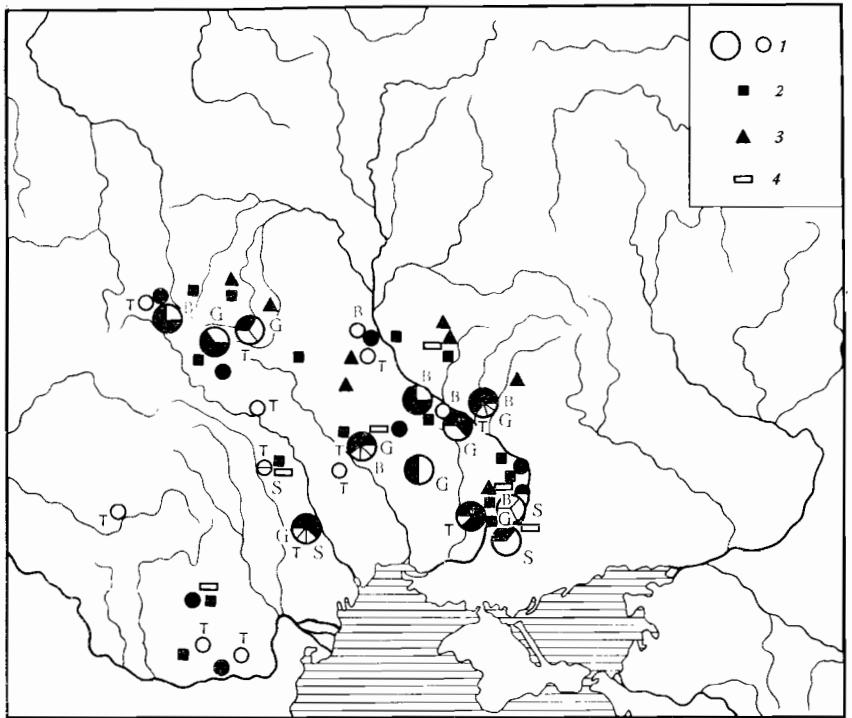


Рис. 8. Различные типы трупосожжений и лепной керамики в памятниках черняховской культуры

1 — памятники с находками лепных сосудов. Малыми кружками обозначены памятники с единичными находками, большими — памятники со значительными находками. Чёрным цветом внутри кружков обозначена доли, которую составляют сосуды пшеворских типов. Буквами В — доля сосудов зарубинецких типов, Т — доля сосудов гето-дакийских типов, С — доля сосудов сарматских типов; Г — доля сосудов типа Дытинич; 2 — могильники с трупосожжениями пшеворских типов; 3 — могильники с трупосожжениями зарубинецких типов; 4 — могильники с трупосожжениями гето-дакийских типов.

Черняховских памятников также имеют параллели в пшеворских материалах, в Черняховских могильниках Пруто-Днестровского междуречья найдены предметы вооружения пшеворских типов, на ряде сосудов из Черняховских памятников отмечена пшеворская орнаментация. Все это заставляет признать участие переселенцев из пшеворского ареала в генезисе Черняховской культуры. А если это так, то этническим компонентом этой культуры после сарматов<sup>80</sup> должны быть признаны славяне и германцы.

Классификация лепной керамики Черняховской культуры. — СА, 1966, № 4, с. 70—85.

<sup>80</sup> В лепной керамике Черняховской культуры сарматских типов немного. Однако очень вероятно, что многие кувшины, обнаруженные на Черняховских памятниках, сарматского происхождения.

Кроме того, в сложении Черняховской культуры, судя по лепной керамике, приняли участие носители зарубинецкой культуры (в северной части Черняховского ареала) и гето-фракийское население (в западной части)<sup>81</sup>. На ряде Черняховских памятников обнаружена также лепная керамика, генетически связанная с так называемой гето-гепидской (типа Брест — Тришин — Дытинич). В Черняховской культуре выявляются также иные элементы германского происхождения (большие наземные дома, часто совмещавшие под одной крышей жилье и помещение для скота или производственных целей, некоторые типы фибул и др.)<sup>82</sup>. Однако в целом во всем Черняховском ареале ни германский, ни гето-фракийский этнические элементы немногочисленны. В гидронимии Северного Причерноморья германцы и фракийцы оставили весьма слабые следы. Среди нескольких сотен водных названий О. Н. Трубачев выявил здесь всего семь изолированных гидронимов германского происхождения<sup>83</sup>.

Итак, основным населением в ареале Черняховской культуры были потомки сарматов, славяне и германцы. Этот вывод как будто подтверждается данными письменных источников. Римский историк IV в. Аммиан Марцеллин отмечал, что земли сарматов простирались от Дуная до Танаиса<sup>84</sup>. С другой стороны, документ III—IV вв. н. э. — Певтингеровы таблицы, по-видимому, отражает славянскую миграцию из области пшеворской культуры на юго-восток. Кроме Повисленья, венеды, по данным этого источника, населяли область нижнего Дуная<sup>85</sup>, т. е. западную часть Черняховского ареала. В первой половине VI в. одна из групп славян — анты — занимала регион Причерноморья от Днестра до нижнего Днепра<sup>86</sup>. Одновременно Иордан сообщает, что готский король Винитарий (погиб в 376 г.), правивший, по-видимому, теми остроготами, которые остались на нижнем Днепре после нашествия гуннов, вел борьбу с большим объединением антов<sup>87</sup>. Следовательно, уже в IV в., т. е. как раз в Черняховское время, славяне-анты заселяли Северное Причерноморье.

<sup>81</sup> Об участии фракийцев в этногенезе Черняховского населения писали многие исследователи (Федоров Г. Б. Население Прутско-Днестровского междуречья в I тысячелетии н. э. — «Материалы и исследования по археологии СССР (далее — МИА), 1960, № 89, с. 159—172; Артамонов М. И. История хазар. Л., 1962, с. 47; Рикман Э. А. О фракийских элементах в Черняховской культуре Днестровско-Дуайского междуречья. — В кн.: Древние фракийцы в Северном Причерноморье. М., 1969, с. 178—188.

<sup>82</sup> Рикман Э. А. К вопросу о «больших домах» на селищах Черняховского типа. — «Советская этнография», 1962, № 3, с. 121—138; Тиханова М. А. Еще раз к вопросу о происхождении Черняховской культуры. — КСИА, 1970, вып. 121, с. 89—94.

<sup>83</sup> Трубачев О. П. Названия рек Правобережной Украины. М., 1968, карта 17.

<sup>84</sup> Марцеллин Аммиан. История. Киев, 1906—1908.

<sup>85</sup> Miller K. Welkarte des Castorius genant die Peutingerische Tafel. Ravensburg, 1888.

<sup>86</sup> Иордан. О происхождении и действиях гетов, с. 72.

<sup>87</sup> Там же, с. 115.

Черняховские памятники, как поселения, так и могильники, по всему ареалу относительно однообразны. Дифференцировать их на славянские, сарматские, германские, гето-фракийские не удается. По-видимому, потомки разноэтничного населения жили в черняховском ареале на одних и тех же поселениях и хоронили умерших в общих могильниках. Они вступали между собой в брачные отношения, следствием чего были антропологическая метисация и культурная интеграция. В этих условиях уже нельзя говорить, что трупоположения в черняховских могильниках оставлены исключительно иранским населением, а трупосожжения иноэтничны.

Видимо, при совместном проживании разноплеменного населения во многих районах черняховского ареала существовало многоязычие и протекали ассимиляционные процессы. Материалы археологии не дают прямого ответа на вопрос — какой язык при этом оказывался ведущим. Скорее всего, в короткий период функционирования черняховской культуры процессы ассимиляции не были завершены и оказались нарушенными в конце IV в. гуннским нашествием.

О том, в каких направлениях шли ассимиляционные процессы в черняховском ареале, лучше всего судить по древностям послечерняховского времени. На восточной окраине черняховской культуры к третьей четверти I тысячелетия н. э. относятся памятники пастырского типа и клады, зарытые в начале VIII в. По-видимому, здесь возобладал иранский этнический элемент. К VIII—X вв. в Днепровском лесостепном левобережье относятся волынцевские памятники, являющиеся древностями алано-сарматского населения, уже в значительной степени славянанизированного<sup>88</sup>.

В основной же части черняховского ареала, наоборот, сарматское население было славянанизировано. Между речью Днестра и Днепра Иордан отводит антам. И как раз на этой территории к V—VII вв. относятся славянские поселения и могильники с керамикой пеньковского типа (рис. 9)<sup>89</sup>. Можно с определенностью утверждать, что культура типа Пеньковки имеет местное происхождение. Сопоставление пеньковских глиняных горшков с керамическим комплексом черняховской культуры показывает, что исходные формы первых могут быть найдены среди черняховской керамики. На черняховских и пеньковских памятниках Молдавии встречаются также одинаковые по форме миски. Лепную керамику черняховской и пеньковской культур связывают также отсутствие орнаментации и наличие рельефных поясов под венчиками отдельных сосудов<sup>90</sup>. Жилища пеньковских поселений также могут быть

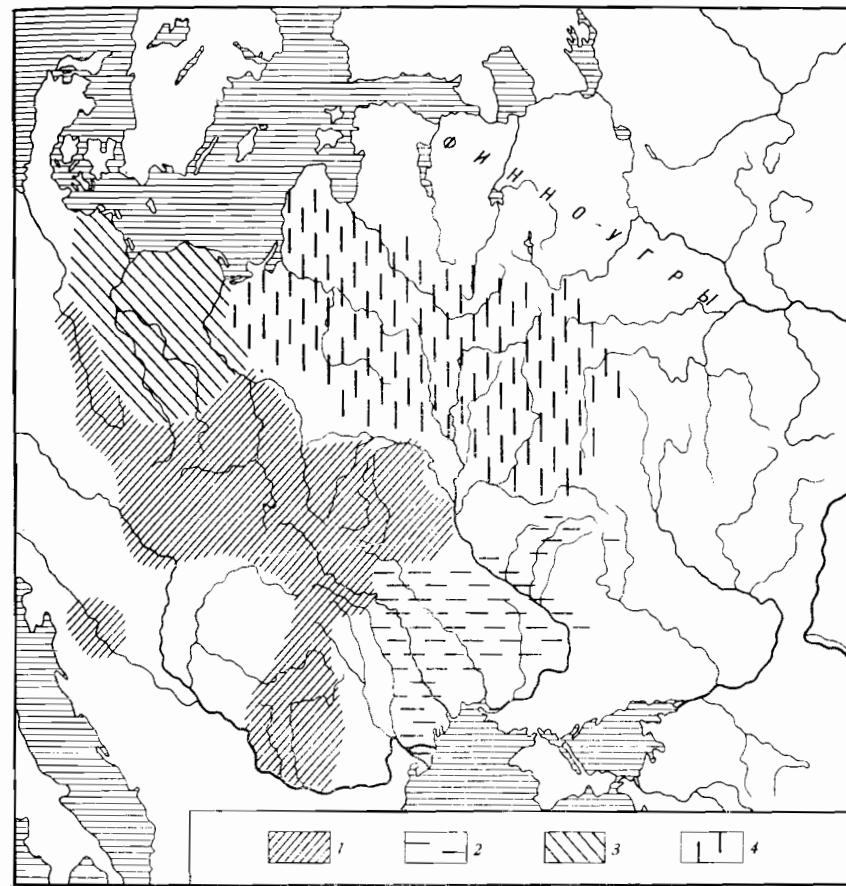


Рис. 9. Славяне в третьей четверти I тысячелетия н. э.

1 — ареал памятников с керамикой пражского типа; 2 — ареал памятников пеньковского типа; 3 — ареал памятников северо-западной части славянства; 4 — область расселения балтских племен

эволюцией полуземлянок черняховской культуры. Подобно пеньковским, некоторые черняховские полуземлянки имели прямоугольные или подпрямоугольные очертания, углублены в грунт на 0,15—0,5 м, стены их имели столбовой деревянный каркас и обмазывались глиной<sup>91</sup>.

Иными словами, культура антов типа Пеньковки может рассматриваться как эволюция части черняховской культуры, уце-

<sup>88</sup> Седов В. В. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвилья, с. 128—131.  
<sup>89</sup> Там же, с. 65—73.  
<sup>90</sup> Рикман Э. А., Рафалович И. А. К вопросу о соотношении черняховской и раннеславянской культур в Днестровско-Дунайском междуречье. — КСИА, 1965, вып. 105, с. 53—55.

левшей после гуннского нашествия<sup>92</sup>. В отличие от черняховских древности типа Пеньковки характеризуются однообразными жилищами и относительно едиными керамическими формами, что можно объяснить сменой полиэтничного населения однородной этнической группой антов.

Как будто в пользу славянизации сарматского населения в пределах черняховской культуры говорят и материалы последней. Хотя вопрос о внутреннем хронологическом членении памятников черняховской культуры еще не разработан, замечено, что на ранних этапах развития этой культуры отчетливо выражены сарматские черты. Среди трупоположений в первое время господствуют меридиональные захоронения, при этом процент ингумации выше процента трупосожжений. На позднем этапе развития черняховской культуры сарматские элементы уже не прослеживаются. В могильниках появляются скелетные захоронения, обращенные головой к западу, число которых со временем возрастает. Одновременно заметно повышается процент трупосожжений. Все эти наблюдения могут быть объяснены, если допустить победу тех этнических элементов, которым был присущ ритуал кремации умерших. А среди них первенствующая роль, нужно думать, принадлежала славянам.

Судя по раннесреднеднестровским материалам, у славянского населения вплоть до последних веков I тысячелетия н. э. безраздельно господствовал обряд трупосожжения. При этом было характерно положение умершего на погребальный костер головой на запад<sup>93</sup>. Этот ритуал, видимо, имел глубокие корни в славянском языческом мировоззрении. Увеличение роли трупосожжений в черняховских могильниках и отражает процесс ассимиляции сарматов. Более того, изменение направления трупоположений с меридиональных на западные является результатом того же процесса. Потомки сарматского населения в процессе ассимиляции сначала изменили направление трупоположений в соответствии со славянским ритуалом, а потом и переняли обычай кремации умерших.

Ряд косвенных наблюдений подтверждает сказанное. Во-первых, западные трупоположения сосредоточены преимущественно в той части черняховского ареала, где велика роль трупосожжений. Наоборот, там, где трупосожжения в черняховских могильниках составляют незначительный процент, трупоположения головой на запад немногочисленны (рис. 10). Во-вторых, трупоположения с западной ориентировкой концентрируются там, где на черняховских поселениях открыты полуземляночные жилища. Последние не характерны ни для сарматского, ни для восточногерманского, ни для гето-фракийского населения. Поэтому их славянская атрибуция очень вероятна. В-третьих, в той части

<sup>92</sup> При раскопках в Делакэу и Собарь установлено, что носители черняховской культуры после разгрома поселений вернулись и основали здесь новые селища.

<sup>93</sup> Седов В. В. Славяне Верхнего Поднепровья, с. 163.

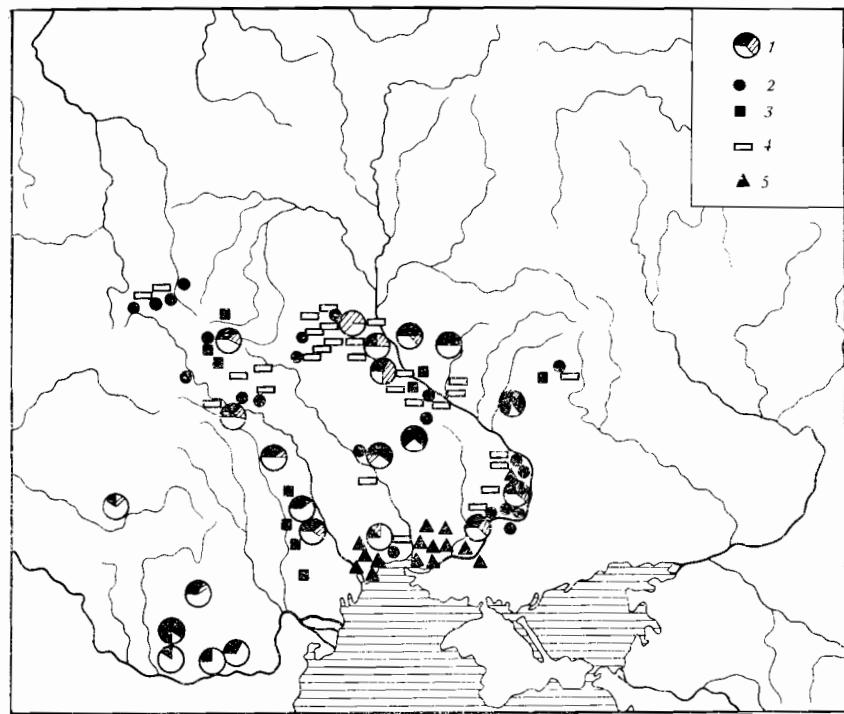


Рис. 10. Типы погребений и жилищ в памятниках черняховской культуры

1 — могильники (картированы только те, в которых исследовано не менее 10 захоронений). Внутри кружков черным обозначена доля трупосожжений, белым — доля меридиональных трупоположений, заштриховано — доля трупоположений с западной ориентировкой; 2 — поселения с наземными жилищами простой конструкции; 3 — поселения с большими многокамерными постройками; 4 — поселения с полуземляночными жилищами; 5 — поселения с жилищами, имеющими каменные стены

черняховского ареала, где много захоронений с западной ориентировкой, топонимика выявляет следы внутрирегионального славяно-иранского взаимодействия<sup>94</sup>.

Особенно отчетливо взаимодействие славян с иранцами отразились в материалах славянского языка. Известно, что иранское лексическое проникновение в восточнославянский, точнее, в его

<sup>94</sup> В литературе высказана догадка, что трупоположения, ориентированные к западу, появились в черняховских могильниках под воздействием христианизации населения (Сымонович Э. А., Магия и обряд погребения в черняховскую эпоху. — СА, 1963, № 1, с. 59, 60). Однако в таком случае наиболее христианизированными должны быть области, близлежащие к Дунаю, где жили племена, христианизация которых отмечена древними авторами, и районы, прилегающие к Черному морю. В действительности наблюдается обратная картина — западных трупоположений в этих районах почти нет, а их концептуализация обнаруживается вдали от Поднепровья и побережья Черного моря.

южную ветвь, весьма значительно<sup>95</sup>. Следы иранского воздействия ощущимы также в славянской фонетике и грамматике. Православянский язык знал только взрывной *g*, который в настоящее время характерен для многих славянских языков. В части славянских говоров (ныне это — южнорусские говоры, украинский, белорусский, чешский и словацкий языки) *g* изменился в задненебной фрикативный *γ* (*h*). Причин фонологического характера для этого нет<sup>96</sup>. В. И. Абаев обратил внимание на аналогичную фонему в восточной ветви древнеиранских языков и признал, что переход *g* в *h* в части славянских диалектов обусловлен скифо-сарматским субстратным воздействием<sup>97</sup>. Тот же исследователь полагает, что результатом скифо-сарматского воздействия является также распространение в восточнославянском языке генетива-аккузатива и близость в перфектирующей функции превербов<sup>98</sup>.

В числе языческих богов, которым поклонялись восточные славяне, летописи называют Хорса и Симаргла. Исследователи давно обратили внимание на их иранское происхождение, но привлекали персидские параллели. В. И. Абаев и А. Калмыков показали, что Хорс и Симаргл имеют скифо-сарматское начало и должны рассматриваться как заимствования от иранцев Северного Причерноморья<sup>99</sup>. В. И. Абаев считает, что украинский *Вий* этимологически и семантически связан с иранским *Vāyu* — богом ветра, войны, мести и смерти<sup>100</sup>, и обнаруживает параллель между восточнославянским божеством Родом и осетинским *Naf* (*Род*)<sup>101</sup>. Скифо-сарматское воздействие прослеживается также в древнерусском искусстве, фольклоре и ремесле<sup>102</sup>.

Все эти иранизмы являются не общеславянскими, а охватывают исключительно юго-восточную часть славянского мира. Среди них имеются такие (например, фонетические и религиозные), которые невозможно объяснить маргинальным контактом славян с иранцами. Очевидно, нужно допустить, что на юго-востоке имело место территориальное смешение части славян со

<sup>95</sup> Трубачев О. Н. Из истории славяно-иранских лексических отношений, с. 37—44; Абаев В. И. Этимологические заметки.— In: *Studia linguistica slavica baltica*. Lund, 1966, с. 1—20.

<sup>96</sup> Бернштейн С. Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков, с. 292—294.

<sup>97</sup> Абаев В. И. О происхождении фонемы *γ* (*h*) в славянском.— В кн.: Проблемы индоевропейского языкознания. М., 1964, с. 115—124.

<sup>98</sup> Абаев В. И. Превербы и перфективность. Об одной скифо-славянской изоглоссе.— В кн.: Проблемы индоевропейского языкознания. М., 1964, с. 90—99.

<sup>99</sup> Kalmykov A. Iranians and Slavs in South Russia.— *Journal of the American oriental society*, 1925, N 45, p. 68—71; Абаев В. И. Скифо-европейские изоглоссы, с. 115—117.

<sup>100</sup> Абаев В. И. Дохристианская религия алан.— В кн.: XXV Международный конгресс востоковедов. Доклады делегации СССР. М., 1960, с. 5—7.

<sup>101</sup> Абаев В. И. Скифо-европейские изоглоссы, с. 110, 111.

<sup>102</sup> Kalmykov A. Iranians and Slavs in South Russia, p. 68—71; Рыбаков Б. А. Ремесло Древней Руси. М., 1948, с. 99—117.

скифо-сарматским населением. Последнее было ассимилировано и, таким образом, приняло участие в славянском этногенезе. Это могло произойти только в черняховскую эпоху. Позднее славяне уже занимали обширные области и их контакт с остатками сармато-алан был узколокальным. В более же раннее время славяне находились в стороне от иранского мира.

К этому следует добавить, что этоним той ветви славянства, которая расселилась на сарматской территории и ассимилировала сарматов, является иранизмом. Предположение об иранском происхождении этонима *анты* впервые было высказано еще в конце прошлого столетия<sup>103</sup>. Эту точку зрения поддержали М. Фасмер и многие другие исследователи. Действительно, иранское объяснение термина *анты* (др. инд. *ántas* ‘конец’, ‘край’; *antyas* ‘находящийся на краю’, осет. *ätt’juä* ‘задний’, ‘позади’) представляется единственно вероятным и по лингвистическим, и по историческим соображениям. Так могли называть иранцы-сарматы группу славян, расселившуюся на окраине иранского мира (*анты* — ‘живущие на окраине’ или ‘пограничные жители’).

Правда, Ф. П. Филин, отмечая, что иранское происхождение имени *антов* не объясняет его внезапного и бесследного исчезновения, высказывает гипотезу об аварском происхождении этого этонима. Исследователь полагает, что *антами* в VI в. называлась часть славян, покоренная аварами и находившаяся с последними в отношениях побратимства (от тюрк. *ant*. ‘клятва’; монг. *anda* ‘побратим’). Когда *анты*-славяне восстали против авар, они и перестали называться *антами*-побратимами<sup>104</sup>. Это предположение представляется нереальным, хотя бы по хронологическим соображениям. Этоним *анты* известен, по крайней мере, уже в IV в., а авары появились в Северном Причерноморье только в VI столетии. Исчезновение *антов* вполне объяснимо. В самом начале VII в. они были разгромлены аварами. После этого остатки *антского* населения слились с другой диалектно-племенной группировкой славян<sup>105</sup> и вместе приняли участие в освоении новых земель. И всюду в тех местностях, которые были освоены *антами*-славянами, прослеживаются следы культурно-языкового иранского воздействия.

В V—VII вв. славяне уже занимали обширные области Средней и Восточной Европы от Эльбы на западе до Среднего Днепра на востоке и от низовьев Вислы и Одера на севере до Балканского полуострова на юге. Это был последний период развития праславянского языка, когда в результате широкого расселения славян были подготовлены условия для распада единого языка и образования отдельных славянских языков.

<sup>103</sup> Hübschmann H. Etymologie und Lautlehre der ossetischen Sprache. Straßburg, 1887, S. 21; Uhlenbeck C. C. Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch der altindischen Sprache. Amsterdam, 1898—1899, S. 8.

<sup>104</sup> Филин Ф. П. Образование языка восточных славян, с. 61.

<sup>105</sup> Седов В. В. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвилья, с. 72, 73.

Славянские древности этого периода на основе двух важнейших признаков — керамического материала и домостроительства дифференцируются на три локальные группы. Самая крупная этнографическая группа славянства занимала целиком ареал пшеворской культуры, а также смежные с ним области — на западе до верхней Эльбы, на востоке до среднего Днепра, на юге включала бассейн среднего и нижнего Дуная (см. рис. 9). Памятниками этой группы являются селища с полуземляночными жилищами и могильники с остатками трупосожжений. Для них характерна керамика, получившая название пражской<sup>106</sup>.

Истоки керамики пражского облика находятся среди глиняной посуды пшеворской культуры. В памятниках последней встречаются и горшки, которые могут рассматриваться в качестве прототипов пражской керамики, и собственно пражские сосуды<sup>107</sup>. Обряд погребения славянских могильников V—VII вв. также обнаруживает некоторую преемственность с ритуалом, известным по пшеворским могильникам. Косвенно об этой преемственности говорит и территориальное распространение тех и других древностей — древности с керамикой пражского типа впе ареала пшеворской культуры не обнаруживают генетических связей с предшествующими им культурами и появляются здесь, кажется, несколько позднее, чем в пшеворском ареале. Все это позволяет предполагать, что славяне, известные по памятникам с керамикой пражского облика, являются потомками поселителей пшеворской культуры<sup>108</sup>.

Отсутствие же полной генетической преемственности между пшеворской культурой и рассматриваемыми славянскими древностями V—VII вв. вполне объяснимо. Пшеворская культура, как отмечалось выше, полиглочна (славяне и германцы) и обнаруживает сильное воздействие со стороны Римской империи. Крушение последней и уход из Повисленья на запад германцев соответствуют концу пшеворской культуры. После этого в V—VII вв. коренное население Повисленья — славяне создали свою самобытную культуру, продолжающую лишь некоторые традиции предшествующей.

Ареал культуры пражской керамики в общих чертах соответ-

<sup>106</sup> В настоящее время известно несколько сотен памятников с керамикой пражского типа. Им посвящено огромное число статей в самых различных изданиях. Некоторые итоги исследования этих древностей подведены в докладах на международной конференции по теме «Славянская культура V—VII вв.» в 1967 г. в Либлице (Чехословакия). Материалы конференции опубликованы («Archeologické rozhledy», 1968, N 5). Важнейшие работы последних лет: Pleinerová I., Zeman J. Návrh klasifikace časné slovanské keramiky v Čechách.—«Archeologické rozhledy», 1970, N 6, s. 721—732; Русанова И. Н. Карта распространения памятников типа Корчак.—В кн.: Древние славяне и их соседи. М., 1970, с. 93—96; Die Slawen in Deutschland. Berlin, 1970.

<sup>107</sup> Например, Kietlińska A., Dąbrowska T. Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich we wsi Spicymierz, pow. Turek.—«Materiały starożytnie», 1963, IX, s. 143—254.

<sup>108</sup> Kostrzewski J. Zur Frage der Siedlungsstetigkeit in der Urgeschichte Polens. Wrocław — Warszawa — Kraków, 1965, s. 10—39.

ствует территории расселения склавенов (славен) — одной из трех славянских группировок середины I тысячелетия н. э., известных по данным Иордана. Он писал: «Склавены живут от города Новиетуна и озера, именуемого Мурсианским, до Данастра, а на север — до Висклы»<sup>109</sup>, т. е. склавены занимали область от среднего Дуная (здесь локализуются Новиетун и Мурсианско озеро) на западе и до Днестра на востоке, а северным пределом их обитания был бассейн Вислы (очевидно, верхняя часть бассейна). В отдельных местах археологический ареал (правобережье Среднего Поднепровья, бассейн Эльбы и т. п.) выходит за пределы территории, отведенной склавенам Иорданом. Однако этот факт, по-видимому, объясняется тем, что данные Иордана относятся к первой половине VI в., а археологический ареал определяется на основе памятников, датируемых суммарно V—VII вв. Следовательно, последний фиксирует картину славянского расселения несколько более позднего времени по сравнению с данными Иордана.

Вторая славянская группировка третьей четверти I тысячелетия н. э. представлена памятниками типа Пеньковки, о которых уже говорилось выше<sup>110</sup>. Это — анты, образовавшиеся в результате расселения славян на скифо-сарматской территории и ассимиляции ираноязычного населения. Иордан локализует их в Северном Причерноморье между Днестром и Днепром («Анты же... распространяются от Данастра до Данаира, там, гдеPontийское море образует излучину;»)<sup>111</sup>, что в общих чертах соответствует ареалу памятников пеньковского облика.

Третья группа славянства этого времени локализуется в междуречье нижней Вислы и Эльбы. Памятники этой славянской группы характеризуются своеобразной техникой домостроения и керамикой, серьезно отличающейся от пражской и пеньковской. Полуземляночных жилищ здесь неизвестно. На поселениях и в могильниках распространены сосуды биконических и цилиндрических форм, относимые к торновскому, фельдбергскому ипольскопоморскому типам<sup>112</sup>. Эта славянская группа называется Иорданом венедами<sup>113</sup>.

<sup>109</sup> Иордан. О происхождении и деяниях гетов, с. 72.

<sup>110</sup> Подробнее о трех славянских группах V—VII вв. см.: Седов В. В. Вивчення етногенезу слов'ян.—«Народна творчість та етнографія», 1967, № 4, с. 41—47.

<sup>111</sup> Иордан. О происхождении и деяниях гетов, с. 72.

<sup>112</sup> Knorr G. Die slawische Keramik zwischen Elbe und Oder. Leipzig, 1937; Herrmann I. Torgow und Vorberg. Ein Beitrag zur Frühgeschichte der Lausitz. Berlin, 1966; idem. Siedlung, Wirtschaft und Gesellschaftliche Verhältnisse der slawischen Stämme zwischen Oder/Neisse und Elbe. Berlin, 1968.

<sup>113</sup> Этноним венеты Иордан употребляет в двояком смысле. С одной стороны, это — все праславяне; с другой стороны, венеты — одна из трех составных частей славян VI в.: «Эти (венеты), как мы уже рассказывали в начале нашего изложения, — именно при перечислении племен, — происходят от одного корня ины известны под тремя именами: венетов, антов, склавенов» (Иордан. О происхождении и деяниях гетов, с. 71 и 90).

Вопрос о происхождении культуры венедских племен третьей четверти I тысячелетия н. э. пока далек от окончательного разрешения. Скорее всего, этническим субстратом венедской ветви славянства были потомки носителей оксывской культуры. Последняя связывается с окраинным балтским диалектом, по всей вероятности, весьма близким к славянским говорам. Может быть, это был какой-то переходный диалект, занимавший среднее положение между славянским и пруссо-ятыческими языками. Славянизация потомков посителей оксывской культуры, видимо, осуществлялась из шеворского ареала. Во всяком случае, исследователи торновской и фельдбергской керамики находят прототипы ей среди шеворской посуды. На территории венедских племен изредка встречаются и сосуды пражского облика.

Такое решение вопроса соответствует выводам топонимистов. Так, В. Н. Топоров выявил и исследовал на территории, включающей Польское Поморье, Мекленбург, Гольштейн и несколько более южные районы по Одеру и Эльбе, слой географической номенклатуры, которая в равной степени объясняется и как балтская, и как славянская. Хронологически этот слой, называемый исследователем балто-славянским, следовал за периодом существования здесь древних периферийных балтских диалектов и соответствует этапу развития последних в славянские языки<sup>114</sup>.

Попытка некоторых исследователей видеть в трех славянских группах Иордана отражение трехчленной дифференциации современных славянских языков (восточные, западные и южные славяне) является всего-навсего догадкой, не имеющей под собой фактологического материала. Существующее ныне трехчастное членение славянства является продуктом более позднего исторического процесса. Выделяемые, по данным археологии, три группы славянства третьей четверти I тысячелетия н. э., нужно полагать, отражают диалектно-племенное членение на последней стадии эволюции праславянского языка. Как показывают языковые материалы, распад общеславянского единства был весьма сложным процессом, состоящим не только в делении славянской территории, но и в перегруппировках различных праславянских племен. Поэтому диалектное членение праславянского языка и позднейшее трехчастное деление славянства не связаны между собой генетически.

Древности третьей четверти I тысячелетия н. э. являются достоверно славянскими, поскольку между ними и раннесредневековыми славянскими культурами имеется бесспорная генетическая преемственность, прослеживаемая на обширных территориях.

<sup>114</sup> Топоров В. Н. О балтийских элементах в гидронимии и топонимии к западу от Вислы.— In: *Slavia Pragensia*, VIII, Praha, 1966, s. 255—263; он же. К вопросу о топонимических соответствиях на балтийских территориях и к западу от Вислы.— In: *Baltistica*, I(2). Vilnius, 1966, s. 103—111.

## МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ЭТНОГЕНЕЗА И ДРЕВНЕЙШЕЙ ИСТОРИИ СЛАВЯН

В. В. Иванов, В. Н. Топоров

Одним из весьма существенных и ранее практически не использовавшихся источников для восстановления ранней истории славян следует считать языковые обозначения основных элементов ландшафта (гор, рек, городов и т. п.) и мифологические имена героев, связанных с этими же местами. Для наиболее ранней эпохи рассматриваются названия, приуроченные к двум ареалам: к территории между Доном на востоке и Карпатами и Дунаем на западе и к области, находящейся к северо-западу от указанной. Эта территория может рассматриваться как своеобразный сценарий развертывания мифа, во многом смыкающегося с сильно мифологизированной раннеисторической традицией.

Хотя в целом картина носит несомненно мифологизированный характер, за последовательностями мифологических знаков можно обнаружить указания на реально существовавшие денотаты (конкретные горы, реки, поселения, исторические персонажи) и на самое пространственно-временную схему, определяющую хронотопию мифологического повествования. Исследуя относящийся к теме материал мифологических географических названий, непрестанно приходится иметь дело с новыми реализациями одного и того же основного мифа о поединке Громовержца с его противником, подробно рассмотренном в специальной монографии<sup>1</sup>. Речь идет о постоянных приспособлениях схемы основного мифа к новым территориям, с которыми встречались славяне по мере своего продвижения. Исконные апеллятивы, обозначавшие элементы ландшафта, по мере включения их в конкретный локальный вариант мифа доводились до уровня собственных имён, которые в значительной мере и составили основу позднейших историко-географических описаний уже вполне научного характера. При этом могут возникнуть трудности, вызванные забвением первоначально апеллятивного характера собственного имени, которое могло применяться к разным депотатам (что особенно ясно видно по отношению к ряду славянских племенных названий и обозначений стран).

Основная схема мифа достаточно хорошо сохранена в том его виде, который служил для описания пебесного происхождения Днепра и днепровских порогов и известен в нескольких вариантах в восточнославянской традиции. Основные персонажи здесь выступают в образах Змея, опустошившего край и требовавшего в ка-

<sup>1</sup> Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей. М., 1974.

честве дани человеческих жертв, и его противника Кузнеца (или двух Кузнецов), который спасает народ и город Киев от Змея, а самого Змея втягивает в плуг и заставляет вспахать Змиеv вал. Из вариантов мифа о Змиеvых валах особенно интересен тот, где великий Змей в плуге все просился напиться из Днепра, а Кузнец (*Божий коваль*) все погонял его, пока не добрался до Черного моря, где Змею было позволено напиться вволю<sup>2</sup>. В этом варианте речь идет о спасении Украины в целом («народа Козацкого»), тогда как в другом украинском варианте, записанном в то же время, назван Киев: «І був коло Києва змій і кожного году посыпали йому дань: давали або молодого парубка, або дівчину»<sup>3</sup>. С началом этого варианта совпадает и начало аналогичной сказки, записанной в Тамбовской губернии: «Около Киева проявился змей, брал он с народа поборы немалые: с каждого двора по красной девке...»<sup>4</sup>; древность этого варианта удостоверяется тем, что в качестве героя выступает Никита Кожемяка, который разрывает двенадцать кож, «как увидел он, что пришел к нему сам царь». Тот же эпизод сохранен в летописи, где описывается силач-кожемяка, который разрывает кожи: «Единою бо ми и сворашю, и щиму мынущю оусніе, разгнівавъса на ма, преторже череви рукама ...»<sup>5</sup>. Когда князь Владимир устраивает испытание силы Кожемяки, тот в поединке с быком «похвати быка рукою за бокъ и вына кожю с масы», после чего князь посылает его сразиться с печенегом, которого Кожемяка побеждает. Эпизод кончается освоинием города Переяславля на месте победы русских над печенегами. Сочетание «мынущю оусніе» (кожу) объясняет и имя Яна усмошвеца, которого в 1004 г. Владимир посыпает на печенегов (Никон. л., 6512 г.). В последнем летописном известии Ян усмошвец сражается с печенегами вместе с Александром Поповичем, что позволяет подтвердить отождествление схемы летописного рассказа с былинным сюжетом, где со Змеем (Тугарином Змееvичем, Змеем Горынычем или Горыпчицем) сражаются киевские богатыри: *Алеши Попович* (Кирша Данилов, № 20), Добрыня Никитич (Кирша Данилов, № 9,50; Гильфердинг, 1, № 79 и др.), ср. *Никита Кожемяка* в сказке. В других сказках, воспроизведящих этот же змееборческий сюжет, сохраняется приурочение его к Черному морю, ср. «Пошли они путем-дорогою, приходят к Черному морю, в море клохчет гад»<sup>6</sup>, «они пошли в такие места — в змеиные края, где выезжают из Черного моря три змея», «шел, шел и догнал братьев близ Черного моря у калинового моста»;

<sup>2</sup> Максимович М. А. Дни и месяцы украинского селянина II.— «Русская беседа», 1856, т. I, с. 74.

<sup>3</sup> Кулиш П. Записки о Южной Руси. СПб., 1856—1857, с. 27.

<sup>4</sup> Русские народные сказки А. Н. Афанасьева, т. 1. М., 1957, с. 327 (№ 148), см. там же примечания В. Я. Пронина, с. 495.

<sup>5</sup> «Полное собрание русских летописей», т. I. Лаврентьевская летопись. М., 1962, с. 124 (992 г.).

<sup>6</sup> «Русские народные сказки», т. I, с. 268 (№ 136); записано в Оренбургской губернии.

у того моста столб стоит, на столбе написано, что тут выезжают три змея»<sup>7</sup>.

В связи с западнославянским именем Яна в приведенном летописном известии следует отметить, что в третьей сказке этого же цикла, где змееборческий сюжет особенно явно выражен, хотя и нет локального его приурочения, герой носит прозвище Иван Попялов, которое в начале и в конце сказки по-разному осмысливается в духе народной этимологии: «Ен двенадцать лет лежав у побряцье, вошаслі таго встав из побряцье и як стряхнувшись, дак из яго злятело шесть пудов побряцье»<sup>8</sup>, «Убивши змеиху, спалили и побял по ветру рассыпали»<sup>9</sup>. Персонаж с соответствующим именем может быть реконструирован для польской мифологической традиции, непосредственно продолжаемой в ранней исторической традиции (ср. Кадлубек, Галл Аноним, I, 1 и 3). Речь идет о князе из Гнезна по имени Popiel, который выступает как отрицательный персонаж, оскорбивший двух гостей-чужеземцев, изгнанный из княжества внуком Котышки и заеденный до смерти мышами, которые его преследовали вплоть до острова, где он пытался спастись от них (ср. известный сюжет епископа Гаттона)<sup>10</sup>. Сопоставление польской легенды о Попеле со сказкой об Иване Попялове кажется вероятным не только из-за сходства имени, но и из-за вхождения обоих персонажей в одипаковую сюжетную схему, внутри которой они занимают противоположные места. Это различие позиций проявляется и в деталях, которые сами по себе достаточно существенны. Так, мотиву Попеля, противопоставляемого потомкам Котышки<sup>11</sup> и поедаемого мышами, в сказке об Иване Попялове соответствует мотив превращения героя в кота («Ен зрабився катом», чтобы подслушать разговор змеихи и змеевых дочек, над которыми он одерживает верх, как впук Котышки над Попелем).

Тот же мотив превращения героя в кота известен и в общевосточнославянском цикле сказок об Иване (обычно сыне Су-

<sup>7</sup> Там же, стр. 269.

<sup>8</sup> Там же, стр. 264 (№ 135, записано в Брянской губернии). Ср. украинскую сказку о Емеле, где о герое говорится, что он сидит «на пещу в попль»; «Казки та оповідання з Подділля в записіах 1850—1860-х рр.», вип. I—II, З передмовою акад. А. М. Лободы, Упорядкував М. Левченко, у Києві, 1928 (в дальнійшем сокращено Левченко), с. 491.

<sup>9</sup> Русские народные сказки А. Н. Афанасьева, т. I, с. 267.

<sup>10</sup> Potkański K. Podanie o Popielu i Piącie, — в kn.: K. Potkański. Lechici, Polanie, Polska. Warszawa, 1965, s. 414—438; Ślaski K. Wątki historyczne w podaniach o poczatkach Polski. Poznań, 1968. В связи с дальнейшим изложением следует отметить, что согласно Великопольской Хронике («Monumenta Poloniae Historicae», II, с. 510 и сл.) род Попеля приурочен к югу Польши — Вислица, Краков; *Labuda G. Źródła, sagi i legendy do najdawniejszych dziejów Polski*. Warszawa, 1960, s. 249—263.

<sup>11</sup> К этимологии имени легендарного польского князя Котышки ср. имя паннонского князя Коцела IX в. н. э. (из \**Koscъb*, зап.-слав. \**koca* < \**kotia* ‘кошка’), также связываемое с кошкой (*Stanislav J. Koceł*. — «Slovenská réč», 1950, гоč. 15, с. 165 и сл.).

к и — *Иван Сучич*, иногда же и *Иван крестьянский сын*): обратившись в кота (или иногда надев на себя шкуру кота, которого он разрезал), или кошку, герой подслушивает разговор женских персонажей, связанных с змеем — змеевых жен или сестер и змеихи-матери<sup>12</sup> или Бабы-Яги. В некоторых из этих сказок Кот выступает в двойной функции — и как воплощение или помощник Змея и как Змееборец. Обе эти функции соединяются в сказке о Воле Воловиче, который после каждого сражения со Змеем встречается с «Котищем, вытращи глазища», грозящимся его съесть. Герой убивает Кота, одевает на себя его шкуру и под видом Кота входит к Бабе-Яге<sup>13</sup>.

Такая же инверсия универсального архаического образа змееборца, превращающегося в кота (ср. египетское изображение и описание Ра в образе Кота, поражающего Змея у сикоморы<sup>14</sup>) обнаруживается и в литовских текстах: *Velnias, slēpdamas nu Perkūno, pasiverčia kate* 'Черт, прячась от Перкунаса, обертывается котом'; *Nuo Perkūno norēdamas pasislēpti, velnias pasiverčia kate* 'Чтобы укрыться от Перкунаса, черт обворачивается котом'<sup>15</sup>. Выражение основной оппозиции Змееборца и Змея через транс-

<sup>12</sup> Русские народные сказки А. Н. Афанасьева, т. I, № 138, с. 289; Чубинский П. П. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, т. II, Сказки мифические. СПб., 1873, с. 69; Левченко, стр. 477; Романов Е. Р. Белорусский сборник, т. I, вып. III. Витебск, 1887, с. 15. Наряду с Суччым сыном в сказках этого типа герой может быть и сыном Кота (Кошки): *Иван — Кошкин сын*, «Великорусские сказки в записях И. А. Худякова». Л., 1964; 6; Сказки Ф. П. Господарева. Петрозаводск, 1941, № 18. Ср. также название героя *Котом* в стандартных формулах в других сказках (типа «Кот тут был и молоко пил» и т. д.).

<sup>13</sup> Сборник великорусских сказок Архива Русского Географического общества, вып. I. Изд. А. М. Смирнов. М., 1917, № 150, с. 430—434. В этой сказке действует Кот-Котович, брат Ивана Царевича и Вола Воловича, причем в конце сказки они делят между собой царство. В сказках типа «Сказка про перстень о двенадцати винтах» (Афанасьев, № 566) кот (кошка) может быть одним из главных помощников героя.

<sup>14</sup> Имеется в виду текст из Книги Мертвых (глава 17): «Я тот великий кот, который сражался при дереве *išd* (=сикоморе) в Гелиополе в ночь битвы, тот, который сторожил виновных в день истребления богов вседержателя. Что это? Великий кот, который сражался при дереве *išd* в Гелиополе, это сам Ра» (*Urkunden des ägyptischen Altertums*. Hrsg. von G. Steindorff, Abt. V. Leipzig, 50; раздел 22). На соответствующем рисунке «изображен ярко-желтый кот, отрезающий большим ножом голову змея» (*Matthee M. Э. Древнесинетские мифы*. М.-Л., 1956, с. 33, 34 и рис. 15). Дерево *išd* в этом тексте ионимизируется как мировое дерево: *Kees H. der Götterglaube im alten Agypten*. Berlin, 1956, S. 232, ср.: там же S. 35, 36 (где указаны и другие параллельные тексты, в частности, времени 19 династии), 82 (об изображении Ра с кошачьей головой из Лувра), 482 (аналогичный образ богини неба — победительницы змея). К древесной символике ср. поражение змеевых дочек в виде яблоньки и яблочек в сказке об Иване Попялове. Мотив детей отрицательного персонажа в виде змеенышей (ср. *Гнездо* и Змей и змеенышей в гнезде в заговоре), мышей и т. п. объединяет разные варианты основного мифа, где возможны и подобные трансформации детей Громовержца.

<sup>15</sup> *Balys J. Perkūnas lietuvių liaudies tikėjimose*. — In: *Tautosakos darbai*, III. Kaunas, 1936, p. 157, № 127 и 129. Относительно детской игры «Кошка и мышки», восходящей к ритуальным представлениям рассматриваемого

формацию кошки — мышки широко представлено в ритуалах и их вырожденных формах — детских играх, включая жмурки, в которых, как и в польской легенде о слепоте Мешки из рода Котышки в течение первых семи лет его жизни (Галл Аноним, 1, 4; ср. слепоту котят в первую неделю после рождения), эта трансформация связана с мотивом слепоты, ср. также использование слова *pepelъ*, *попелъ* в контексте, где речь идет о слепоте, а также о причастии и благословении и т. д.; ср. («Слово о слѣпцѣ» Кирилла Туровского, 63): «Не окрошиша его завистивіи жрьци попеломъ уньца съ кръвію козлею», ср. также «Причастимъся очищениѣ одѣнумо..., попела юнича стѣшию, окраплающю оскврненїѧ» Гр. Наз. 104 (Евр. IX, 13) и др.

Сопоставление польской легенды с брянской сказкой становится еще более очевидным при учете промежуточного звена между ними в белорусской сказке «Васька-Папялышка»<sup>16</sup>, где в отчетливой форме выступает сюжет борьбы богатыря Васьки-Папялышки со змеем (по имени *Паганы Цмок*); богатырь связан с другими богатырями по имени *Гарын-багатыр*, *Дубін-багатыр* и *Камін-багатыр* (эти герои связывают указанную сказку с другими многочисленными восточнославянскими сказками типа 301 по Аарне, в которых выступают Горыня, Дубыня и Усыния).

Тип восточнославянских сказок с герояем, носящим мужское имя, этимологически связанное с пеплом, имеет параллели и в других традициях<sup>17</sup>. В этой связи значительный интерес может представить, с одной стороны, наличие героя по имени *Petri Pepélea* в румынской сказке типа «Конька-Горбунка» с добыванием невесты, с другой же стороны, имя общебалканского женского персонажа с функциями Золушки, в болгарском и румынском образо-

тива, см.: *Покровский Е. А. Детские игры, преимущественно русские (в связи с историей, этнографией, педагогикой и гигиеной)*. М., 1887, с. 194—195.

<sup>16</sup> Чарадзейная казкі, ч. I (Беларусская народная творчесць). Мінск, 1973, с. 171—179, № 16. Записано Е. Р. Романовым. Ср. также: *Романов Е. Р. Белорусский сборник*, вып. III. Витебск, 1887, № 36 («Попелышка»), в сказке фигурирует Гром). Другие белорусские и украинские сказки, упоминающие имя Ивана Попелышки, см.: *Шейн П. В. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного Края*, т. II. СПб., 1893, с. 62—65, № 30. Анализ мотивов сказок с именем *Иван Попялов*, *Коршубуры Попелюх* дан в работе: *Потебня А. А. Этимологические заметки*, 15. Слепород, *šlepy Mazur*, Сучич, отдельный оттиск: *Потебня А. А. К истории звуков русского языка*, III. Этимологические и другие заметки. Варшава, 1881, с. 75 и сл. Там же разобрано значение мотива (и имени) собачьего щенка (*Сучич*) или котенка (*Кошкин*) в связи с мотивом слепорождения (с. 68—83), а также указана связь всего этого цикла с мотивом змеихи, зараженной в плуг и прорывающейся борозду до Днепра (с. 78). По замечанию А. А. Потебни (с. 79), «в XVII в. сказка о рождении богатыря из пепла сгоревшей богатырской головы» приурочена была к Семену Палию.

<sup>17</sup> Этот же тип, видимо, отражен и в имени помощника главного героя *Матюша Пепельной*, см.: *Сказки и песни Вологодской области*. Составили С. И. Минц и Н. И. Савушкина. Под ред. Э. В. Померанцевой и С. В. Вилькулова. Вологда, 1955, № 14; Сказки М. М. Коргуева, кн. I и II. Запись, вступительная статья и комментарии А. Н. Нечаева. Петрозаводск, 1939, № 22.

ванное от того же славянского названия золы, пепла, а в других балканских языках имеющее ту же внутреннюю форму: болг. *Мара-Пепелшка*, рум. *Pipelcița* (иначе *Cenizerea*, т. е. ‘золушка’), алб. *Maro-Përhitura* (алб. *hi* ‘пепел’), н.-греч. ἡ Σταχτοπόττα (‘домоседка’, ср. στάχτη ‘зола, пепел’). В свете изложенной польской легенды существенно то, что мотив Золушки соединяется с мотивом мышей (в румынском фольклоре *Cenizerea* в доме у Св. Пятницы, которая сама связана с мышами, ср. у болгар *Мишин ден* ‘день мышей’, соотнесенный со св. Петкой<sup>18</sup>), а также отмеченное в румынской народной медицине использование пепла сожженной мыши для лечения слепоты (в рукописи XVIII в.)<sup>19</sup>, ср. также данные о грозовом значении мыши.

Другое интересное совпадение мотивов белорусской сказки о Ваське-Папялышке с мифом о громовержце-Кузнецем заключается в эпизоде, где герой получает от отца булаву, которую специально для него сделали кузнецы. В наиболее архаичном варианте мифа о происхождении Днепра и днепровских порогов герой выступает в виде Божественного Кузнеца (или двух богов-близнецов с той же функцией), который может быть возведен к давней индоевропейской традиции. Кроме тех украинских отражений этого мифа, которые и ранее использовались для реконструкции<sup>20</sup>, он представлен также и в других украинских и иновосточнославянских версиях, где кузнецы могут быть Ковалем

<sup>18</sup> Другие параллели см.: Сумцов Н. Ф. Мыши в народной словесности.— «Этнографическое обозрение», 1891, № 1, с. 49—94, ср. также и более широкие параллели: мотивы Аполлона-Смиитеуса (мышиного) и Асклепия, связанные с мышами.

<sup>19</sup> Simache N., Stănică V. Un izvor etnografic interesant. — «Revista de etnografie și folclor», 1966, 11, N 3, p. 296. К типологии значения пепла, золы ср. Lévi-Strauss C. Mythologiques. II. Du miel aux cendres. Paris, 1966.

<sup>20</sup> Потебня А. А. О мифическом значении некоторых обрядов и поверий. В кн.: «Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских». М., 1865, кн. 2, с. 121 и сл., кн. 3, с. 8—15 (в той же работе Потебни ср. и о мотиве мышей); Миллер Вс. Очерк арийской мифологии в связи с древнейшей культурой, т. I. Асвины-диоскуры. М., 1876, с. 162, 278—291; Иванов В. В. и Топоров В. Н. Этимологическое исследование семантически ограниченных групп лексики в связи с проблемой реконструкции праславянских текстов.— В кн.: Славянское языкоизложение. М., 1973, с. 151—159; Иванов В. В., Топоров В. Н. Проблема функций кузнеца в свете семиотической типологии культуры.— В кн.: Материалы Всеосозного симпозиума по вторичным моделяющим системам I (5). Тарту, 1974, с. 87—90. К указанным в последней работе типологическим параллелям ср. в особенности существенные аналогии мотиву языка (который в славянском мифе змей просовывает сквозь дверь кузницы, чем пользуются кузнецы, хватаяющие его своими орудиями): Köves Th. La coutume de la langue tirée chez les Gaulois.— «Latomus», 1958, 17, p. 212—239 (кельтский материал весьма показателен в виду наличия в нем аналогий и самому мотиву кузнеца, в частности божественного кузнепазмееборца, связанного с собакой). К типологии ср. также: Salmony A. Antler and tongue, an essay on Ancient Chinese symbolism and its implication.— In: Artibus Asiae, suppl. 13. Ascona, 1954 (ср. рецензию на эту монографию: Hentze C.— «Anthropos», 1955, Bd. 50, S. 453—457, а также к этимологии др.-кит. \*diāt, др.-тиб. *dlag* — ‘язык’ (откуда и гонориф. *ljags-pa-*): Simon W. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 1973, vol. XXXVI, pt.

(Божественным Ковалем), Кузьмой и Демьяном или кузнецом Соломоном, помогающим герою Ивану Суничу, который спасается от Змея у них в кузнице. Змей в этих сказках (как и в типологических параллелях к ним) часто выступает в качестве женского персонажа: «Змеиной матки», Змеи, Яги, Бабы-Юги<sup>21</sup>. Руслу Днепра и Змievу валу в украинских вариантах мифа соответствует в других восточнославянских вариантах либо борозда, идущая до моря, либо «межа, которую кладут до самого моря».

Возвращаясь к собственно украинскому варианту мифа, следует заметить, что само название возвышенных гряд вдоль берегов Днепра Змiev вал содержит слово *вал*, восходящее к корню *\*vel-/\*vol-*, которым в основном мифе обозначается противник главного героя<sup>22</sup> (ср. Велес, Волос и т. п.). Этот же корень представлен в названии днепровского порога, последнего по счету и особенно

<sup>21</sup>; Lips E. Bemerkungen zu einigen Stücken von der nordwestamerikanischen Nordwestküste.— In: Jahrbuch des Museums für Völkerkunde zu Leipzig, Bd. XIV. Berlin, 1955, S. 10—30; Vajda L. Рец. на кн.— *Himmelhaber H.* und U. Die Dan.— In: Afrika und Übersee, Bd. 45, 1962, N. 4, S. 310; Shung-sheng Ling. Human figures with protruding tongue.— «Bulletin of the Institute of Ethnology, Academia Sinica», 1956, 2; Badner M. The protruding tongue and related motifs in the art styles of the American Northwest Coast, New Zealand and China.— «Wiener Beiträge zur Kulturgeschichte und Linguistik», (Wien) 1966, 15; Lévi-Strauss C. La voie des masques, t. II. Genève, 1975, 93—95. Полное совпадение этой символики во всем тихоокеанском ареале позволяет поставить вопрос о диффузии мотива высунутого языка в глубокой древности. Для сопоставления со славянским мифом особый интерес представляет устаревшая Н. Леви-Строссом связь масок, характеризующихся этим символом, с древнейшей «идеологией меди», т. е. с комплексом представлений, соотносимых с кузнецким мастерством. К ранним упоминаниям языков царя и царицы (из железа) в древнехетском ритуале см.: Otten H. und Souček V. Ein althethitisches Ritual für das Königspar (Studien zu den Boğazköy-Texten, Heft 8). Wiesbaden, 1969, S. 11—17 (2 I 4), 20—21 (Vs. I 18: *la-a-la-an* AN. BAR-as ‘язык из железа’). Относительно древнеегипетских представлений, связанных с языком (*ns*) как органом (и языком в более абстрактном смысле, выводимом из первого, ср. египетское представление о физических различиях как основе различия языков и типологическую параллель в этимологии русск. *немец* и т. п.): Sauneron S. La différenciation des langages d'après la tradition égyptienne.— In: Bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale, t. LX. Le Caire, 1960, p. 31—39 (там же дальнейшая египтологическая литература вопроса, имеющая значительный интерес и для изучения ранних лингвистических представлений).

<sup>22</sup> Романов Е. Р. Белорусский сборник, вып. VI. Могилев, 1906, с. 15, примеч.; Сказки, пословицы и т. п., записанные в Екатеринославской и Харьковской губерниях И. И. Манижурою.— В кн.: Сб. Харьковского историко-филологического общества, т. II, вып. 2. Харьков, 1890, с. 24—26; Чубинский П. П. Указ. соч., с. 68, 69; Левченко М. Указ. соч., с. 477; Сказки и легенды пушкинских мест. Записи 1927—1949 гг. Записи на местах, наблюдения и исследования В. И. Чернышева. Подгот. к изд. Н. П. Гринковой и Н. Т. Панченко. М.—Л., 1950, с. 2.

<sup>23</sup> Ivanov V. V., Toporov V. N. A Comparative study of the Group of Baltic Mythological Terms from the Root *\*vel-*. — «Baltistica», 1973, IX (1), p. 15—28. В связи с указанным в этой же работе особым обозначением кости, образованной от этого корня в балтийском (и возможно, в славянском), значительный интерес представляет и сочетание ‘золотова кость’, впервые проанализированное в работе: Потебня А. А. Этимологические заметки —

богатого камнями,— *βούλνητράχ*, отмеченного у Константина Багрянородного. Это название, соответствующее скандин. *βαρούφρος*, где второй элемент сопоставляется с швед. *bora* ‘возвышенность, берег, скала’<sup>23</sup>, объясняется как *vol-ъпъ* (*vъl-ъпъ*) *pragъ*. Для установления этого названия особый интерес представляет другое название того же порога *Гадючий*<sup>24</sup>. В этом контексте показательно и название первого по счету порога *ёссоупъ*, интерпретируемого Фальком как *Ustupi*<sup>25</sup> (от *stap-* с древним значением ‘ограничивать, преграждать’).

Связь названия этого порога с первоначальной фразеологией основного мифа можно подтвердить сопоставлением с балтийскими языками. В литовской сказке, где сестра идет к девятерым братьям, она сталкивается с Девятиголовым чудовищем, преградившим ей путь: *ir tадu devyniagalvis jai a ž u st u p i kelią* ‘и тогда Девятиголовый ей заступил путь’<sup>26</sup>. Сам мотив преграждения оплодотворяющих вод Змеем, как и мотив освобождения их в результате победы над Змеем, принадлежит к ядру основного мифа, отраженному и в белорусской сказке об Ильюшке, расчищающем Дунай (в варианте—Десну), и в болгарских песнях о реках, текущих благодаря Св. Георгию. Весьма близкий к славянскому вариант представлен и в ведийском мифе, где воды сдерживают демона Вритра, самое имя которого (*vrtra-*) означает ‘затор’, ‘порог’ (ср. сходный с ним образ демона *Vala* от *\*uel-*, с которым можно сравнить приведенное выше *vol-ъпъ pragъ*, Змия *val*). Характерно, что имя матери Вритры *Dānu* совпадает с названием ‘потока’, а также применяется по отношению к самому Вритре или другим семи Змиям, убиваемым Громовержцем Индрой. Число семь является константой при мифологическом способе описания, что можно соотнести и с семью порогами Днепра в древней традиции.

В этой связи следует напомнить, что в самом названии Днепра (др.-русск. *Дѣнѣпъ*) выделяются два элемента: первый, родственный др. инд. *Dānu* (матер Вритры, ‘поток’), авест. *dānu* ‘поток’, ‘река’, название враждебного племени *Dānu*, и второй, восходящий к и.-евр. *\*iebhr-* с идеей оплодотворения. В связи с интерпретацией последнего элемента как фракийского<sup>27</sup> представляет интерес сопоставление с предполагаемым иллирийским заимство-

«Живая старина», 1891, вып. III (там же см. гипотезу о сближении *volot* и др.-инд. *vrtra*, а также соответствующей группе балтийских слов).

<sup>23</sup> Falk K.-O. Dneproforsarnas namn i Kejsar Konstantin VII Porfyrogenetos' 'De administrando Imperio'. — Lunds Universitets Årsskrift, N. F., Avd. 1, Bd. 46, N 4. Lund, 1951, p. 13, 15, 55 и сл.

<sup>24</sup> Rudnyckyi S. Ukraina. Land und Volk. Wien, 1916, S. 87.

<sup>25</sup> K. O. Falk. Op. cit., p. 83—92.

<sup>26</sup> Топоров В. Н. Об одном локальном варианте основного мифа (Dieveniškės). — В кн.: Материалы Всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим системам' 1 (5). Тарту, 1974, с. 36.

<sup>27</sup> Трубачев О. Н. Названия рек Правобережной Украины. М., 1968, с. 214 и сл.

ванием<sup>28</sup> ζέφυρος ‘ветер’ (у Гомера в Малой Азии) — имя мифологического Ветра-коня, при пилосском греческом мужском имени *ze-pu<sub>2</sub>-ro* (PY Ea 56), женских этнических эпитетах *ze-pu<sub>2</sub>-ra<sub>3</sub>* (PY Aa 61), *ze-pu<sub>2</sub>-ra-o* (PY Ad 664)' = *Zepurāōn* (род. пад. мн. ч) ‘женщин из Зефирии’ (древний Галикарнас в Малой Азии, согласно Страбону, XIV, 659)<sup>29</sup>. Для сравнения с именем Днепра существенно то, что принцип называния географических объектов по этой основе засвидетельствован уже во II тысячелетии до н. э. Не исключено, что сходные словообразовательные типы представлены и в собственно славянском. В свете индо-иранских параллелей к первой части названия Днепра показательно персонификация его в виде именно женского образа (*Hēnra Королевична*), ср. *Dānu*, мать Вритры.<sup>30</sup> Женский персонаж в той же функции выступает и в таких типологически сходных мифах, как кетский рассказ о жене Громовержца, свернутой с неба, по имени Хошедэм, семья сыновей которой становится семью порогами Енисея. Вместе с тем возникновение семи порогов объясняется этапами преследования Хошедэма со стороны первого культурного героя Альба, функционально сопоставимого с Божьим Ковалем. Спасаясь от преследования, Хошедэм бежит вниз по Енисею к морю и укрывается на острове; ср. тот же мотив в связи с Попелем, укрывающимся на острове. Характерно типологическое сходство и в другом мотиве, объединяющем Попеля и злое женское существо в кетской и других сибирских мифологиях: речь идет о роли мышей по отношению к злому началу<sup>31</sup>. Вместе с тем этимология имени Попеля позволяет сопоставить польскую легенду с широко

<sup>28</sup> Bonfante G. Gli elementi illirici nella mitologia greca.— In: Archivio glottologico italiano, vol. LIII. Firenze, 1968, p. 99, 100, там же см. об иллирийском имени отца Тиндара Οιθάλος Ср., однако, объяснение как собственно греческого слова с *djē-\**je-: Nagy G. Greek Dialects and the Transformation of an Indo-European Process. Cambridge. Mass., 1970, p. 149, note 186.

<sup>29</sup> См.: Ventris M., Chadwick J. Documents in Mycenaean Greek, 2 ed., by J. Chadwick. Cambridge, 1973.

<sup>30</sup> Ср. диалектные названия боярышиника (*Oxyacantha et monogyna*): *barač*, *ебарашник* или группа слов типа *еберзять*, *еборзять*, *еборд* и т. д. (Словарь русских народных говоров, вып. 8. Л., 1972). О боярышинике как символе плодородия и его культе, помимо известной работы Фрезера, ср.: Снесарев Г. П. Реликты домусульманских верований у узбеков Хорезма. М., 1969, с. 201, 202; Тот же корень усматривают в имени Посейдона. См. \*Scott Littleton C. Poseidon as a Reflex of the Indo-European Source of Waters' God.— «The Journal of Indo-European Studies», 1973, vol. 1, 423—440 (к и.-евр.\* *dā-* ‘текущая вода’). Вторая часть *‘еб-ерд’* родственна хет. *argi*, употребляемому в связи с растительной символикой плодородия: Watkins C. Indo-European Studies, II. Cambridge. Mass. 1975, p. 508, 518.

<sup>31</sup> Ср., например, кетский текст о Колбасом: Дульгон А. П. Кетские сказки. Томск, 1966, текст № 18, с. 50—57. Из европейских параллелей, кроме томских, находим аналогичные сказки в Балканах (сербско-македонские) и в Румынии.

распространенной сибирской мифологемой происхождения вредных насекомых из пепла или из искр костра, на котором герой скигает злое женское существо. Сходный вариант представлен и в сказке, записанной в Харьковской губернии: Баба-Яга, зауженная кузнецами в плуг, дойдя до моря, стала пить воду пока не лопнула, а как она лопнула, пошла из нее «всяка нечисть»: гадюки, жабы, ящерицы, пауки, «пуголовки», черви и «всяке такое».

Деталь кетского мифа, согласно которой кровь Хощедэм (кетское соответствие Бабы-Яги) или одного из ее сообщников объясняет красный цвет воды в Енисее у Асиновских порогов, совпадает с такой же подробностью ирокезско-гуронского дуалистического мифа о преследовании носителя злого начала Тавискарона его братом-близнецом Иоскега<sup>32</sup>. Тавискарон создал пороги и быстрины и вместе с тем во время его бегства в подземное царство он был ранен, причем каждая капля его крови превращалась в кремень. Это можно сравнить с объяснением Дуная в русских былинах как крови одноименного богатыря<sup>33</sup>. Название *Дунай* в восточнославянском фольклоре может быть отнесено к одной из южнорусских рек, впадающих в Черное море и восходящих в своем названии к *Dun-*, причем не исключено, что распространение речных названий с этим корнем связано с последовательным перенесением этого названия на основную для данной территории реку при последовательном движении с востока на запад, разные этапы которого отразились и на разных фонетических обликах названий рек.

Если названия южнорусских рек вполне могут связываться с соответствующим иранским словом для обозначения ‘реки’, поскольку иранские племена исторически засвидетельствованы на этой территории<sup>34</sup>, то большую сложность для объяснения представляют балтийские водные названия такого же типа, ср. многочисленные литовские названия типа *Dunājus*, *Dunōjus*<sup>35</sup>, а также апеллятив *dunōjus* ‘большая вода’ латышск. *Dunajs*, *Du-*

<sup>32</sup> Типологическое сравнение украинского (и более древнего общевосточнославянского) мифа с другими дуалистическими схемами позволяет предположить, что и в древнейшем прототипе славянского мифа близнецы могли быть противопоставлены друг другу: один из них преследовал другого, как бы выступавшего в функции Змея; ср. также возможное отражение этой древней схемы в сказках типа 301, где другие богатыри могли противопоставляться основному герою — их брату.

<sup>33</sup> В. К. Соколова. Типы восточнославянских топонимических преданий. — В кн.: Славянский фольклор. М., 1972, с. 207. Ср. Климчук Ф. Д., Шепелевич В. В. «Дунай» в традиционном фольклоре двух деревень Надъяселлья. — В кн.: Этногенез белорусов. Тезисы докладов. Минск. 1973, с. 211—214 (особенно ср. *Дунай* как обозначение крови человека, стекающей рекой).

<sup>34</sup> См. об иранских этимологиях названий рек рек южной России и Кубани: Абаев В. И. Осетинский язык и фольклор, т. I. М.—Л., 1949, с. 162; Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка, т. I. М.—Л., 1958, с. 367; там же см. об осет. *Donbeltyr*. На западной окраине Европы ср. ирландское речное название *Donwy* (из \**dunuia*).

<sup>35</sup> Lietuvos TSR iš ūžių įvardynas. Vilnius, 1963, s. 36.

*nava*<sup>36</sup>. Для сопоставления с др. русск. *Дёнбръ* особое значение имеет литовское *Dunepřēlis*. Совпадение этих балтийских названий со славянскими при различии их конкретных денотатов, до сих пор не обратившее на себя должного внимания исследователей, представляет собой одну из тех загадок, решение которой может пролить свет на раннюю этническую историю всей этой территории. Из иранских материалов специально в плане мифологической географии кроме указанного выше авест. *Dānu* для сопоставления со славянским особым интерес представляет осет. *Donbeltyr* ‘мифическое водное существо, владыка водного царства’ (из *Don* ‘Вода, река’ + имя Петра); ср. русск. *Дон Иваныч* как мужской персонаж в отличие от *Непры Королевичны* — женского образа. Вместе с тем представление великой реки как мифологического персонажа или как темы объяснительного мифа находит типологические параллели и далеко за пределами указанных традиций, ср. мифы о Ниле, о Гангे (и Ямуне) и т. д. Некоторые из этих мифов относились к парным рекам (в особенности в цивилизациях, возникших в Междуречье), что связывалось с дуалистическим характером мифа (ср. такую возможность, во всяком случае у иранцев, а позднее, быть может, и славян, по отношению к парам типа Дон-Днепр, Днепр-Днестр, Днестр-Дунай и т. д.).

Объяснение порогов Днепра из дуалистического мифа подтверждается и легендой о двух огромных камнях по обе стороны Днепра, которые приурочивались к поединку двух богатырей, кончившемуся поражением богатыря, стоявшего на левом берегу. В упомянутой выше сказке о Никите-Кожемяке сходным образом излагается поединок героя со змеем: «Не бей меня до смерти! — говорит ему змей. — Сильней нас с тобой в свете нет; разделим всю землю и весь свет поровну: ты будешь в одной половине, а я в другой. Кожемяка запрягает змея в соху и проводит борозду от Киева до моря Кавстрийского». «Ну, — говорит Змей, — теперь мы всю землю разделили!» — «Землю разделили, — проговорил Никита, — давай море делить!» В этой сказке борозда соответствует руслу Днепра и вместе с тем Змееву Валу других приведенных текстов.

Змей, побеждаемый героем мифа о происхождении днепровских порогов, в упомянутых украинских вариантах приурочивается к Киеву. С Киевом, его холмами и пещерами, в позднейшей традиции связываются представления о Змее или змеях, в нем обитающих, ср., в частности, былины, где каждый из основных богатырей выступает как змееборец. Известное летописное сообщение об основании Киева тремя братьями может рассматриваться как переосмысление более старого мифа о победе над змеем или тремя змеями на трех холмах, ср. параллели в мифе, услышанном Олеарием на Нижеи Волге в XVII в.: «Некоторые баснописьмены, гора получила название от Змея сверхъестественной величины,

<sup>36</sup> Endzelīns J. Latvijas PSR vietvārdi, 1 daļa, 1 sējums, Rīgā. 1956, 1-238.

жившего здесь, нанесшего много вреда и, наконец, изрубленного храбрым героям на три куска, которые затем превратились тотчас же в камни. Говорят, что действительно на горе можно видеть три больших длинных камня...»<sup>37</sup>.

Такая сюжетная схема дала бы объяснение имени старшего брата Кия. По всей вероятности, *Кый* восходит к \**Kīj-*, производное от корня \**kōw-* ‘ковать’ с основным значением ‘палица’, ‘молот’<sup>38</sup>, ‘жезл’ (ср. в качестве семантической параллели другие производные от того же корня типа в.-луж. *kuzlōprut* ‘волшебный жезл’). Эта семантическая мотивировка имени *Кый* связывает носителя этого имени как с Божьим *Ковалем* украинских преданий, так и с Громовержцем основного мифа, чьим оружием во всех индоевропейских традициях был молот. Древнейшие формы названия города Киева др.-русск. *Киевъ* (ср.: *Киане*) и передача его в арабских (*Kūyaba*, *Kuyava*, *Khyav*, *Kījāfhan*) и византийских (*Κιούβα*, *Κιάβον*, *Κιόβα*) источниках говорят в пользу предположения о том, что древнейшее имя города было произведено от основы \**kīj-*. Этую же основу для объяснения названия Киева принимает С. Ростонд<sup>39</sup>, который предпочитает ее связывать с физиографическим термином *kujava* (в польск. диал.—‘песчаный холм’)<sup>40</sup>, ср. *kuj*, *kuja* ‘вихрь’, *kujać* ‘шуметь’, хорв., словен. *kujati*, укр. *куяти*; сюда же можно было бы добавить укр. *куява* ‘крутой холм’, ‘малоизвестная страна’, ‘отдаленное жилище’, ‘старая хижина’ (см. Гринченко 2, стр. 336). С точки зрения мифологической интерпретации имени эти два толкования нельзя считать взаимоисключающими, как и в ряде других проанализированных в настоящей работе терминов, вовлеченных в сюжет мифа. Имя второго брата *Щек* и горы, на которой он жил, *Щекавица* (*Скавица*, *Скавика*) можно было бы возвести к корню в одном из двух видов \**Skek-/-Skok-* и \**Skik-* (ср. *Скавица* из \**Skikavika*). К семантике ср. значение ‘водопада’, ‘водного уступа’, у славянских основ, родственных русск. *скок*, а также русск. *щека* как обозначение крутого утеса, образующего берег реки, и употребление слов этого корня (*скочить*, *щекотать* и т. д.) в славянских эпических формулах, относящихся к персонажам, так или иначе связанным с продолжениями героев основного мифа.

Не исключено, что приурочение к Щекавице чуждого этнического элемента уже в раннеисторическую эпоху можно интерпретировать как продолжение первоначальной пегативной ха-

<sup>37</sup> Олеарий Адам. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. СПб., 1906, с. 79.

<sup>38</sup> Ср., в частности, слово *кий* по отношению к палице богатыря (кий в 50 пудов, кий в 80 пудов и т. д.), ср.: Шейн. Указ. соч., № 45.

<sup>39</sup> См.: Ростонд С. Значение древнерусской ономастики для истории (К этимологии топонима *Киев*).—«Вопросы языкоznания», 1968, № 1, с. 103—110.

<sup>40</sup> Ср. *kujava* ‘место, поросшее травой, камышом’ (*Moszyński K. Uwagi o słowiańskiej terminologii topograficznej i fizjograficznej, oparte przeważnie na materiale białorusko-poleskim*. Lwów-Warszawa, 1921, с. 14).

рактеристики этого места (как, возможно, связанного со змеиным началом), ср. аналогичную функцию братьев или «встречных богатырей» в сказке разобранного выше типа, где они могут иметь и отрицательную характеристику (при возможной этимологической связи внутренней формы их имен, ср. *Щек—Горыня* при *Щековица* — название горы).

Имя третьего брата *Хорив* и его горы *Хоревица* правдоподобнее всего объяснить из иранских источников. Ср. авест. *haraitva*, др.-перс. *haraiva* как название области Арианы, а также авест. *harā*, *hara(i)ti* как обозначение горы. Иранская этимология не должна вызывать удивление на фоне других иранизмов (в частности, топономастических и этнонимических, ср. *хорваты*) того же времени и той же территории (ср. выше о гидронимах). В таком случае можно поставить вопрос и об иранском происхождении арм. *Horean*, обозначающего имя одного из трех братьев — стронтелей трех городов. Если учсть, что имя первого (старшего) брата армянской легенды *Kuar* (где *Ki-* соотносимо с \**Kī-* в *Кый*), то сопоставление двух имен из трех в армянской легенде и в русском летописном предании (о чем много писал Марр)<sup>41</sup> возможно фонетически, а в отношении третьего (среднего) брата допустимы семантические параллели. В настоящее время целесообразно вновь вернуться к сравнительному анализу обеих легенд, тем более, что обнаруживаются некоторые частные параллели, ранее не отмечавшиеся.

Вместе с тем славяно-армянские сопоставления сейчас могут

<sup>41</sup> Mapp H. Я. Книжные легенды об основании Куара в Армении и Киева на Руси.—«Известия РАИМК», 1925, III, с. 257—287 (там же см. воспроизведенный ниже перевод текста Зеноба Глака); ср. же. Избранные работы, т. V. М.-Л., 1933; Погодин А. Л. *Vyzantinoslavica*, VII, с. 146, и сл.; Каргер М. К. Дофеодальный период истории Киева по археологическим данным.—«Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры», I, 1939; ср. же. Древний Киев, I. М.-Л., 1958, с. 14, 63—65 и др.; Jakobson R. While reading Vasmer's dictionary.—In: Selected Writings, II. The Hague — Paris, 1971, с. 646. Ср. также о древнейших поселениях в Киеве.—Шокоплас А. М. Древнейшие славяне на территории Киева.—В кн.: Этногенез белорусов.... с. 40—43. Относительно предположенного в той же работе Марра, а затем принятого И. Джавахишвили и Карстом, сближения *Kopala* и *Kupala* ср. критический анализ: *Charachidé G. Le système religieux de la Géorgie païenne*. Paris, 1968, p. 340—341 (там же полное собрание данных о *Kopala* и *Pirkushi*).

В контексте других армяно-славянских сопоставлений сходство легенды о Киеве и арм. Куаре отмечал Г. А. Капанциан (см.: Капанциан Г. А. Историко-лингвистические работы, т. II. Ереван, 1975, с. 249). Значительный интерес в той же связи может представить обнаружение в других восточных источниках таких упоминаний Киевской Руси, как тюркское свидетельство о *Jawqij* (=турк. *yağçı*, ср. об этом слове, выступающем в качественитула правителя: Иванов В. В. Языковые данные о происхождении Кушанской династии и тохарская проблема. «Народы Азии и Африки», 1967, № 3, с. 116) *Ulad-mur*, отождествляемое с Владимиром, (см. Menges K. H. *Uladmur ~ Vladimir*.—IJSLP, vol. XIX, N3, p. 7—12, ср. там же, р. 11, о возможной хронологии появления названия Киев по сравнению с другими топонимами того же ареала типа *Σχεζτάς*).

быть включены в гораздо более широкий контекст славяно-иранских и славяно-кавказских параллелей, ср. загадочную близость имен героев типологически сходного мифа груз. *Kopala* и его брата — кузнеца *Pirkushi* с близкими по функциям славянскими мифологическими персонажами *Kupala* (что отмечал уже тот же Марр), *Перун*, ср. *Перушице*, лит. *Perkūnas* и т. п.

Важнейшая часть древнеармянского предания сообщена Зеноном Глаком (около VII в. н. э.) в следующей форме: «...венценосец убил обоих братьев, не знаю из-за чего, и дал власть трем их сыновьям — Куару, Мелтею и Хореану, а Куар построил город Куары, и назван он был Куарами по его имени, а Мелтей построил на поле том свой город и назвал его Мелтей; а Хореан построил свой город в области Палуни и назвал его по имени Хореан. И по прошествии времен, посоветовавшись (друг с другом), Куар, Мелтей и Хореан поднялись на гору Каркея и нашли там прекрасное место с благородствием (воздуха), так как были там простор для охоты и прохлада, а также обилие травы и деревьев, и построили они там селение и поставили они двух идолов...»

О славянской легенде можно судить по летописному известию: «Полем же жившемъ особѣ и володѣющемъ и роды своими иже и до сее братѣ баху Полане. и живаху каждо съ своимъ родомъ и на своихъ мѣстѣхъ владѣюще каждо родомъ своимъ на своихъ мѣстѣхъ [и] быша г. браты. единому има К и а другому Щ е къ а третьему Х о р и въ и сестра ихъ Л ы б е д ь. сѣдяще Кии на горѣ гдѣже пыне оувозъ Боричевъ а Щекъ сѣдаще на горѣ. гдѣже ныне зовется Щековица. а Хоривъ на третьей горѣ от него же прозвася Хоревица и створиша градъ во имѧ брата своего старѣшаго и нарекоша имѧ ему К и е въ [и] баше около града сѣсь и боръ великъ. и баху ловища звѣрь баху мужи мудри и смыслени [и] парицахуся Полане. отъ нихъже есть Полане в Киевѣ и до сего дыне» (Лавр. летоп., стр. 9).

Название сестры *Лыбедь*, учитывая ландшафтные мотивировки (ср. *Девичь-гора*<sup>42</sup> над рекою *Лыбедь*) и при условии, что это

<sup>42</sup> При возможности сопоставления мотива трех братьев и сестры в летописном известии с фольклорным сюжетом, в котором участвуют три брата и сестра, можно обратить внимание на наличие в сказках этого типа девушки-богатырши по имени *Белая Лебедь* (Афанасьев, № 174), фонетически сопоставимым с *Лыбедь* (и могущим быть результатом переосмысливания последнего под влиянием сказочного мотива превращения богатырши в птицу).

В связи с проблемой символической значимости трех братьев — трех родоначальников в славянских традициях может представить интерес и возможная символическая интерпретация трех цветов в названиях Белой, Черной и Красной Руси, см. детальное обсуждение: *Mańczak W. Biała, czarna i czerwona Rus*.—«International Journal of Slavic Linguistics and Poetics» (IJSPL), 1975, v. XIX, N 2, p. 31—40; ср. к символике цветовых обозначений сторон света: *Reichenkron G. Historische Latein — Altromanische Grammatik*, I. Wiesbaden, 1965, S. 345; *Тернер В. У. Проблема цветовой классификации в примитивных культурах (на материале ритуала идембу)*. «Семиотика и искусствоведение». М., 1972, с. 73; *Dumézil G. La religion romaine archaïque*. Paris, 1966, p. 413, 534; *Иванов В. В. Заметки о типологическом и сравнитель-*

слово — не германизм, возможно, связывается со слав. \* *lūb-* (ср. russk. *лыбонь* ‘верхняя часть головы животного’), отраженным в обозначениях части головы (\**lъbъ*, *лоб* и т. д.) и возвышенных элементов рельефа (холм, взгорье и т. д., ср. russk. *взлобок* и т. д.); к суффиксу *-едь* ср. *мокр-едь* и др.

Название горы, в летописи приуроченной к имени Кия, — *оувозъ Боричевъ*, сопоставимо с древнебалканским названием ‘горы’, в частности в Македонии<sup>43</sup>, родственным славянскому названию ‘горы’.

В упомянутом армянском рассказе о трех братьях названа гора *Qarqe*, что можно сравнить с античным *Кархунтис* в качестве названия города и реки в низовьях Днепра<sup>44</sup>. Вместе с тем эти названия напоминают многочисленные производные от \**kark-* в связи с основным мифом.

В частности, этот корень играет особую роль в связи с циклом преданий об основании другого крупнейшего древнего поселения славян — Кракова. Наряду с этим корнем в том же предании выступает корень \**uel-*, совпадающий с именем противника главного героя в мифе, и с предполагаемой основой, отраженной в названии Змеева вала и днепровского порога *Booulyutrâk*, который уже сравнивался с краковским названием *Wawel* (ст.-польск. *Wawel*)<sup>45</sup>. Корень *wel-* в *Wa-wel*, объясненном из сочетания с приставкой *wa-* (ср. appellativi *wawel*, *wawoz*) должен быть связан с обозначением противника Громовержца (ср. *Велес* и т. п.)<sup>46</sup>. Это предположение могло бы найти подтверждение в старом предании о постройке легендарным Краком (ср. связываемый с ним холм *Kopiec Krakusa*) замка на горе *Wawel* и об убийстве им дракона, жившего на горе и пожиравшего людей и скот (*Tunc habitasse draco fertur sub rupe Vaveli*, XVI в.). Топография основных объектов Кракова (*Kopiec Krakusa*, *Kopiec Wandy*, *Wawel*, ср. также *Skalki krakowskie*, *smok wawelski*) как бы воспроизводит схему, лежащую и в основе киевской мифологизированной топографии. Исходя из подобных сходств и общей схемы основного мифа, можно предположить, что *Крак* выступает как одна из ипостасей

но-историческом исследовании римской и индоевропейской мифологии. «Труды по знаковым системам», IV (Ученые записки Тартуского Государственного университета, вып. 236). Тарту, 1969, с. 70.

<sup>43</sup> Ср. о возможном иллирийском происхождении: *Krahe H. Die Sprache der Illyrier*. 1. Die Quellen. Wiesbaden, 1955, S. 74, 82, 97.

<sup>44</sup> Ср.: *Браун Ф. Разыскания в области гото-славянских отношений*. I. Готы и их соседи до V века. Первый период: готы на Висле.— В кн.: Сборник Отделения русского языка и словесности Сб. ОРЯС, т. LXIV, № 12. СПб., 1899, с. 219—220.

<sup>45</sup> *Rosipal C. Структура и стратификация древнерусских топонимов*. В кн.: Восточнославянская ономастика. М., 1972, с. 11.

<sup>46</sup> *Taszycki W. Historia i znaczenie nazwy Wawel*.—«Onomastica», 1955, I. Сочетание корня \* *uel-* с мотивом кузнеца, о котором см. неоднократно выше, представлено в именах искусных кузнецов в скандинавских сагах и песнях, ср. *Weland*, *Volundr* (см.: *Kabell A. Wieland*.—«Beiträge zur Namenforschung», 1974, 9, S. 102—114).

Змееборца. В этом предположении убеждает анализ названий с тем же корнем и прежде всего арабское обозначение Карпат как «гор *K(a)r(a)k(u)*», т. е. как «краковских», у географа XII в. Аль-Идриси<sup>47</sup>.

Арабская форма *K(a)r(a)k(u)* связана как с именами *Крака* и *Кракова*, так и с рядом ритуальных обозначений: название танца *krakowiak*<sup>48</sup>, одноименное название мальчика, участвующего в свадьбе *krakowiak* (ср. также *krakuła*, *krakulica*, *karkulica* — о куске искривленного дерева), а также упоминание формулы па *Krakowskom poli* в словацкой песне «На Jura»<sup>49</sup>:

Vidzeli, vidzeli  
na krakowskom poli  
stádo koní honí.

Сходные с подобными формулы в русских загадках («На поле Титенском...», «На поле Орлынском» и т. п.), ср. также «На горе Волынской... На горе Горынской», не говоря об образах как карколист, дуб корыков, дуб Прокурон (ср. др.-англ. *hearg* ‘идол’ — из \**karkus* ‘дуб’).

Аналогичные соотношения могут повторяться и на других территориях как славянских, так и балтийских.

Противопоставления, подобные различию Горы и Подола в Киеве, Краковской горы и Вавельского колодца в Кракове, могут повторяться и на других славянских территориях. Особенно показательно, что два ареала, наиболее близких к Карпатскому — *Подолье* и *Волынь* обозначаются таким же образом, ср. также *Wolin*, *Wleń* и другие подобные славянские названия. На балтийской территории особый интерес может представить пара связанных между собой топонимических названий в Юго-Восточной Литве *Dieveniškės* и *Krakūnai*. В основе этого соотношения исторически могла лежать схема вида \**Dievas Perkūnas*: *Vel-in-* ‘черт’, переосмыслинная позже как *Dievas* ‘Бог’: *Perkūnas* (как замена названия черта) и далее *Dievas* — \**Krakūnas*, ср. лит. *krākas* ‘дракон’, ‘чудовище’ (с переосмыслинением в негативном плане); ср. также литовские гидронимы *Krakinis*, *Krakinys*, *Krakilė*, *Krakežeris*, *Krakavas* (еž.), *Kraklis* и т. п.

В связи со всем этим комплексом существенно выяснение образа ‘краковского дуба’ сохраняющегося в польско-литовской традиции (*dąb krakowski*).

Приведенные названия типа древнего обозначения Карпат если не этимологически, то, во всяком случае, анаграмматически

<sup>47</sup> Lewicki T. Polska i kraje sąsiednie w świetle «Księgi Rogera» geografa arabskiego z XII w. Al-Idrisi'ego, cz. 1. Kraków, 1945, str. 135 и др.

<sup>48</sup> Ср. в связи со сказанным выше о *skokъ* (Щек), *скакати*, *скок* в значении ‘плысать, плысака’.

<sup>49</sup> Melicherčík A. Slovenský folklór. Bratislava, 1959, N 57, s. 93. Существует и тот вариант краковской легенды, в котором дракона убивает не Крак, а *Światy Jerzy* (см.: Kolberg O. — «Lud», t. 19, N 444; t. 21, p. 91).

связаны с другим названием, производным от обозначения героя основного мифа и дуба — его атрибута \**perkʷ-*, ср. возможность сходного объяснения и по отношению к корню типа *karp-* при таком же названии, характерного для Карпатской области дерева граба, отраженном в балтийском и балканском ареале в виде \**skrēb-*<sup>50</sup>, ср. употребление основы *karp-* в качестве этнонима, то-понима и теофорного имени в средиземноморской области: ср. микенское греческое *ka-pa-ti-ya* (в пилосских текстах), гом. *Krápāθos* (остров подле Родоса) и т. п.

Продолжая сопоставление киевской легенды с краковской, следует отметить сходство мотива трех братьев — основателей Киева в одном случае и ранних западнославянских государственных объединений, в другом.

В сравнении с Краком характерно имя другого основателя — *Ljاخ*, производимое обычно от праслав. *lēda*, *lēdina* как обозначения пустоши, нови, необработанной земли, в принципе годной для земледелия. Заслуживает внимания, что гурали (жители северных Карпат в пределах Польши, ср. *Polska* от *pole*, параллельное имени  *полян*, ср. «и начаста владѣть Поль ск о ю землею» (Лавр. летоп. 862 г.), о земле полян) называют *ляхами* именно равнинных поляков. Третье из западнославянских имен — *Ceh*, представляло собой не только фонетический, но и семантический коррелят к имени *Ljاخ*, обозначая отличный тип хозяйственного ландшафта и соответствующий тип культуры<sup>51</sup>.

Смежный с карпатским ареалом, для которого засвидетельствован этот же миф, охватывает Прибалтику и Белоруссию, где в то-понимии и антропонимии широко засвидетельствованы различные наименования обоих основных участников мифологического поединка (не говоря уж о более непосредственных данных). В частности, есть основание думать, что тот же корень *Vel-*, обозначающий имя противника Бога Грома, отражен и в таких речных названиях, как *Velētupis* (ср. *велетов* — волотов как восточнославянских мифологических великанов), *Velīōnē*, *Vēlyš*, *Veliuona*, *Velīupēlēs*, *Veliū*, *upēlis* и т. п. (ср. сходное имя балтийского бога загробного мира и обозначение покойника и соответствующих ритуалов), *Velniāravis*, *Vēlnežeris*, *Velniabalē*, *Vēlniadaubē*, *Vēlnio Gylē*, *Vēlnio upēlis*, *Velniupýjs*, *Velnýnē* и т. п. (ср. сходное имя черта, преследуемого *Perkūnas*’ом). Принимая во внимание сказанное выше, а также синонимию *Vilija* — *Neris* (от *nérīti*, в частности, ‘нырять’; использование этого корня в гидронимии хорошо засвидетельствовано на всем пространстве от Балкан до При-

<sup>50</sup> Friedrich P. Proto-Indo-European. Trees, Chicago, 1970, p. 100—102; ср.: Jokl N. Zur Vorgeschichte des Albanischen und der Albaner.— «Wörter und Sachen», 12, 1929, S. 71—75.

<sup>51</sup> Jakobson R. Die Reimwörter Čech-Lech.— In: Selected Writings, II. «Word and Language». The Hague-Paris, 1971, p. 609. Несколько иначе см.: Rospond S. Struktura pierwotnych etnonimów słowiańskich.— «Rocznik Slawistyczny», 1968, 29, cz. 1, s. 22, 23 (\**Lestb*, \**Custb*).

балти), в названиях рек *Vilija*, *Vilnia* (*Vilnēlē*) и самого города *Vilnius* можно видеть следы этого мифа. Эти и подобные им названия на теперешней балтийской территории продолжаются на восток и юго-восток в названиях типа *Велеса*, *Вилейка*, *Веленя*, *Веленка*, *Вельна*, *Велетовка* и т. д., балтийских по происхождению, но позднее вовлеченных в круг славянской гидронимии, а далее вплоть до северорусских названий типа *Волосово*, *Волотов* монастырь и под. В очерченных географических пределах и следует искать территорию, где сложилась белорусская этнолингвистическая общность<sup>52</sup>, выделившаяся из более раннего балто-славянского этно-лингвистического комплекса. Сколько-нибудь четкое противопоставление этих двух элементов (балтийского и славянского) по отношению к названным наименованиям оформилось лишь в довольно позднее время.

Приурочение к Вильнюсу схемы основного мифа вытекает не только из анализа имени города и реки, по которой город был назван, но и из раннеисторических свидетельств. К их числу нужно отнести, с одной стороны, полулегендарный летописный рассказ Стрыковского об основании Вильнюса — о сне Гедимина (железный волк и т. п.), заснувшего на Турьей (позже — Замковой) горе<sup>53</sup>, истолкованном жрецом Лиздейко (от лит. *lizdas* ‘гнездо’, ср. *Popiel* из *Гнезно*, также от ‘гнездо’), а с другой стороны, сведения об основании Герымундом во 2-й половине XIII в. капища Перкунаса у подошвы Турьей(Замковой) горы при впадении ВильNELI в Вилию (Нерис), т. е. в так называемой долине Свинарьторга<sup>54</sup>. Учитывая уже отмечавшуюся связь тура с Громовержцем, можно констатировать сосуществование основ *Perkūn-* (*Taur-*) в отнесении к горе и *Vel-n-*, *Vil-n-*, в отнесении к низу и воде на месте первоначального культового центра Вильнюса. Как топонимические свидетельства на территории Литвы, так и данные литовских народных преданий и легенд этиологического характера, подтверждают повторяемость подобной схемы и в других местах Литвы; ср. мотивы деятельности великанов или черта, ведьмы, отраженные в ландшафте — насыпание гор, запруживание реки, появление реки из крови великанов, вырывание деревьев, возникновение камней, строительная деятельность великанов, основание городищ и селений, происхождение языческих обрядов, местных названий и т. п.<sup>55</sup>

<sup>52</sup> Характерно, что именно здесь особенно хорошо сохранился основной миф.

<sup>53</sup> Ср.: ...поехал... кнѧзь великий Кидимин в ловы отъ Троков... и наиде гору красную над рекою Вилиею, на которой наиде зверь великий(о) тура и оубьет его на тои горѣ гдѣ иныи зовут Тур кі гора ... (ПСРЛ, т. XVII, 261).

<sup>54</sup> Ср.: ...на улуце на Швинарторзе мѣстцо на пупты велми хорошо подле реки Вельи гдѣ река Вилья упадывает у Велью (ПСРЛ, т. XVIII, 305); ср. *Šventā-ragis* (вост.-лит.): \**Taurgė-ragū* (>*Tauragė*). См. также *Narbutt T. Dzieje starożytnego narodu litewskiego*, т. I. Wilno, 1835, s. 213 и сл.

<sup>55</sup> Ср.: *Kerbelytė B. Lietuvių liaudies padavimų katalogas*. Vilnius, 1973.

В связи с отмечавшимися выше мотивами куска искривленного дерева (предпазначавшегося, видимо, для ритуального использования) и обозначения участника мифа по названию его орудия или основного атрибута (Кый — кий и т. п.), обращает, конечно, на себя внимание имя главного участника ритуалов, приуроченных к капищу Перкунаса, верховного жреца *krīvis*, *krīvē*, *krivaitis* (ср. *krivaitē* как обозначение жрицы-помощницы Криве-Кривайтиса). Персонаж с этим же именем хорошо известен в прусской традиции. С этими названиями самым непосредственным образом связаны обозначения искривленной палки *krivē*, *krivūle*, которая была основным атрибутом Криве<sup>56</sup>, а позже — атрибутом сельского старости, когда он созывал народ на сходку. В данном случае следует напомнить, что атрибуты такого рода (ср. скипетр, тирс и т. п.) обычно являются трансформацией более древнего образа мирового дерева (в частности, дуба; ср. дуб *коръков*, *карколист*, *karkulica* и т. п.; лит. *krivūlē* и т. д.). Вместе с тем все названные литовские слова принадлежат к той же группе, что и *kreivvas* ‘кривой’, ‘косой’, ‘некоторый’, ‘скрюченный’ и т. п. (ср. *kreiva linija* ‘кривая линия’, *kreivarāgis* ‘криворогий’; ср. выше *Šventaragis*, *kreivasākis* ‘с кривыми ветвями’ и т. д.), *kreivē* ‘кривая линия’, *kreivkelis* ‘кривой путь’, *kreivulis* ‘кривое дерево’ и т. д. Такие слова, как *krīvis*, о кривом человеке, дереве и т. п. или *krīvis* в значении ‘левый’ (LKŽ VI, 660, ср. мотив, связанный с древнегреческим мифологическим царем Лайем) и т. п., еще неоспоримее связывают воедино перечисленные слова<sup>57</sup>. В связи с этим же корнем, обнаруживающим уже в литовском свою амбивалентность (обозначение верховного жреца и его священного атрибута, с одной стороны, и всей сферы кривого, неправедного, отрицательного, с другой), нельзя пройти мимо его использования в этнических названиях, которые, в частности, отражают контакты данного племени с соседним. Ср. восточнославянских *кривичей* (чье название известно и из ранних летописей, и из свидетельств Константина Багрянородного — Кривитъюи, Кривитъюи) и обозначение латышами русских и России словами того же корня — *krīevs*, *krīevisks*, *Krievija*<sup>58</sup>. При этом существенно, что в мифологизированной традиции имя кривичей связывалось с родоначальником этого племени — *Krīvъ*<sup>59</sup>.

Рассмотренные выше мифологические имена засвидетельство-

<sup>56</sup> Ср.: *Ansai garsusis Crivēs* (*krivēs*) «baculum» *buvusi krivūlē* (Būga, см. LKŽ, VI, 1962, 661). Несомненно использование *krivūlē* в гаданиях, о чем можно судить как по типологическим параллелям, так и по более непосредственным свидетельствам.

<sup>57</sup> Ср. гидронимы: *Kréivé*, *Kreīvežeris*, *Kreīvažeris*, *Kreiviai*, *Kreivys*, *Kreivbūj* *Kreivonis*, *Kreivūte*, *Kreivakiškis*, *Kreivakraantiš* и т. п.

<sup>58</sup> Ср. также лтш. \**krievs* ‘кривой’ (:лит. *kreivas*). См. K. Mülenbachs, J. Endzelins. *Latviesu valodas vārdnīca*, 2, с. 285.

<sup>59</sup> См.: *Perwolf J. Slavische Völkernamen*. — «Archiv für slavische Philologie», 1885, 8, S. 594 и сл. Ср. выше о Лайе — отце Эдина.

валь, по существу, на всей рассматриваемой территории древнего расселения славянских и балтийских племен подобно тому, как «древнеевропейские» гидронимы в смысле Краэ известны по всей области от Скандинавии до Италии и от Британских островов до Балтийского моря<sup>60</sup>. Процесс перенесения некоторых из изученных наименований достаточно наглядно обрисован в самых ранних источниках, ср., например, летописное известие «идущо же ему опять, приде къ Дунаеви, и възлюби мѣсто, и сруби градокъ малъ, и хоташе сѣсти с родомъ своимъ; и не даша ему ту близъ живущи, еже и донынъ паричютъ Ду[на]ици городище Киевецъ». Сочетание «градъкъ малъ» в этом известии соответствует древнему наименованию типа *Новгород*, первая часть которого является общесиндоевропейской, как и самый тип наименования (ср. греч. Νεάπολις, галл. *Noviodunum*<sup>61</sup>, аналогичные наименования в среднеиндийских текстах и т. д.), отражающий характерный для индоевропейских племен тип расселения.

Таким образом, перенесение одного и того же сценария, восходящего к основному мифу, приспособление его каждый раз к конкретным локальным условиям и обыгрывание амбивалентного характера имен участников мифа постоянно фиксируется на всей указанной территории (в отличие, видимо, от других смежных ареалов). В этой особенности с полным основанием можно видеть еще один важный источник сведений об этногенезе и ранней истории славян, хотя этот источник выступает в сильно мифологизированной форме и нуждается в предварительной реконструкции.

## ИЗОГЛОССНЫЕ СВЯЗИ ЮЖНОСЛАВЯНСКОЙ ЛЕКСИКИ

(Материалы к проблемам славянского этногенеза)

Л. В. Куркина

В решении проблем славянского этногенеза немаловажное значение имеют данные лексики. До недавнего времени основные выводы о формировании и развитии отдельных групп славянских языков делались преимущественно на материале фонетики и морфологии. В настоящее время актуальной для славянского языкоznания признается задача выявления специфических особенностей в словарном составе отдельных славянских языков. Тема данной работы — сопоставительное изучение лексики словенского и сербохорватского языков с целью выделения изолекс, дифференцированных характеризующих западную и восточную части южнославянских языков.

Южнославянские языки на основании ряда фонетических, морфологических и типологических черт делятся на две части — западную и восточную. Но принятое деление условно, и действительная картина диалектных связей и отношений сложнее и многообразнее. Уже давно замечено, что для штокавского диалекта, занимающего большую часть территории сербохорватского языка, прослеживаются глубокие связи с болгарским языком, а словенскому оказывается ближе всего чакавский, чакавский и хорватско-кайкавский диалекты сербохорватского языка. В географическом отношении — это центр и юго-западная окраина ю.-слав. территории<sup>1</sup>.

В настоящей работе на первый план выдвигается задача структурно-генетического выделения лексических единиц, которые составляют исключительную принадлежность словенского и сербохорватского языков и отсутствуют в болгарском, македонском и старославянском. При отборе материала основным и определяющим является факт полного отсутствия соответствующих лексем во всех языках восточной группы. Следует заметить, что для некоторых словенско-сербохорватских изолекс прослеживаются связи не во всей восточной группе, а только в болгарском языке и

<sup>60</sup> Schmid W. P. Alteuropäisch und Indogermanisch (Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse). Jg. 1968, N 6). Wiesbaden, 1968. Ср. также указанные Порцигом индоарийские параллели и обнаруженные Б. Розенкранцем гидронимы того же типа в древней Малой Азии. К соотнесению с археологическими данными, намеченному еще Чайлдом, см. теперь: Piggott S. Chariots in the Caucasus and in China.— «Antiquity», vol. XLVIII, 1974, N 189, p. 16—24.

<sup>61</sup> О типе \**poučjo-* ср.; Порциг В. Членение индоевропейской языковой области. М., 1964, с. 300; ср. к семантике: с. 242, 89, там же о типе расселения древних индоевропейских племен.

<sup>1</sup> Все вопросы, связанные с проблемой этногенеза южных славян, историей развития ю.-слав. языков и становлением внутридиалектных связей, нашли отражение в фундаментальном исследовании И. Поповича «История сербохорватского языка» (*Popović I. Geschichte der serbokroatische Sprache*. Wiesbaden, 1960), особенно гл. VI и VII (далее — *Popović*). При обсуждении той или иной проблемы дается анализ основных подходов и в конце раздела приводится подробная библиография. Это обстоятельство освобождает нас от необходимости углубляться в историю вопроса и давать освещение диалектного состава ю.-слав. языков.

его диалектах или только в македонском и старославянском. Для примера укажем словен. *klôp*, і ж.р. 'скамейка', с.-хорв. *klip* м. и ж.р., *klipa* то же и ц.-слав. *кліпъ*, *клупы* то же; словен. *lâ-loka* ж.р. 'челюсть', с.-хорв. сев.-зап. *lâloka* то же и ц.-слав. *ла-loka* 'palatum'; словен. *lêtez* м.р. 'балка, стержень', с.-хорв. *ljëtëz* то же и макед. *лемезица* то же. Проблема выявления соответствующего материала в македонских и болгарских диалектах требует специального изучения и пока остается за пределами нашего исследования.

Таким образом, нас интересует тот лексический материал, который различает западную и восточную части ю.-слав. языков. В западной части ю.-слав. языков выделяется несколько десятков слов, в большинстве своем не известных языкам восточной группы, но посящих характер ранних образований.

Ограничиваая, таким образом, тему исследования, нельзя не признать, что используемое понятие словенско-сербохорватская лексическая изоглосса имеет несколько расплывчатый и неопределенный смысл уже потому, что эту языковую территорию характеризует большая диалектная дробность и неоднородность. В неоднородной языковой среде для полноты и строгости картины необходимо, чтобы все устанавливаемые изоглоссы получали диалектную привязанность, были четко обозначены в пространстве. Пространственная характеристика изолекс важна для определения основных направлений изоглосс, установления зон, наиболее близких в лексическом отношении. Предварительные наблюдения показывают, что многие лексические изоглоссы сконцептуированы в юго-западном районе и могут быть определены как словенско-кайкавские, словенско-чакавские. Однако в большинстве случаев мы лишены возможности показать диалектную принадлежность изучаемых изолекс. Основным препятствием является неразработанность южнославянской лексикографии. Очень слабо изучен лексический состав многочисленных диалектов словенского языка. Отсутствуют словари отдельных диалектов сербохорватского языка, затрудняет работу, в частности, отсутствие чакавского словаря<sup>2</sup>. А приводимые в лексикографических источниках географические пометы типа Далмация, Истрия не всегда могут быть однозначно истолкованы в плане диалектной характеристики той или иной лексемы, потому что это области, смешанные в диалектном отношении. Диалектное направление словенско-сербохорватских лексических связей удается проследить лишь в тех случаях, когда используемые источники содержат необходимые для этого сведения.

Обследование словаря ю.-слав. языков с целью выделения лексем ограниченного распространения представляется задачей важной и интересной. Внутриюжнославянские лексические связи

<sup>2</sup> К сожалению, нам оказался недоступен «Словарь острова Вргаде» Б. Юришича (*Jurišić B. Rječnik govora otoka Vrgade*, II. Zagreb, 1973, 256 р.).

пока еще мало изучены. Основное внимание исследователей сосредоточено на изучении южнославянской лексики (преимущественно восточной группы) в связи с интенсивно разрабатываемой карпатской проблематикой. На особенно тесную лексическую близость юго-западного ареала впервые обратил внимание хорватский лингвист М. Тентор. В своих работах М. Тентор стремился показать лексическую и семантическую общность чакавского наречия о. Црес с кайкавским наречием и словенским языком. Эта близость, по мысли Тентора, является отражением совместной жизни на старой родине<sup>3</sup>.

Лексическим диалектизмам ю.-слав. языков отведено большое место в исследовании И. Поповича. При этом И. Попович исходит из положения, в свое время выдвинутого И. Лековым и Ф. Конечным: 1) словенский и сербохорватский, несмотря на большую близость грамматических структур, в отношении словаря не образуют единства; 2) наибольшее число словарных соответствий связывает сербохорватский и болгарский языки<sup>4</sup>. Подчеркивая мысль об отсутствии резких границ между отдельными языками и диалектами, И. Попович развертывает во времени сложную многослойную картину диалектных связей, уточняет характер болгарско-сербохорватских отношений, ограничивая их по преимуществу связями со штокавским диалектом сербохорватского языка. В разных частях его обширного исследования находим лексический материал, иллюстрирующий наличие штокавско-болгарских, словенско-чакавских связей<sup>5</sup>. В работе четко определяются основные направления изолекс в юго-западной области: 1) словенско-чакавско-далматинско-черногорские соответствия (ср. словен. *ceno* нареч. 'дешево' ~ чак. *ceno*, *ceni*, *cino*, *cine* ~ черногорск. *cijene*, то же при шток. *-cen*, *-cjen* 'дорого'), 2) словенско-чакавско-шчакавские соответствия (ср. словен. *mat* 'мать', сокращенная форма от *mati* ~ чак. *mat*, шчак. *mat* при шток. *mati* и шток., макед., болг. *majka*), 3) словенско-шчакавские соответствия (ср. словен. *beseda* 'слово' ~ чак. *beseda*, *besida* то же при шток. *reč*, *riječ* 'слово', болг. *слово*). В одной из работ И. Поповича намечена проблема вторичного лексического сближения словенского и западного штокавского диалекта в юго-западной Истрии под влиянием чакавских и кайкавских говоров<sup>6</sup>. Очень плодотворной представляется мысль И. Поповича о возможности диахронического истолкования внутриюжнославянских диалектизмов, различающих западную и восточную части: одни восходят к прасла-

<sup>3</sup> Tentor M. Der čakavische Dialekt der Stadt Cres (Cherso). — «Archiv für slavische Philologie» (далее — AfslPh), 1909, XXX, s. 146—204; *idem*. Leksička slaganja canskoga narječja i slovenskoga jezika protiv Vukova jezika. — In: Razprave SAZU [Ljubljana], 1950, I.

<sup>4</sup> Popović, s. 24.

<sup>5</sup> Ibid., гл. I, § 10, с. 25—28; гл. VII, § 92, с. 321—324.

<sup>6</sup> Popović I. Dalmatinski i istarski elementi u rečniku istarskih štokavskih govora. — «Riječka revija», 1957, VI, 3, s. 66—72.

вянской эпохе и отражают начавшийся процесс диалектной дифференциации праславянского языка, другие сложились в период миграции южных славян и после переселения на Балканы. Однако приводимый И. Поповичем лексический материал очень невелик по объему и неоднороден по составу. Он включает без всякого расчленения фонетические и словообразовательные варианты, а также чисто лексические расхождения. При характеристике диалектных связей лексические сопоставления оцениваются с разных сторон — в структурно-генетическом плане и в плане функционирования генетически тождественных лексем в языке (ср. выше словен. *beseda* ~ шток. *reč* ~ болг. *слово*), но при отборе и оценке материала это различие в подходе не осмысляется. Смещение лексического тождества и однозначного использования разных лексических единиц во многом определяет пестроту и фрагментарность лексического материала, иллюстрирующего то или иное направление диалектных связей. Исследование И. Поповича богато интересными мыслями и наблюдениями, в нем как бы заложена программа будущих изысканий по южнославянской диалектологии и лексике.

В последнее время к проблеме южнославянских лексических связей, в частности словенско-чакавских, обращались Ф. Славский<sup>7</sup>, Ф. Безлай<sup>8</sup>. Интересные наблюдения об отношении чакавской лексики к лексике словенского языка и штокавского говора содержит работа С. Зайцевой, проделанная под руководством П. Ивича<sup>9</sup>.

При изучении, внутриюжнославянских лексических связей следует подчеркнуть, что настояще исследование строится на структурно-генетическом сопоставлении лексических единиц. При этом нас интересуют по преимуществу древнейшие слои лексики, реконструируемые для праславянского состояния. Принципы и методика отбора и реконструкции праславянских лексем разработаны О. Н. Трубачевым<sup>10</sup>. При отборе диалектизмов, различающих западную и восточную части ю.-слав. языков, наиболее показательны и поучительны не продуктивные явления в области словообразования, а более изолированные факты словаря, простые лексемы, не осложненные суффиксально-префиксальными эле-

<sup>7</sup> Ślawski F. Związek słowników czakawsko-słoweńskich. — «Sprawozdania z prac naukowych wydziału nauk społecznych. Polska akad. nauk», [Warszawa] 1962, V, 5.

<sup>8</sup> Bezlaj F. Zajednička problematika slovenske i čakavske leksike. Zadar, 1967.

<sup>9</sup> Zajceva S. Specifična slovenska leksika u savremenim čakavskim govorima. — «Прилози проучавању језика» [Нови Сад], 1967, III.

<sup>10</sup> Трубачев О. Н. Этимологический словарь славянских языков. Пропспект. Пробные статьи. М., 1963; он же. О составе праславянского словаря. — В кн.: Славянское языкознание. В Международный съезд славистов. М., 1963, с. 159—196; он же. О праславянских лексических диалектизмах сербо-лузицкого. — В кн.: Сербо-лузицкий лингвистический сборник. М., 1963, с. 154—172.

ментами. Определяя объем и задачи работы, отметим, что стратиграфия лексико-словообразовательных элементов внутри ю.-слав. языков не входит в задачи нашего исследования.

Основным лексикографическим источником для словенского языка послужил «Словенско-немецкий словарь» М. Плетеरшика<sup>11</sup>, для сербохорватского — словарь Югославянской Академии<sup>12</sup> и двухтомный словарь Ивековића-Броза<sup>13</sup>. Дополнительно, по возможности, привлекались различные диалектные словари, сведения о которых будут сообщаться по мере приведения соответствующего материала. При установлении лексических соответствий мы опирались на этимологическую литературу и исследования, посвященные славянской лексике. Особо следует подчеркнуть, что в работе использованы словарные и этимологические материалы Сектора этимологии и ономастики Института русского языка АН СССР, в частности составленные здесь картотеки праславянских словарников для словенского и сербохорватского языков<sup>14</sup>. Интересующие нас материалы на буквы *A*, *B*, *C*, *Č* извлечены из уже подготовленных к печати четырех выпусков «Этимологического словаря славянских языков»<sup>15</sup>.

Материал подается следующим образом. Вначале для устанавливаемого соответствия приводится реконструированная праславянская форма, а рядом с ней соответствующий лексический материал. И, если позволяют источники, сообщаются необходимые сведения о географическом распространении лексем. В скобках указываются использованные источники. Некоторые диалектные словари, из которых сделаны единичные извлечения, вынесены в сноски. Словенский и сербохорватский языки еще неудовлетворительно обследованы в этимологическом отношении, поэтому устанавливаемые для них соответствия в ряде случаев нуждаются в специальном обосновании. Чтобы не разбивать изложения, не перегружать его этимологическими рассуждениями, указания на этимологическую литературу и сами этимологические истолкования даны в сносках.

<sup>11</sup> Pletešnik M. Slovensko-nemški slovar, I—II. Ljubljana, 1894—1895 (далее — Plet. I, II). Частично использован «Slovar slovenskega knjižnega jezika», I. Ljubljana, 1975 (далее Slovar slov. kn. j.).

<sup>12</sup> Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I—XVIII. Zagreb, 1880—1963 (далее — RJA).

<sup>13</sup> Ivezović I., Broz I. Rječnik hrvatskoga jezika, I—II. Zagreb, 1901 (далее — Ivezović — Broz).

<sup>14</sup> Праславянский словарник для сербохорватского языка составлен И. П. Петлевой. Частично материалы этого словаря (*A* — *M*) опубликованы (см.: Петлева И. П. Праславянский слой лексики сербохорватского языка, I, II.— В кн.: Этимология. 1968. М., 1971, с. 114—156; Этимология. 1971. М., 1973, с. 20—57).

<sup>15</sup> Этимологический словарь славянских языков (Праславянский лексический фонд), вып. 1 (*A* — \*besēdylivъ). М., 1974; вып. 2 (\*bezъ) — \*bratrъ). М., 1975; вып. 3 (\*braťscъ С). М., 1976; вып. 4 (\*caběniti — \*cívorič). Гл. ред. и автор текста чл.-корр. АН СССР О. Н. Трубачев.

Материал, отражающий лексические различия западной и восточной части ю.-слав. языков, не допускает однозначной интерпретации, требует дифференцированного подхода, последовательного расслоения, выявления хронологически различных пластов. В самом общем виде поддаются выделению три слоя региональных элементов, различных по своей природе и происхождению. Во-первых, ряд древних лексем, общих для словенского и сербохорватского, не обнаруживает соответствий даже на уровне корней в восточной части ю.-слав. языков. Сам факт отсутствия лексем является отличительным показателем словаря болгарского, македонского и старославянского языков. С другой стороны, эта часть словенско-сербохорватских соответствий наряду с древнейшими лексемами, унаследованными из праславянской эпохи, включает относительно поздние образования, возникшие в период жизни на новой родине и явившиеся результатом сложных миграций славян и влияния субстрата. Во-вторых, большой пласт лексических различий обусловлен разрушением этимологических связей основ, утратой одного из членов аблautного ряда. Обе части ю.-слав. языков сохраняют лишь отдельные звенья некогда единого этимологического гнезда. И, наконец, различия между ю.-слав. языками прослеживаются на уровне древних словообразовательных формантов. Для общих исходных основходим разный набор производных, достаточно древних, в западной и восточной частях ю.-слав. языков. Особого внимания заслуживают факты семантического расхождения лексем, общих для всех ю.-слав. языков. В нашем распоряжении имеется большой материал, объединяющий случаи различного словообразовательно-морфологического оформления, но из-за недостатка места мы лишены возможности рассмотреть эти основы.

На фоне общего ю.-слав. словаря отчетливо выделяется группа исключительно словенско-сербохорватских лексем. Выводы о лексических изогlossenах во многом отражают состояние лексикографии и поэтому не могут претендовать на абсолютную достоверность. Бесспорным и достоверным следует признать лишь факт наличия лексемы в той или иной языковой области. Поэтому полученные нами результаты не имеют абсолютной силы и не исключают возможных поправок, уточнений и дополнений.

Список словенско-сербохорватских изолекс включает следующие образования:

\*арypo/\*варypo: с.-хорв. диал. *jánpo*ср. р.= *vanpo* (Вук; RJA: с XVI в.), ср. еще *janjnica* ж. р. ‘der Kalkofen, die Kalkhütte, calcaria’ (хорв., Вук; RJA: с XII—XIII вв.), словен. *árpo* ср. р. ‘известь, варпо’ (Plet. I, 5), *járpō* то же (Plet. I, 358).<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Цитируется по кн.: Этимологический словарь славянских языков, вып. 1. М., 1974, с. 72. Предполагается возможность связи \*арypo/\*варypo «с большой группой архаических и.-е. основ, обозначающих воду, из которых часть объединяется вокруг \*ár-, другая часть — вокруг \*iip-, (ступень редукции?). Формы вроде \*iárp- могли произойти от взаимодействия обоих рядов».

\*азъ: с.-хорв. *jáz* м. р. ‘рыба *Idus melanotus*’ (RJA IV, 500), словен. *jéz* м. р. ‘плотва, язъ’ (Plet. I, 369). Ср. далее русск. язъ, польск. *jaż* и др.<sup>17</sup>

\*belbetati: с.-хорв. *blebētati* ‘болтать’ (Вук), диал. *blebēčat* ‘говорить невнятно’ (Елез. I), словен. *blebetati* ‘болтать’ (Plet. I, 33). Ср. чеш. *blebetati*, *blebotati* ‘невнятно бормотать’, русск. диал. *блебетать* ‘лепетать, мялить; болтать пустяки’ (Даль 2 I, 235) и др.<sup>18</sup>

\*bolent/\*bolens: с.-хорв. *kajk*, *bolen riba* ‘pristis, pistris, prestis, pistrix’ (Белостепец), словен. *bólen*, род. п. -ena м. р. ‘жерех *Aspius garax*’ (Plet. I, 43). Ср. ст.-чеш. *bolens* м. р. ‘*Aspius aspius*’ (1471 г., Gebauer I, 83) и др.<sup>19</sup>

\*bréča/\*bréčka: с.-хорв. *bréče* ж. р. мп. ч. ‘*vinacea*’ (RJA I, 621), также *bráče* (из лат., см. RJA I, 574), словен. *bréča* ж. р. ‘древесный сок, особенно вишневая смола’ (Plet. I, 54). Ср. ст.-чеш. *bréčka* ж. р. ‘медовое сусло’, польск. *brzeczka* ж. р. ‘вытяжка из солода, (пивное) сусло’<sup>20</sup>.

\*bríñš/\*brína: с.-хорв. *bríñ* м. р., *brína* ж. р. ‘можжевельник’ (PCA II, 174), словен. *brín*, род. п. *brína* м. р. ‘можжевельник *Juniperus communis*’, *brína* ж. р. ‘можжевельник *Juniperus communis*, *Juniperus sabina*’, ‘хвоя, хвойные ветки, лапы’ (Plet. I, 61). Имеет соответствия в зап.-слав. языках: ст.-чеш. *bříenka* ж. р. ‘можжевельник’, польск. *bžit* ‘лиственница’<sup>21</sup>.

\*br'uzga: с.-хорв. диал. (Далм.), *bruzda* ж. р. ‘желобок, сток для ч.-л.’ (RJA I, 687: «ср. *bruzag* того же происхождения»), словен. *brjážga* ж. р. ‘тающий снег на дорогах’ *brázga* ж. р. ‘тающий снег вперемешку с грязью на дорогах’ (Plet. I, 63, 67). Ср. еще русск. *брюзга* м. и ж. р. ‘человек, который постоянно брюзжит’<sup>22</sup>.

\*čer̄tinš/\*čer̄tъx-: с.-хорв. диал. *cr̄jetuša* ж. р. ‘*Allium ur-sinum L.*’ (RJA I, 823: Лика), также *čeretuš* м. р. (RJA I, 943; хорв.), словен. *čr̄emha* ж. р. ‘черемуха *Rhus padus*’, *čr̄emsa*

<sup>17</sup> Там же, с. 127, 128. Проэтимологизировано как родственное лит. *ožys* ‘козел’.

<sup>18</sup> Там же, с. 263, 264. Толкуется как глагол, производный от не полноценно редуплицированной основы \*bel-bo с помощью интенсивирующего суфф. -(e)tati.

<sup>19</sup> Этимологический словарь славянских языков, вып. 2, с. 172. Отмечается, что «слово не вполне ясной этимологии, с характерным ограниченным ю.-зап. ареалом». О. Н. Трубачев предполагает влияние группы названий рыб средиземноморского района, а именно — греч. φίλλινα ‘кит’, лат. *billuena* то же.

<sup>20</sup> Этимологический словарь славянских языков, вып. 3, с. 15—16. Слово трудное. О. Н. Трубачев считает, что заслуживает серьезного изучения связь с кельтской лексикой (др.-ирл. *braich*, кимр. *brag* ‘солод’) и с лат. *frātes* м. р. мн. ‘осадок, подонки’.

<sup>21</sup> Там же, с. 30. Указывается широко распространенное мнение о дол.-слав.-дороман. или даже доиндевроп. субстрате. О. Н. Трубачев не исключает связь со слав. \*br̄iti < и.-е. \*bhr-.

<sup>22</sup> Там же, с. 35. Рассматривается как звукоподражательное образование, по-видимому, производное от гл. \*br'uzgati, представленного русск. диал. *брюзгать* ‘учить урок’.

ж. р., *črēnsa* ж. р., *črēns* м. р. то же (Plet. I, 109—110), *črénsa* ж. р. то же (Slovar slov. kn. j. I, 310), *srēmsa*, *srâmsa* ж. р. то же (Plet. II, 563, 558). Имеет соответствия в западных и восточнославянских языках<sup>23</sup>.

\*certa/\*certъ: с.-хорв. *črët*, род. п. *črëta* м. р. ‘болотистая местность, особенно в лесу’ (RJA II, 73), словен. *čréta* ж. р. ‘болотистое место, поросшее камышом’ (Plet. I, 110), диал. *čréta* ж. р. ‘общинный выгон’<sup>24</sup>, далее *črët* м. р. ‘болотистая местность’ (Plet. I, 110), *crêt* м. р. ‘вид горного кустарника’, ‘горная сосна *Pinus pumilio*’ (Plet. I, 87; Slovar slov. kn. j. I, 265), стар. *zhrét* ‘болотистый лес’<sup>25</sup>. Следы этой основы сохраняют северославянские языки<sup>26</sup>.

\*čev(ъ)ati: с.-хорв. *čëvkati* ‘лять, тявкать’ (RJA II, 18), словен. *čévkati* то же и ‘болтать’ (Plet. I, 102). Ср. еще русск. чёвкать ‘чиликать’. Изоглосса, охватывающая словенский, сербохорватский и русский языки<sup>27</sup>.

\*číjky: с.-хорв. *čížak*, род. п. *číška* м. р. ‘чиж *Fringilla spinus*’ (RJA II, 52), словен. *čížek*, род. п. *-žka* м. р. то же (Plet. I, 106). Ср. русск. чиж, чеш. *číž*, *čížek* то же и др.<sup>28</sup>

\*čuba/\*čubъ: с.-хорв. *čùba* ж. р. ‘cirrus’ (RJA II, 143), словен. *čúba* ж. р., *čóba* ж. р. ‘туба’ (препнебреж.), ‘обрубок, пенек’, ‘рант (обуви)’ (Plet. I, 143). Ср. чеш. *čub* ‘чуб, хохол (у птицы)’ и др.<sup>29</sup>

\*čuna/\*čumъ: с.-хорв. диал. *čûn* м. р. ‘клюв’ (RJA II, 153), *čunka* ж. р. ‘морда животного’ (RJA II, 100; с XVIII в.), словен. *čúna* ж. р. ‘большая свинья’, *čúnja* ж. р. ‘свинья’ (Plet. I, 117). Ср. чеш. диал. *čiňa* ж. р. ‘поросенок’<sup>30</sup>. \*čužiti: с.-хорв. *čúžiti* ‘идти по земле (только о птицах)’ (RJA II, 163), словен. *čúžiti* ‘обдирать (напр. кукурузу)’ (Plet. I, 118)<sup>31</sup>, ср. также *čužje* ‘кукурузная шелуха’. Возможно, соответствует польск. диал. *czužgać się* ‘скользить’<sup>32</sup>.

\*čymelъ/\*čymela: с.-хорв. *čmèla-pčela* (RJA II, 55), словен. *čmélj* м. р., *čmrlj* м. р. ‘пимель’, *črmélj*, *čmerélj* м. р. то же

<sup>23</sup> Этимологический словарь славянских языков, вып. 4, с. 107.

<sup>24</sup> Slovarski paberki.—«Ljubljanski Zvon» (далее.—LjZv, 1891, XI, с. 298).

<sup>25</sup> Jarnik U. Versuch eines Etymologikons der slowenischen Mundart in Inner-Oesterreich nach verlässlichen Quellen. Klagenfurt, 1832, S. XXII (далее — Jarnik).

<sup>26</sup> Там же, с. 130. Родственно лит. *kertù*, *kirsti* ‘резать’, русск.-целав. *чрьту*, *чрѣсти*.

<sup>27</sup> «Этимологический словарь славянских языков», вып. 4, с. 165. Звуко-подражательное образование.

<sup>28</sup> Там же, с. 209. Звукоиздражание.

<sup>29</sup> Там же, с. 210. Родственное \*skubti, \*skubq.

<sup>30</sup> Там же, с. 223. Экспрессивное слово неясного происхождения.

<sup>31</sup> См. также: Erjavec F. Iz potne torbe.—«Letopis Matice Slovenske» (далее — LMS), 1879, с. 136 (далее сокращенно — Erjavec LMS).

<sup>32</sup> Этимологический словарь славянских языков, вып. 4, с. 231. Близкое звукоиздражательное образование в лит.—čiažti ‘скользить’.

(Plet. I, 107; Slovar slov. kn. j. I, 307), *šmélj* м. р., *ščemélj* то же (Plet. II, 639). Далее во всех слав. языках<sup>33</sup>.

\*děža<sup>34</sup>: с.-хорв. *díža* ж. р. ‘сосуд для молока’ (RJA II, 6, 431), чак. *džž*, род. п. *džžja* то же<sup>35</sup>, словен. *déža* ж. р. ‘замешанное тесто’<sup>36</sup>, *dieža* ‘бочка’<sup>37</sup>, *díža* ‘чан, кадка для масла’<sup>38</sup>. Ср. русск. *дежá* ‘квашня’, чеш. *díž* и др.<sup>39</sup>

\*dorga: с.-хорв. чак. *drága* ‘долина, ущелье, залив’<sup>40</sup>, а также в качестве топонима в Хорватии и южной Сербии (Вук), словен. *dragá* ‘ров, канава, борозда, межа, ущелье в горах; морской залив’<sup>41</sup>, ‘борозда на лугу’ (Jarnik VIII). У северных славян только в значении ‘дорога’. Этого слова нет в с.-хорв. шток. и восточной части ю.-слав. языков<sup>42</sup>.

\*drékъ/\*dréčь: с.-хорв. чак. и сев. *drìječan* прил. ‘крепкий, сильный’ (RJA II, 8, 775; с XVII в.), словен. *drék*, *dréka* м. р. ‘die Corpulenz’, *dréčen*, -čna прил. ‘плотный, коренастый’ (Plet. I, 168). Ср. чеш. *dríčny*, *dryčný* ‘красивый’, слвц. *driek* ‘ствол, корпус’, *driečny* ‘коренастый’<sup>43</sup>.

\*dryxati: с.-хорв. *dríhati*, *dríhám* ‘крепко, сладко спать’ (RJA II, 8, 775; Дубровник, в наше время и Стулли), словен. *dríhati*, *driham* ‘спать’ (Plet. I, 172). Ср. русск. *dryxать*, *dryxhнуть*, слвц. *drychmat*<sup>44</sup>.

\*gajъ: с.-хорв. *gâj* м. р. ‘небольшой лес’ (Вук: с XV в.; RJA 111, 9, 89), словен. *gáj* м. р. ‘редкий ухоженный лес’, ‘лес (поэт.)’ (Slovar slov. kn. j. I, 665). Ср. русск. *гай* ‘роща’, чеш. *háj* то же и др.<sup>45</sup>

<sup>33</sup> Там же, с. 244. Праслав. \*čym- возводится к корню \*kem-/kom-, откуда \*komarъ.

<sup>34</sup> На букву Д использованы материалы слитой картотеки прадславянского словарника славянских языков Сектора этимологии и ономастики.

<sup>35</sup> Tentor M. Leksíčka slaganja, s. 72.

<sup>36</sup> Streljek K. Jezikoslovne mrvice.—LjZv, 1889, s. 100.

<sup>37</sup> Novak V. Ovčarstvo pod Stolom in v Planici.—«Etnolog», 1942, XV.

<sup>38</sup> Sašel J., Ramovš F. Narodno blago iz Roža.—«Arhiv za zgodovino in narodopisje» [Maribor], 1936—1937, II, s. 104. (далее — Sašel-Ramovš).

<sup>39</sup> Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Перевод с немецкого и дополнения О. Н. Трубачева, I. M., 1964, с. 494 (далее — Фасмер); Skok P. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I. Zagreb, 1971, с. 411 (далее — Skok).

<sup>40</sup> Tentor M. Leksíčka slaganja, s. 73.

<sup>41</sup> Ibid., s. 73.

<sup>42</sup> Popović, s. 323; Фасмер, I, с. 530.

<sup>43</sup> Miklosich F. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886, с. 50 (далее — Miklosich): сравнивает с венг. *derék*. Бернекер и Махек сопоставляют с лит. *draikus* ‘жесткий, крепкий’. См.: Berneker E. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg I, 1908, с. 223 (далее — Berneker, I); V. Machek. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha, 1957, с. 120 (далее — Machek<sup>1</sup>).

<sup>44</sup> Фасмер, I, с. 545.

<sup>45</sup> Miklosich, s. 59—60; Berneker, I, с. 291; Machek<sup>1</sup>, с. 120; Skok, I, с. 544; Фасмер, I, с. 382; F. Stawski. Słownik etymologiczny języka polskiego, I. Kraków, 1959, с. 249, 250 (далее — Stawski).

\*glyža: с.-хорв. *gliza* ‘глазда’ (RJA III, 9, 199), словен. *glíza* ‘железа’ (Plet. I, 218). Ср. еще чеш. *hlíza* ‘нарыв, абсцесс’ и блр. *elýza* ‘глыба’<sup>46</sup>.

\*gl̥tym-/\*glom-: с.-хорв. *gùmati*, *gùmāt* ‘глотать, быстро есть’, по мнению Ф. Безлайа, образует параллель с словен. *glométi*, *glomím* ‘быть жадным, настойчиво требовать’,ср. *krava glomi* по *mladini* ‘корова жадно щиплет молодую траву’ (Plet. I, 219)<sup>47</sup>. Возможно, родственно полесск. *glámat* ‘есть (о свиньях)’, *go-mból'ati* ‘есть, уминять, жевать’<sup>48</sup>.

\*gnatъ/\*gnать: с.-хорв. *gnját* м. р.-*knjat* (XVIII в.) ‘tibia, crīs’ (RJA III, 9, 220; Skok I, 577), словен. *gnat*, *gnjat* ж. р. ‘окорок, ветчина’ (Plet. I, 221—222). Ср. польск. *gnat* ‘кость, голень’ (XV в.), чеш. *hnát* ‘длинная кость’, перен. ‘рука, нога’. Восточно-славянские соответствия отсутствуют<sup>40</sup>.

\*gnědъ: хорв. kajk. и чак. *gnjed* прил. ‘смуглый’, *njad* ‘синий’, *njād* ‘красноватый’, *njādī* (Лика) ‘черноватый, темноватый’, *hnjad* то же (Skok I, 578), словен. *gnēd*, *gnedica* ‘сорт винограда с красноватыми ягодами’, Крас, Горица (Plet. I, 221; Slovar slov. kn. j. I, 705). Ср. русск. *гнедой*, польск. *gniady* ‘коричневый (о масти коня)’ и др.<sup>50</sup>

\*godr-: с.-хорв. *godrňati* ‘говорить тихо, невнятно’ (RJA III, 10, 214) и словен. *godrati* ‘клохтать’ (Plet. I, 225). Звукоподражательное образование <sup>51</sup>.

\*golda/\*goldja. с.-хорв. *glāda* 'шалаш, хижина пастуха, сделанная из дерева и покрытая корой' (Вук: Черногория, в

<sup>48</sup> Дальнейшие соответствия определяет этимологическое истолкование. Махек сближает чеш. *hlíza* спольск. *guz* 'опухоль, шишка' < \**gzb* V. *Machek*. Etymologický slovník jazyka českého. Druhé, opravené a doplněné vydání. Praha, 1968. (далее — *Machek*<sup>2</sup>), с. 168). Безлай и Скок сопоставляют словен. *glíža* с диал. *gliva* 'зоб' и далее возводят к и.-е. \**glei̥gh-* < \**gel-* (*Bezlaj F. Eseji o slovenskem jezíku*. Ljubljana, 1967, с. 150 (далее — *Bezlaj. Eseji*); *Skok, I*, с. 570). Наиболее убедительным представляется объяснение О. Н. Трубачева: праслав. \**glyza* является одной из многочисленных разновидностей общей исходной основы, ср. праслав. \**glyba*, \**gluda*, \**gluta* (О. Н. Трубачев. О составе праславянского словаря, с. 178, а также *Фасмер*, I, с. 418).

<sup>47</sup> *Bezlaj F.* Na robu srbohrvatskega (in slovenskega) etimološkega slovarja. — «*Jezik in slovstvo*» (далее — *JiS*) 1972/73, XVIII, 4, с. 139, 140; *idem*. Leksikološke glose. — «*Јужнословенски филолог*» (далее — *ЈФ*), 1973, XXX, 1/2, с. 249.

<sup>48</sup> Куркина Л. В. Словенско-восточнославянские лексические связи.— В кн.: Этимология. 1970. М., 1972, с. 92. Указывается на возможность сопоставления с япш. *glemtz* 'есть без аппетита', 'чистить', 'болтать чепуху', *glemžat* 'есть без аппетита', 'торговать ветошью'.

<sup>49</sup> Обычно сравнивают с др.-в.-нем. *knoto*, *knodo* совр. нем. *Knoten* 'узел, утолщение' (*Macheck*<sup>1</sup> 133; *Macheck*<sup>2</sup>, s. 171). Допускается возможность обобщения с праслав. \**gnesti* и и.-е. \**g'enu-* 'колено' (*Skok*, I, s. 577, 578; *Sławski*, I, s. 300 с обзором литературы).

<sup>50</sup> Наиболее вероятно сближение с *\*gnētiti* ‘гореть’. Отмечается отсутствие балтийских соответствий (*Miklosich*, s. 67; *Berneker*, I, s. 312; *Machek*<sup>1</sup>, s. 134; *Machek*<sup>2</sup>, s. 171 (связывает с *snēdъ*); *Stawski*, I, s. 301, 302; *Skok*, I, s. 578; *Фасмер*, I, с. 420).

<sup>51</sup> Skok, I, s. 585 без словенского соответствия.

пародной песне; RJA III, 9, 141: с XIV в.), словен. *glája* ж. р. ‘страпило на крыше’, *glájt* ‘балка, стропило’, *glet* то же, *gled* ‘длинное бревно под бочкой’ (Plet. I, 211, 215; Slovar slov. kn. j. I, 687) <sup>52</sup>.

\*gomolj/\*gomol'ja: с.-хорв. *gomolj* м. п. 'bulbus' = *gomolja* ж. п. 'кусок сыра' (RJA III, 265: Истрия), словен. *gomolj*, род. п.-а, *gomolj*, род. п. -*olja* 'утолщённая часть растения под землей', 'клубень', 'парост, выпуклость' (Slovar slov. kn. j. I, 719), *gomolja* 'ком' (Plet. I, 231), *gomola* ж. п. 'пустая неплодородная земля' (Erjavec LMS 1879, 138; Plet. I, 231). Ср. русск. *гомбла* 'ком, шар', чеш. *homole* 'твёрдый сыр' и др.<sup>53</sup>

\*грічъ: с.-хорв. *grīč* 'бугор', 'куча', топоним в р-не Загреба (Skok I, 616; сев.-зап., хорв.-кайк.) и словен. *grīč*, *grīča* м. р. 'маленький холм', стар. 'возвышение на склоне горы' (Plet. I, 254). Другим славянам неизвестно<sup>54</sup>.

\**gruhъ*: с.-хорв. чак. *gruh* 'мусор', 'галька'<sup>55</sup>, *gruh* 'толчебный камень' (Skok I, 624) образует, по мнению Безлайя, соответствие с словен. *gruh* 'галька', *gruša* 'крупный песок', *grušč* 'щебень'<sup>56</sup>.

\*кача: с.-хорв. сев. чак и кайк. *kača* ж. р. 'змея' (RJA IV, 16, 711), словен. *káča* то же, *kač*, род. п. *káča* м. р. то же (Plet. I, 376). Ср. с.-хорв. шток. *gýja* и болг. диал. *gýa* в том же значении<sup>57</sup>.

\*klesati: с.-хорв. *klesati* 'тесать камень', возможно, сюда же *klèsen* 'кусок мяса, солонины' (RJA V, 56; Skok II, 97) и словен. *klesati* 'обтесывать камень', диал. *konj se kleše* 'коны скакет галопом' (Plet. I, 405). Славянские соответствия отсутствуют<sup>58</sup>.

\*komol-: с.-хорв. *kòmolac*, род. п. *kòmóca* 'локтевая кость' (RJA V, 19, 246: с XVI в.), словен. *komól* 'безрогий', *komólec*

<sup>52</sup> Родственно лиш. *gålds* 'доска, стол', др.-исл. *gelda* 'резать'. (*Bergneker I*, s. 320; *Popović*, S. 545; *Bezlaj. Esej*, s. 128, *Трубачев О. И.* О составе ирано-славянского словаря, с. 192). Иначе Скок: дослав. слово, родственно газельскому *cleta* (*Skok*, I, s. 564).

<sup>53</sup> Ближайшие соответствия в балт. языках: лит. *gamatas* ломоть, ком. *gāmulus* 'комолый' <и.-е. \**gem-*, родств. слов. \**žeti*, \**žbmo* (*Miklosich*, s. 71; *Berneker*, I, s. 326; *Macheck*<sup>1</sup>, s. 137; *Macheck*<sup>2</sup>, s. 175; *Sławski*, I, s. 316; *Skok*, I, s. 588—589; *Фасмер*, I, с. 435—436).

<sup>54</sup> Слово неясного происхождения. Миклошич сравнивает с ало. *gerce* ‘острие, вершина’ (*Miklosich*, с. 78). Скок не исключает возможность досл. происхождения и связывает с фриул. *krete*, сред. лат. *krota* ‘скала’ (*Skok*, I, с. 616). Объясняется и на основе экспрессивного удлинения корня вого гласного, представленного в с.-хорв. *grk* ‘горький’ < \**grukъ* (*Schütz J.* Die geographische Terminologie des Serbokroatischen. Berlin, 1957, S. 91—92). *Machek V.* Рец.: *Schütz J.* Die geographische Terminologie... — «Lingua Pannoniensis» (далее — LP), 1958, 7, S. 305).

<sup>55</sup> *Bezljaj F.* Zajednička problematika slovenske i čakavске leksičke, s. 10.

<sup>57</sup> Разные обозначения змей у славян связывают с явлением табу. См. Miklosich, s. 108; Berneker, I, s. 456; Младенов *Сл. Славянские этимологии* 18. Сербохорв., словен. *kaša*. «Русский филологический вестник» (далее РФВ), LXXI, с. 458—460); ки-е. \*qđog—\*qēg—‘извиваться, гнуться’.

<sup>58</sup> Вполне возможно, что это фонетический вариант *нрезан* (см. т.

род. п. *komołca* м. р. ‘локоть’, ‘сустав’, ‘связка’, ‘бугор’ (Plet. I, 428). Лексема представлена у север. славян<sup>59</sup>.

\*krékъ (?): словен. *krék* м. р. ‘лягушачья икра’, *žabokrēčina* то же, сюда же *krák*, *okrák* м. р. ‘лягушачья икра’, ‘зелень на поверхности стоячей воды’, ‘водяной мох’ (Plet. I, 455; II, 815, 951); в с.-хорв. только в приставочном виде: *ð-krijek* м. р. ‘водоросли’, *žabòkríjek*, *žabòkréčina* ‘лягушачья икра’ (RJA VII, 859; Ivezović Broz II, 859—860). Ср. русск. *кряк*, *укра́к*, диал. *krék* ‘лягушачья икра’, в.-луж. *křek* ‘водяное растение’, чеш. *okřehek* то же<sup>60</sup>.

\*kresati: с.-хорв. *krèsati*, *krèsēt* ‘excudere ignem’, ‘тесать, обтесывать’, ‘обрезать (ветки)’, ‘ударять ч.-л. острым’, ‘говорить колкости’, ‘неумеренно есть’, ‘скакать, танцевать’ (RJA V, 523—524), словен. *krésati*, *kréšet* ‘высекать огонь’, ‘обтачивать’, ‘твердо ступать’, ‘бить, колотить’, ‘перестреливаться, спорить’ (Plet. I, 464). Данная основа с производными на *-dlo*, *-nötì*, *-ivo* характеризует все слав. языки, кроме восточной части ю.-слав. языков<sup>61</sup>.

\*krul-: с.-хорв. чак. *krúljav-krúljast* ‘калека, хромой’, *krúljac* м. р. ‘калека’ (RJA V, 666), словен. *kruliti* ‘уродовать’, *krúljav* ‘хромой’ (Plet. I, 481)<sup>62</sup>.

\*kustra/\*kustravъ: с.-хорв. *kuštra* ж. р. ‘волос, шерсть’, *kùštrav* прил. ‘курчавый, взъерошенный’ (RJA V, 23, 836), словен. *kuštra* ж. р. ‘локон, завиток’, *kuštrav* прил. ‘растрапанный, взъерошенный, курчавый’ (Plet. I, 491). Ср. слвц. *kuštra*<sup>63</sup>.

\*kъпěја: в ю.-слав. топонимах: словен. *Knej*, *Kneja*, с.-хорв. *Kneja* в названиях лесов, болотистых мест, рек, потоков<sup>64</sup>. Мажунич отмечает стар. кайк. *kneja* в р-не Карловца 1228/1359: *vadit ad unam silvam*, que *Megnaknea* (-menja *kneja*) nominatur...<sup>65</sup>. Ближайшие соответствия образуютпольск. *knieja* ‘дикий густой лес’ с XIV в., чеш. топ. *Kníje*, русск. диал. *кнея* ‘роща, лес’. Следы корня \*kъп- сохраняют словен. *knjást* прил. ‘убогий, ка-

<sup>59</sup> Родственно \*komъ. Ближайшее соответствие образует др.-в.-нем. *hamal* ‘искалеченный’. Фонетическим вариантом является \*gomolъ (*Miklosich*, s. 126; *Berneker*, I, s. 554; *Machek*<sup>1</sup>, s. 216; *Machek*<sup>2</sup>, s. 271; *Stawski*, I, s. 389; *Фасмер*, II, с. 304).

<sup>60</sup> Не вполнеясна исходная основа — \*krékъ или \*krékъ. Подробнее об этом см.: *Miklosich*, s. 139; *Berneker*, I, s. 613; *Machek*<sup>2</sup>, s. 413; *Skok*, II, s. 551; *Фасмер*, II, с. 391.

<sup>61</sup> И.-е. соответствия остаются неясными (*Miklosich*, s. 138, 139; *Berneker*, I, s. 611; *Machek*<sup>1</sup>, s. 241; *Machek*<sup>2</sup>, s. 300; *Stawski*, III, s. 225—227; *J. Koštial*. *Shrv. kres, krijes, kris* — *ЈФ*, V, 1925—1926, с. 190—192; *Skok*, II, s. 190, 191; *Фасмер*, II, с. 373).

<sup>62</sup> Бернекер сближает спольск. *królić* ‘морщить (лоб)’ (*Berneker*, I, s. 629). Иначе трактуетпольск. слово Славский (*Stawski*, III, s. 2, 157).

<sup>63</sup> *Machek*<sup>1</sup>, s. 249.

<sup>64</sup> *Bezlaj F. Contributions lexicographiques. 3. Tcheque dialectal oteň ‘clôture’.* — «Slavistična revija» (далее — SR), 1955, VIII, 3—4, с. 57; *idem. Stratigrafija slovanov v luči onomastike.* — *ЈФ*, 1958, XXXIII, с. 93, 94.

<sup>65</sup> *Hadrović L. Südslawische Beiträge zum russ. Etymologikon.* — «Zeitschrift für Slawistik» (далее — ZfS), 1962, VII, S. 653.

лека', *knjâček* м. р. 'сучковатое бревно, пень' (Plet. I, 414) (Бела Краина) <sup>66</sup>, с.-хорв. сев. чак. *knast*, *knast* прил. 'изувеченный, искалеченный' (XVI в.), *knäk*, *knakav* прил. с тем же значением (о. Крк. хорв. Приморье), *knjâpar* (Лика) = *knjâpar* (Жумберак) (RJA V, 18, 117; Skok II, 104) <sup>67</sup>. Ср. также польск. *kien* 'обрубок дерева', чеш. арх. *knívý* 'одеревенелый' <sup>68</sup>.

\**lazъ* (?)/\**lasъ* (?): с.-хорв. *lase* ж. р. 'мотыга, кирка', в шутке: Kad dode *lase* u ruke, sva će iz tebe ispuštiti (pretilina), *lasi* м. р. мн. ч. 'вид виноградной лозы с черными гроздьями' (RJA V, 23, 904): Далмация); словен. *lás*, *i* ж. р. 'длинная жердь, на которой стоят кровельщики, когда делают соломенную крышу' (Plet. I, 500: Толмин), *lás*, *i* ж. р. и *láz*, род. п. *láza* м. р. 'жердь у стога или козолца' <sup>69</sup>.

\**lola*: с.-хорв. *lóla* 'прозвище длинного худого человека', *lólo* 'неряшливый человек' (RJA VI, 24, 142), словен. *lóla* 'большая неловкая женщина', *lólek* 'бестолковый человек' (Plet. I, 529). Ср. еще польск. диал. *lola* 'неорганизованный человек' <sup>70</sup>.

\**lotiti*/\**latiti*: с.-хорв. шток, *latiti* 'схватить, взять', ~ *se* 'приняться за дело' (с XV в.), *lăcati*, *lăcam* (*se*) то же (RJA V, 23, 924). На о. Црес и Хвар для этого глагола отмечено значение 'гнать, преследовать, принуждать' <sup>71</sup>. В словен. *lotiti se*, =ím *se* 'приняться, браться за что-либо', 'поразить', ср. *bolezen se me loti*, и *latiti se*, *lăcati se* то же (Plet. I, 494, 501—502) <sup>72</sup>.

\**macesnъ*: хорв. кайк. *mecesen* м. р. 'дерево *Pinus larix*' (RJA VI, 27, 548 со ссылкой на словарь Шулека), словен. *macesen*, *mece-*

<sup>66</sup> *Sašel I.* Bisernice iz belokranjskega narodnega zaklada v Adlešičih. I. Ljubljana, 1906, s. 264 (далее — *Sašel*, I). Словен. *knjápeš* и далее с.-хорв. *knjâpar*, *knjâpar* сюда относятся при условии, что они не являются заимствованием нем. *Knapre*.

<sup>67</sup> Скок рассматривает в этом же ряду с.-хорв. *kljast* 'искалеченный' и объединяет все эти образования в одно этимологическое гнездо с \**klësteti*, что едва ли правомерно.

<sup>68</sup> Далее лит. *kamēnas* 'пень, корень', лтш. *kamans* 'грубый конец балки'. (Berneker, I, s. 663; Machek <sup>2</sup>, s. 262; Sławski, II, s. 150—151, 286—287; Skok, II, с. 108; Shevelov G. A Prehistory of Slavic. Heidelberg, 1964, s. 53, 323; Фасмер, II, с. 262).

<sup>69</sup> *Strekelj K.* Iz besednega zaklada narodovega.—LMS, 1892, s. 17.

Слово темное. Штрекель считает, что основы с глухим и звонким исходом идентичны, тем самым дает основание для реконструкции \**lazb* < \**lëzti*. Безлай сопоставляет словен. *lás* с др.-инд. *válśa* 'ветка, росток, побег' и реконструирует исходную основу в виде \**volsb* 'волос' (Bezlaj F. Einige slovenische und baltische lexische Parallelen.—«Linguistica», 1966—1968, VIII, 1, с. 65).

<sup>70</sup> Бернекер относит к числу звукоподражательных образований, сравнивает с греч. *λωλός* 'глупый', алб. *l'olé* то же (Berneker, s. I, 730).

<sup>71</sup> *Tentor M.* Prilog Bernekerovi gječniku.—JФ, V, 1925—1926, s. 211.

<sup>72</sup> Из и.-е. соответствий указывается др.-инд. *lítati* 'схватывает, хватает' < и.-е. \**lō-*. Славянская основа получила расширитель -*t*- (Miklosich, s. 174; Berneker, I, s. 694; Skok, II, s. 275; Трубачев О. Н. Этимологический словарь славянских языков Г. А. Ильинского.—«Вопросы языкоznания» (далее — ВЯ, 1957, № 6, с. 96).

*sen* ‘*Larix*’, диал. *mesesen*, *masen*, *macés*, *maceselj* то же (Plet. I, 539). Не имеет слав. соответствий<sup>73</sup>. Ср. \**maklenъ*.

\**madež*: с.-хорв. *mádež* м. р., вторичное *mladež* ‘родимое пятно’ (RJA VI, 26, 356), словен. *mádež* м. р. то же (Plet, I, 540). Еще только в русском: *мáдеж*, *матеж* ‘пятно на лице (беременной)’<sup>74</sup>.

\**maklenъ*: с.-хорв. *maklen* (*maklēn*) м. р. ‘дерево типа явора или клена’ (RJA VI, 26, 400; с XVIII в.), словен. *maklēn*, род. п. *-éna* м. р. ‘клен (*acer campestre*)’, ‘бересклет (*nevoymus*)’ Нотран., Бела Краина (Plet. I, 544). Ср. укр. *маклен*<sup>75</sup>.

\**тьнькъ*: хорв. *kajk*, род. п. *-njka* м. р. ‘*cottus gobio*’, сюда же *mánič* м. р. ‘рыба *lota vulgaris*’, словен. *menjek* ‘налим’. Уменьшительное образование от простой основы \**тьнь*, не сохранившейся в ю.-слав. языках. Ср. русск. *мень* ‘налим’, чеш. *teň*, *mník*, польск. *mięgutus*, *miętus* и др.<sup>76</sup>.

\**тын-*: с.-хорв. *týnitva* ж. р. (Далмация) = *tunítva* (Срем, Бачка) ‘обман, злость’, ‘лохмотья, отрецы’ (Лика) (RJA VII, 153)<sup>77</sup>, чак. *týnpjav*<sup>78</sup>; словен. *mólnjen* ‘помешанный, одурманенный’, диал. *tunjen*, нотр. *mólnjav* ‘помешанный’ (Plet. I, 600). Не имеет слав. соответствий<sup>79</sup>.

\**натъ*: с.-хорв. *nat* ж. р. ‘росток, ботва’ (RJA VII, 33, 675; Истрия), словен. *nát*, *ñ* ж. р. ‘ботва’ (Plet. I, 672). Ср. русск. *натына* ‘ботва’, чеш. *nat'*, польск. *nać* и др.<sup>80</sup>

<sup>73</sup> Трудное слово. Скок выделяет префикс *ta-* и видит в этой основе следы дославянского субстрата (*Skok*, II, с. 395). Безлай возводит к \**ma-sosna*. Приставка *ta-* рассматривается как видоизменение отрицания *ne* (ср. *maklen* и русск. *неклён*). См.: *Bezlaj*. *Esejí*, с. 100, 101.

<sup>74</sup> Достоверные и.-е. связи отсутствуют (*Фасмер*, II, с. 556; *Skok*, II, с. 348; *Miklosich*, с. 178, 180).

<sup>75</sup> Слово темное. Некоторые исследователи рассматривают это слово как сложение с отрицанием \**me-*, исходным признается значение ‘разновидность клена (явора), неправильный, ложный клен’ (*Musić A. Kompragacija i negacija*.—«*Rad*» 222, с. 270; *Oštir K. Japodi*.—«*Etnolog*», 1929, III, с. 102, 104; *Bezlaj F. Slovenska vodna imena*, II, с. 7). Левенталь выделяет в этом сложении \**máko-* и \**kleno-s*, первая часть сопоставляется с лат. *macto* ‘колю’, родств. дор. *μάκτω*, серб. *мак* ‘мак’ (Loewenthal J. Etymologien.—*ZfslPh*, 1930, VII, с. 407).

<sup>76</sup> Родств. лит. *ménkē* ‘треска’, лтш. *menca* (*Machek* 2, с. 370; *Skok*, II, с. 369; *Фасмер*, II, с. 599).

<sup>77</sup> *Skok*, II, с. 482.

<sup>78</sup> Безлай Ф. Опыт работы над словенским этимологическим словарем.—ВЯ, 1967, 4, с. 48.

<sup>79</sup> Дальнейшие связи проблематичны. Безлай (*Esejí* 126) сопоставляет с лтш. *mùlsa* ‘замешательство’, *mùldët* ‘фантазировать’, лит. *pasimùldyti* ‘ошибаться’ и видит в этих основах отражение ступени редукции и.-е. \**mel-* ‘молоть’. Иппович неправомерно сравнивает с \**mèlni* ‘молния’ (*Popović*, с. 322).

<sup>80</sup> Восходит к праслав. \**nati*, род. п. \**natere* (ср. \**mati*, *matere*). Ближайшие соответствия только в балт. яз.: др.-прусск. *noatis* ‘крапива’ лит. *notrė*, *noteré* то же (*Miklosich*, с. 211; *Skok*, II, с. 505; *Фасмер*, III, с. 48). Махек сближает с \**nyti*, \**naviti*. (*Machek* 1, с. 319; *Machek* 2, с. 391).

\*пар- (?): с.-хорв. *pápak*, род. п. *párka* м. р. ‘*ungula*, копыто’, ‘раковина’, также *pápák* (Жумберак) и *párek* (Бела Краина) (Skok II, 601), словен. *párek*, *-pka* ‘копыто’, Бела Краина (Plet. II, 7). Не имеет слав. соответствий <sup>81</sup>.

\*pelati: с.-хорв. *pełati*, *-lam* ‘ducere, vehere, trahere’ (RJA IX, 42, 768; чак., кайк., редко шток., Истрия, Дубровник и др.), словен. *péljati*, *péljem* ‘вести, водить’ (Plet. II, 21). Ср.польск. *pielać* ‘спешить’, слвц. *pelat*, *pelašit* ‘гнать’ <sup>82</sup>.

\*plex-/\*plax- продолжают, с одной стороны, словен. *pleh*, *pléha* м. р., ср. *na pleh orati* ‘пахать так, чтобы борозды ложились на одну сторону, особенно в прибрежных полях’, противоположное — *na lehe orati* (Plet. II, 54) и с.-хорв. *pleh* ‘одна половина, одна сторона копченого сала’ (RJA X, 43, 38: Истрия), а с другой стороны, слав. \*plaxъta: словен. *pláhta* ж. р. ‘грубое одеяло’, ‘простыня’, ‘скатерть’; с.-хорв. *pláhta* ж. р. ‘простыня’, ‘скатерть’ (RJA IX, 42, 946), сюда же *plaha* ж. р. ‘кусок мяса со свиной туши’ (RJA IX, 42, 945: Герцеговина). Имеет широкие соответствия в слав. яз.: русск., укр. *плаха* ‘составная часть певода’, ‘слой сала, снятый со свиной туши’ и др. Отмечена основа с корневым *o*: с.-хорв. *plđa* ‘часть телеги, кареты’, возможно, хорв.-кайк. *ploh* м. р. ‘кусок олова’. Ср. русск. диал. *плоха* ‘просека в лесу для расстановки сетей на уток’, чеш. *plocha* ‘плоскость и др.’ <sup>83</sup>.

\*blesmo: с.-хорв. *plèsmo* ср. р. ‘узкая доска в заборе’ ‘планка’ (Вук, RJA X, 43, 53) и словен. *plésmo* ср. р. ‘шина’ (Plet. II, 57). Сюда же, видимо, относятся некоторые топонимы: словен. название урочища *Plesmo*, *Plesme*, серб. топ. *Plesmo*. Как будто бы не имеет слав. соответствий <sup>84</sup>.

<sup>81</sup> Слово темное. Скок приводит в одном ряду с с.-хорв. *páronjak* ‘копыто’, *čáronjak* то же. Последние, видимо, содержат префиксы *ra-* и *ča-* и родственные слав. \**pēti*, \**rъno*.

<sup>82</sup> Имеет разные объяснения. Миклошич, Брюкнер толкуют эту основу как заимствование итал. *prigliare* (Miklosich, s. 236; Brückner A. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1927, s. 408 (далее — Brückner). Скок возводит к и.-е. \**pel-*, передающему движение толчками, ударами, и сравнивает с лат. *pello* < \**pel-no*, *pellere* ‘гнать’ (Skok, II, s. 634, 635). Махек сближает с др.-инд. *palāyati* ‘гнать’ и высказывает мысль о возможном родстве с гл. \**paliti* ‘жечь’, ссылаясь на лит. *dēgti* ‘жечь’ и ‘бежать’ и омонимию праслав. \**kur-* ‘топить’ и \**kur-* ‘бежать’, (ср. Machek <sup>1</sup>, s. 361; Machek <sup>2</sup>, s. 442).

<sup>83</sup> Подробнее см.: Miklosich, s. 248; Skok, II, s. 680, 687; Фасмер, III, с. 275, 276, 280. Махек считает, что чеш. *plocha* вытеснило более старое *ploska* и является заимствованием нем. *flach* (Machek <sup>2</sup>, s. 462). Скок выводит с.-хорв. *plěh* в значении ‘слой жести’ из нем. *Blech*. Безлай отмечает выражение *splehano blago* и сравнивает с лтш. *plýsti* ‘zerreissen’ (Bezlaj F. Etyma slovenica.— «Razprave», VII/4. Slovenska akad. znanosti in umetnosti. Ljubljana, 1970, s. 158).

<sup>84</sup> Bezlaj F. Stratigrafija slovanov v luči onomastike, s. 94. Слово неясного происхождения. Скок, вслед за Матценауэром, сравнивает с лит. *pliszt* ‘scindere, findere, dilacerare’, выделяя суфф. *-mo* (ср. *pismo*) (Skok, II, s. 682).

\**pleso*: хорв.-кайк. топ. *Pleso*, словен. *pleso* ‘пруд’. Ср. русск. *нѣсо* ‘открытая широкая часть течения реки’, чеш., слвц. *pleso* ‘глубокое место в реке, озере’<sup>85</sup>.

\**regat*/\**regotati*: с.-хорв. *rēga* ‘ворчание (напр. собаки)’ (Вук) словен. *réga* ‘кваканье’, *regetáti*, *regéčet* ‘квакать’, *regljáti*, *-am* ‘квакать, кричать’ (Plet. II, 416). Ср. русск. олон. *регота́ть*, *регочу́* ‘громко кричать, смеяться’, чеш. *řehot* ‘ржание, смех’<sup>86</sup>.

\**rēpъ* (?): с.-хорв. *rēp* м. р. ‘хвост’, ‘конец, нижняя часть чего-либо’ и в названиях растений: *koňski rep*, *kuní rep* и др. (RJA, XIII, 58, 872—875); словен. *rēp*, род. п. *rēpa* м. р. ‘хвост’, ‘задняя часть судна’, ‘острием сужающееся поле’, ‘шило’, ‘черенок, стебель’, *rēp*, *repak* м. р. ‘некая птица’, сюда же *rēplja* ж. р. ‘der Traubenkamm’, ‘виноградная кисть с небольшим числом ягод’, в названиях растений: *konjski rep* и др. (Plet. II, 418—419), сюда же *rēpalo* спр. р. ‘ручка кастрюли, рукоятка’ (Темлине)<sup>87</sup>. Ср. чеш. *řap* ‘ручка ложки’, польск. *rzyp* ‘копчик’<sup>88</sup>.

\**ruliti*: с.-хорв. *ruliti*, *rułiti* ‘реветь, рычать, выть’ (RJA XIV, 60, 301), словен. *rúliti* то же (Plet. II, 444)<sup>89</sup>.

\**runiti* (?): с.-хорв. *rúniti*, *rúnim* ‘бить, разбивать’, ‘дергать, рвать’. *rúniti* (*se*), *rúnim* (*se*) то же (RJA XIV, 60, 314, 319), словен. *rúliti*, *runem* сов. в. ‘двинуть, толкнуть’ (Plet. II, 444)<sup>90</sup>.

\**rust-*: следы этой основы, по наблюдениям Безлайя, сохраняют словен. *rostoha* ‘узкая долина между горами’ (Брежице), с.-хорв. *rust*, *rustina*, *rustine* ‘название лугов, пахотной земли’ (р-н Лики), название берега в Славонии (RJA XIV, 60, 337—338). Ср. далее русск. диал. *rust* ‘сильное течение’<sup>91</sup>.

\**ružiti* (?): хорв.-кайк. *ružiti* ‘бросить, кинуть’, ‘стукнуть, ударить’ (RJA, XIV, с. 60, 358: Белостенец) и словен. *rúžiti*, *ru-*

<sup>85</sup> Miklosich, s. 249—250; Macheck<sup>1</sup>, s. 374; Macheck<sup>2</sup>, s. 458—459; Skok, II, s. 682; Фасмер, III, с. 280; Popović, s. 13; Bezljaj F. Рец.: Skok P. Etimologijiski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika.— В кн.: Этимология. 1973. М., 1974, с. 184. Предлагаются исключающие друг друга сопоставления: др.-инд. *práthus* спр. р. ‘ширина’, лтш. *plesa*, *plēsa* ‘место в реке, где стоит вода’, лит. *pelkė*. Не исключено, что что слово прасевропейской древности.

<sup>86</sup> Видимо, звукоподражательное образование (Macheck<sup>2</sup>, s. 529; Фасмер, III, с. 457).

<sup>87</sup> Streljek K. Iz besednega zaklada narodovega.— LMS, 1892, s. 34.

<sup>88</sup> Этимология неясна. (Bezljaj. Eseji, s. 148). Миклошич и Махек сближают с \**rebro*, нем. *Riebe*, *Ripe* с последующим изменением *errp* > *etrp* (Miklosich, s. 275; Macheck<sup>1</sup>, s. 432, Macheck<sup>2</sup>, s. 528—529). Иначе объясняет Грошель: \**rep-* < \**urepos*, греч. *ρέπω* ‘гнуться, сгибаться’ (Grošelj M. Etyma slavica II.— SR, 1954, V—VII, s. 423).

<sup>89</sup> Звукоподражательное образование.

<sup>90</sup> Возможно, связано с \**krupa* ‘крошка’ (Skok, II, s. 214). Безлай отмечает в словен. диалектах *runje* спр. р. мн. ч. ‘оспа’, *ránja* ж. р. ‘сыпь на лице’, которые, как нам представляется, родственны гл. *rúniti* и являются производными от него. В качестве соответствия для них указываются чеш. *chrouny*, *chrunga*, п.-луж. *kšuna* ‘сыпь’ (Bezljaj. Eseji, s. 152). О чеш. словах Macheck<sup>2</sup>, s. 207). Слово трудное.

<sup>91</sup> Bezljaj F. Zajednička problematika slovenske i čakavanske leksike, s. 8. Далее связывают с *ruslo* (Фасмер, III, с. 521).

*žim* ‘чистить, лущить (фасоль, горох)’, ‘отделять зерна’, сюда же *ružína* ‘зеленая ореховая шелуха’, *ružinje* соб. ‘пустые стручки’ (Plet. II, 446) <sup>92</sup>.

\*sētlъ (?): с.-хорв. *sił* м. р. ‘раст. *avena sativa*’ (RJA XIV, 62, 957) и словен. *silj* м. р. ‘*peucedanum sp.*’, *silje* соб. ‘продукты полеводства, зерновые культуры’, вост. штир. *siljen* прил. ‘зерновой’ (Plet. II, 477—478), *sēlje* = *silje* (Plet. II, 467) <sup>93</sup>.

\*skridlъ/\*skridla: хорв. *skril* ж. р. ‘плита’ (с XIV в.), *skrila*, *skrila* ж. р. то же (RJA XV, 64, 328), словен. *skrīl*, род. п. *skrīli* ж. р. ‘шиферная поверхность’, ‘каменная плита’, ‘верх печи’, ‘льдина’, *skrīla* ж. р. ‘тесовый камень, плитняк’, ‘каменная плита’, *skrīl*, род. п. *-lī* ж. р. ‘шифер’, ‘льдина’, *skrīla* ж. р. ‘каменная плита’ (Plet. II, 497, 499), *skrīl*, род. п. *skrīli* ж. р. ‘плоский верх крестьянской печи, где сушат просо’ <sup>94</sup>. Ср. далее русск. *скрыль* ‘щепка, лучина’, ‘ломоть хлеба’, чеш. *skřidla*, *škřidla* ‘сланец’ и др. <sup>95</sup>

\*skъrg- (?): с.-хорв. *škrge*, род. п. *škrga* ж. р. мн. ч. ‘жабры’ (Iveković-Broz II, 533), словен. *skrge-škrge* то же (Plet. II, 497, 635, обозначено как хорв. слово), слав. соответствия не обнаружены <sup>96</sup>.

\*slōka: с.-хорв. *slūka*, *šlūka* ‘бекас’ (RJA XV, 65, 622; Iveković-Broz II, 535), словен. *slōka* то же (Plet. II, 513: нотранск., вост. Штирия). Ср. русск. *слука* ‘вальдшнеп, *Seolopax rusticola*’, чеш. *sluka* ‘бекас’ и др. <sup>97</sup>

\*sus- хорв. *susmat* ‘растрапанный’ <sup>98</sup> и словен. *šušmara* ж. р. ‘лохматая пашка’ (Plet. II, 651; Бела Краина) <sup>99</sup>.

<sup>92</sup> Наиболее приемлемо объяснение из *žuriti* (ср. Plet. II, 446; *Bezlaj. Eseji*, с. 137). Нельзя признать убедительным сближение с русск. *ружь* ‘внешний вид’, *обнаружить* (*Безлай Ф. Опыт работы над словенским этимологическим словарем*, с. 52). Об этимологии русск. *ружь* см.: *Фасмер*, III, с. 514.

<sup>93</sup> Ф. Безлай объясняет словен. лексемы на основе сближения с гл. \*sējati < и.-е. \*sē-, \*sito < \*sē-i-. Вост.-штир. *selje* и прекмурское *silje* с корневыми *e* и *i* отражают следы и.-е. различия двух корней. Ближайшие соответствия образуют лит. *sékla*, *séklà* ‘зерно для семян’ и лтш. *sēkla* ‘семя’, для них предполагаются две исходные основы (*sē-tlo* и *\*sē-i-tlo* (*Bezlaj. Eseji*, с. 166, 167)).

<sup>94</sup> *Pintar L. Slovarski in besedoslovni paberki*. — LMS, 1895, с. 40.

<sup>95</sup> На очень древнем уровне предполагается возможность чередования с \*krojiti (*Miklosich*, с. 304; *F. Bezlj. Slovenska vodna imena*, II, с. 245; *Фасмер*, III, с. 659).

<sup>96</sup> Происхождение неясно. Скок предполагает и.-е. корень \*səqr- ‘рвать’ + суфф. -ga и сравнивает с с.-хорв. *krelja*, *kreljušt*, *kraljušt* ‘жабра, чешуй’ (*Škok* II, с. 189).

<sup>97</sup> Родственно лит. *slankà* ‘кулик’, лтш. *slūokà* ‘вальдшнеп’, др.-прусск. *slanke* ‘большой кулик’ (*Miklosich*, с. 308; *Machek* <sup>1</sup>, с. 456; *Machek* <sup>2</sup>, с. 558; *Фасмер*, III, с. 678).

<sup>98</sup> *Skok*, III, с. 365.

<sup>99</sup> Вслед за Ягичем (*AfslPh*, II, с. 397) сравнивают с лит. *šiaušti* ‘растрапить’, лтш. *šauštiēs* ‘заставить волосы стоять дыбом’, *šaūsmas* ‘дрожь, озноб’ (*K. Mülenbach. Latviešu valodas vārdnīca*, red. J. Endzelīns, IV, 1. 7; *Bezlaj F. Einige slovenische und baltische lexicale Parallelen*, с. 80).

\*šatriti/\*šatratī: с.-хорв. *šatriti* ‘fascinare’ (Белостенец, Ямбренич), *ošatriti* ‘infascinare’ (Хабделич, Белостенец)<sup>100</sup>, словен. *šátrati*, -am, *sátriti* ‘колдовать, чаровать’ (Plet. II, 618: кайк., вост. Штирия). Ср. чеш. *šetřiti* ‘смотреть, обращать внимание’,польск. *szatrzyc się* то же<sup>101</sup>.

\*tin'ati: с.-хорв. шток. *tināti*, *tinām* ‘гореть слабым пламенем, тлеть’ (RJA XVIII, 76, 335) и словен. *tínjati*, -am ‘тлеть’ (Plet. II, 669: вост. Штирия)<sup>102</sup>.

\*tъjь-dъпь: с.-хорв. *tjēdan*, *tjēdnā* ‘неделя’ из кайк. и чакав. источников (RJA XVIII 76, 362—363: Белостенец, Вольтиджи), словен. *téden*, *tjéden* то же (Plet. II, 658, 671). Соответствия только в зап.-слав. языках: ср. чеш. *tyden*, польск. *tydzień*<sup>103</sup>.

? : с.-хорв. *trizalj*, *trižalj*, *trižlja* ‘*Erysimum*’, словен. *trizelj* то же<sup>104</sup>. Ср. чеш. *tryzel*, *trejzel* то же<sup>105</sup>.

\*trъ(d)s-: с.-хорв. *tr̄satī se*, *tr̄sám se* ‘крепнуть’, *tr̄siti*, *tr̄sim* ‘закончить’ (Вук: Черногория), *tr̄siti se*, *tr̄sim se* ‘стараться, хлопотать, заботиться’ (RJA XVIII, 76, 766—767) и словен. *tr̄siti se*, -im se ‘стараться, стремиться, трудиться’, *tr̄sen* прил. ‘жилистый’, ‘жесткий’, ср. *meso je tr̄sno*, т. е. ‘безвкусное и твердое’ (Plet. II, 698). Не имеет слав. соответствий<sup>106</sup>.

\*věk/-\*věč-: с.-хорв. *věknuti*, *věknět* сов. в. ‘блеять’ (Iveković-Broz II, 706), словен. *véčati*, *véčit* ‘кричать, жаловаться’ (Plet. II, 704). Ср. русск. *вякать* ‘плакать’ и др.<sup>107</sup>

\*vol-: с.-хорв. *volja* ‘зоб’ (Iveković-Broz II, 738), словен. *voleki* мн.ч. ‘почки’, *zavōlek* ‘узел’, перен. ‘запутанное дело’ (Plet.

<sup>100</sup> Kurelac Jr. Prégled rěčí o vuhovstvu.—«Rad», 1873, XXIV, s. 63.

<sup>101</sup> Родственно лит. *skatytis* ‘внимательно смотреть’, жем. *skokotis* ‘заботиться’, лтш. *skatit* ‘смотреть’ (*Miklosich*, s. 337); *Macheck*<sup>1</sup>, s. 497 и *Macheck*<sup>2</sup>, s. 606 признают исходной основу \*šetriti с начальным še- из šče-; *Cop B. Etyma balto-slavica IV*.—SR, 1959/1960, XII, s. 185—189); тох. *B. šotri*, мн. ч. *šotruna*, А *šotre* ‘знак’; О. Н. Трубачев сближает праслав. \*šatriti с незасвидетельствованным иранским отыменным глаголом \*xšatraya- от широко представленного в пранских языках имени xšatra- с формантом -tra и полагает, что славянское слово заимствовано из иранского (см.: Трубачев О. Н. Из славяно-пранских лексических отношений.— В кн.: Этимология. 1965. М., 1967, с. 52—55).

<sup>102</sup> Попович полагает, что этот штокавский глагол является новым по отношению к \*tъlēti (*Porović*, s. 408, 420).

<sup>103</sup> Подробнее см.: *Ramovš F. Slov. téden* ‘hebdomas’.—«Casopis za slovenski jezik in književnost» (Ljubljana), 1921, III, 1—2, s. 55, 56; *Macheck*<sup>2</sup>, s. 663; *Bezlaj F. Zajednička problematika slovenske i čakavske leksike*, s. 2.

<sup>104</sup> *Bezlaj F. Nekaj rastlinskih imen.*—*JiS*, 1960/61, I, s. 29.

<sup>105</sup> По Махеку, это сложение *traviti* и *zel(in)* (*Macheck*<sup>1</sup>, s. 538; *Macheck*<sup>2</sup>, s. 655).

<sup>106</sup> По Миклошичу, *tr\**тъ(d)s- связано чередованием с слав. \*trudъ и содержит расширитель -s. Ближайшие соответствия только в балт. яз.: лит. *triūsas* ‘трудная работа, большое усилие’ (*Miklosich*, s. 364; *Bezlaj F. Einige slovenische und baltische lexische Parallelen*, s. 78).

<sup>107</sup> *Фасмер*, I, с. 375.

II, 784, 897). Ср. чеш. *vole* 'опухоль железа', польск. *wole* 'зоб (у птиц)', русск. олонь, волынка 'опухоль, нарыв' <sup>108</sup>.

\**zēba*: с.-хорв. *zēba* 'зяблик' (Iveković-Broz II, 836), словен. *zēba* то же (Plaet. II, 911). Ср. польск. *zięba*, в.-луж., н.-луж. *zyba*, русск. зяблик <sup>109</sup>.

\**zona*: с.-хорв. далм. *zōna* ж.р. 'зерно, сморщившееся из-за мороза' <sup>110</sup>, хорв. *zonljiv* прил. *granis inanibus* <sup>111</sup>; словен. *zōna* ж.р. 'слабые, полупустые, легкие зерна' (Erjavec LMS 1880, 214), *zōna* ж.р. 'плохое зерно', 'слабое мелкое просо', 'то, что остается после просеивания зерна' (Plet. II, 938). Далее ср. чеш. *zuna* и *zūna* 'плохое зерно, плевел', укр. зонá 'спорынья' <sup>112</sup>.

\**zubъль*: с.-хорв. *zūblja* ж.р. 'лучина, assula, ramentum', в Черногории *zublja* 'ореховое или дубовое дерево, которое используется вместо лучины' (Iveković-Broz, II, s. 854) и словен. *zúbelj*, *-blja* м.р. 'пламя' (Plet. II, 942; Erjavec, LMS, 1880, 214; Крас, Ипав. долина), *zúblja* ж.р. 'факел', *znubelj* то же (Plet. II, 943) <sup>113</sup>.

\**zoљ*: с.-хорв. *zolja* 'оса' (Iveković-Broz II, 851), словен. *zolj* 'личинка жука' (Plet. II, 938), *zolek*, *zolčka* м.р. 'маленькое существо' <sup>114</sup>.

\**zyba*/\**zybati*: с.-хорв. *zibati*, *zibām*, *zibljem* 'качать', *zípka* ж.р. 'зыбка' (Iveković-Broz II, 842, 844: Бапат), словен. *zibati* 'качать, колыхать', *ziba*, *zibel* ж.р. 'колыбель' (Plet. II, 919). Ср. русск. зыбка <sup>115</sup>.

\**žvôrъkno*: с.-хорв. *žvôkno* спр.р. и *žvôrkno* спр.р. 'podicis fissura' (Iveković-Broz II, 878), словен. *žèkno* 'жерло печи', 'яма для пепла на костре' (Горишска ок.), *žvôkno*, *žvôknq* то же (Plet. II, 956; Erjavec LMS 1880, 215) <sup>116</sup>.

Приведенный лексический материал неоднороден и разными своими частями восходит к разным хронологическим уровням. Основная часть лексем имеет широкие славянские соответствия, в рамках же ю.-слав. языков их распространение ограничено диалектами словенского и сербохорватского языков. Для этих лек-

<sup>108</sup> Родственное нем. *schwellen* (Куркина Л. В. Славянские этимологии.— В кн. Этимология. 1971. М., 1973, с. 88—90).

<sup>109</sup> Слово неясное (см.: Brückner, s. 653; Фасмер, II, с. 111).

<sup>110</sup> Popović, s. 540.

<sup>111</sup> Из этимологических материалов, выписанных Ж. Ж. Варбот в Брно в 1966 г.

<sup>112</sup> Слово неясное. Махек допускает возможность заимствования среди лат. *zizania* 'куколь или иной плевел' и греч. ζιζάνια (*Machek* <sup>2</sup>, s. 719).

<sup>113</sup> Дальнейшие связи остаются неясными. В связи со словен. *zubelj*, *znubelj* Безлай приводит русск. зныль 'печь', но это сопоставление необоснованно (*Bezlaj. Eseji*, s. 138).

<sup>114</sup> Streljek K. Slovarski doneski iz živega jezikja narodovega.— LMS, 1894, s. 59.

<sup>115</sup> Фасмер, II, с. 109.

<sup>116</sup> Miklosich, s. 413. Безлай сопоставляет с слвц. *žákno* 'яма', русск. жучина 'раковина или выбопна', лат. *fovea* < п.-е. \*g'hōuejñ (*Bezlaj. Eseji*, s. 134; Безлай Ф. Опыт работы над словенским этимологическим словарем, с. 54).

сем отмечены балтийские, германские и шире — индоевропейские соответствия. Ср. \*аръно/\*варъно, \*азь, \*bolenъ/\*bolenъ, \*brēčal/\*brēčka, \*brinъ/\*brina, \*čermuš/\*čermъx-, \*děžа, \*dréčъ/\*dréčnъ, \*gajъ, \*glyža, \*glъm-/glom-, \*gnatъ/\*gnatъ, \*gnědъ, \*gomolъ/\*gomol'a, \*komol-, \*krékъ(?), \*kresati, \*krul-, \*kustra/\*kustravъ, \*kъněja, \*lotiti/\*latiti, \*lola, \*madežъ, \*maklenъ, \*mъln-, \*tъnъkъ, \*natъ, \*pel'ati, \*plex/\*plax-, \*pleso, \*rega/\*regotati, \*rust-, \*skridlb/\*skridla, \*sloka, \*šatriti/\*šatratи, \*věk/\*věč-, \*vol-, \*zěba, \*zona, \*zyba/\*zybati. Среди них значителен слой звукооподражательных и экспрессивных образований: ср. \*belbetati, \*br'uzga, \*čev(ъ)kati, \*čižykъ, \*čuna/\*čun'a, \*čužiti, \*godr-, \*gruxъ, \*kacati, \*ruliti.

Некоторые лексемы составляют исключительную принадлежность словенского и сербохорватского, за пределами этой части ю.-слав. языков в языках западной и восточной группы соответствующие лексемы как будто бы не обнаружены. Ср. \*golda/\*goldja, \*gricъ, \*kača, \*klesati, \*lazъ/\*lasъ (?), \*macesnъ, \*pap- (?), \*plesmo, \*ružiti, \*sětlъ (?), \*skъrg-, \*sus-, \*tin'ati, \*trъ(d)s-, \*zubъly, \*zolb, \*žvýrknо. Эти лексемы плохо поддаются этимологизации. Известные попытки объяснить эти диалектизмы на и.-е. основе позволяют с некоторой долей вероятности отнести их к праславянской эпохе, к периоду диалектной дифференциации праславянского языка. Однако не исключено, что некоторые из этих изолированных лексем появились в новую эпоху после переселения на новую родину под влиянием иноязычного субстрата. По мнению некоторых исследователей, следы дославянского субстрата отражают \*macesnъ, \*gricъ.

Следует отметить, что значительный слой лексики, общей только для словенского и сербохорватского языков, составляют ранние заимствования из балканороманского субстрата. Примером таких заимствований могут служить словен. *címa* ж. р. 'зародыш, завязь', 'ледяная сосулька' (Plet. I, 83) и с.-хорв. *címa* 'верхушка, ботва растения (лука, репы)' (RJA I, 796)<sup>117</sup>, словен. *trta* 'гибкая ветвь', 'виноградная лоза' и хорв.-кайк. *trta* то же из фриул. *tuärte, tuartie* < лат. *torta* 'das Gedrehte'<sup>118</sup>.

\*

Лексические различия западной и восточной частей ю.-слав. языков частично обусловлены разрушением первоначальных этимологических связей основ, некогда подчиненных в своей структуре тому или иному виду чередований. Полный состав этимологического гнезда, структура его основ реконструируется по данным всех славянских языков. Обе части ю.-слав. языков сохра-

<sup>117</sup> Этимологический словарь славянских языков, вып. 3, с. 339, 340.

<sup>118</sup> Strelcij K. Beiträge zur slav. Fremdwörterkunde. I.—AfslPh, 1890, XII, 2, s. 472, 473. Fremde Deklinationen...—«Zeitschrift für slavische Philologie» 1925, II, S. 393.

няют разные члены этимологической семьи слов. Приведем некоторые лексические различия, основанные на чередовании.

\**brukati*: с.-хорв. *брјукати* ‘позорить, срамить’ (PCA II, 217), *брјукати се* ‘насмехаться’ (Вук; PCA II, 217; RJA I, 684), словен. *brúhati* (с переходом *k* > *h*) ‘извергать, выплевывать; отхаркивать’, ‘вырываться наружу, быть струей’ (Plet. I, 67), русск. диал. *брукать*. Ступень редукции в корне представляет гл. \**бръкati*, имеющий общеславянское распространение: ср. болг. *бръкам* ‘мешать, перемешивать’, ‘запутывать’, с.-хорв. *břkati* ‘турбить’, словен. *břkati* ‘толкать, швырять’ и др.<sup>119</sup>

\**grъstiti* (*sę*) отмечено только в словен. *grsiti se*, *grstiti se* ‘чувствовать отвращение’ (Plet. I, 257) и с.-хорв. *grstiti* ‘nauseare, fastidire, nauseam facere’ (RJA III, 10, 171: с. XVII в.). Для этой основы допускается возможность чередования с слав. \**grusti*, ср. ц.-слав. *съгrustiti ся* ‘грустить’<sup>120</sup>.

\**kaveli*: только словен. *kávelj*, *-vlja* ‘крюк’, ‘росток’, ‘деловой человек’ (Plet. I, 391) и с.-хорв. *kàvēl* м. р. прозвище в Далмации, *kavelica* ‘кость’ (RJA IV, 17,905: ‘Словония’). Связано чередованием с \**kuka*/\**čuka*: \**kъka*: \**kyka*, ср. болг. *кука* ‘крюк, костыль’, *кука* ‘коса, чуб’<sup>121</sup>.

\**klamati*: с.-хорв. *klämati*, *klämāt* ‘vacillare, nutare; качаться, раскачиваться; двигаться, шевелиться; качать головой’ (RJA V, 18,28), словен. *klamáti*, *-āt* ‘ходить как во сне; нетвердо ступать; плохо держаться на ногах’, *klamati se* ‘мешаться, путаться’ (Plet. I, 401), далее ср. польск. *klamać* ‘говорить неправду’, стар. ‘притворяться’ с XV в., ст.-чеш. *klamati* ‘шутить, насмехаться, обманывать’. Один из праславянских лексических диалектизмов, синонимичных общеслав. \**lъgati*<sup>122</sup>. Связывают чередованием с \**klem-at-i*: словен. *klémati* ‘кивать’ (Šasel I, 263), болг. *климишъ* ж. р. ‘чека (у телеги)’<sup>123</sup>, возможно, *климиша* ж. р. ‘дерево, подпирающее одну сторону телеги’<sup>124</sup>.

\**kly(p)sati*: с.-хорв. *klisati*, *klísāt* ‘скакать’ (Лика), *klísiti*,

<sup>119</sup> Родственно лит. *braūkti* ‘вытирать, смахивать’ (см.: Этимологический словарь славянских языков, вып. 3, с. 53, 54, 85).

<sup>120</sup> Потебня А. А. Заметки этимологические и о народной поэзии. — РПВ, 1880, III, с. 93.

<sup>121</sup> Miklosich, s. 80; Berneker, I, s. 358; Stawski, II, s. 160, 161; Skok, II, s. 225, 279; Фасмер, II, с. 231, 403—404; Куркина Л. В. К реконструкции этимологических связей основ с дифтонгом на -у-. — В кн.: Этимология. 1971, с. 79.

<sup>122</sup> Miklosich, s. 117; Berneker, I, s. 508, 509; Stawski, II, s. 248, 249; Macheck<sup>1</sup>, s. 199; Macheck<sup>2</sup>, s. 250; Младенов С. Этимологически и правописен речник на български книжовен език. София, 1941, с. 241 (далее — Младенов). Дальнейшие и.-е. связи толкуются по-разному. Махек сравнивает чеш. *klamati* с лит. *krōpiu*, *kropi*, допуская мену *U/r*, *m/p*. Славский сопоставляет с др.-инд. *klāmyati*, *klāmati* ‘ослабевать, уставать’.

<sup>123</sup> Бояджиев Т. Речник на говора на с. Съчанли, Гюмюрджинско. — Българска диалектология. VI. София, 1971, с. 43 (далее — БД).

<sup>124</sup> Попов К. Говорът на с. Габаре, Белослатинско. — В кн.: Известия на Института за български език. София, 1956, IV, с. 158.

*klisim* то же (Вук; RJA V, 18, 80—81; с XVIII в.), словен. *кайк*. *klisati* то же (Plet. I, 407). Возможно, эта основа связана с чередованием с \**kleup-s-*, продолжением его являются болг. *клюсé*, с.-хорв. *кљúсе* ‘лошадь’, словен. *kljúse* ‘кляча’<sup>125</sup>.

\**klyura*/\**klyurъ*: с.-хорв. *klip*, род. п. *klípa* м. р. ‘пебольшая палка, короткая и толстая’ (Вук, с XVIII в.), ‘вид колоса’, *klípa* то же (RJA V, 18, 78—79), словен. *кайк*. *klíp* м. р. ‘початок кукурузы’ (Plet. I, 407), *klípa* ‘палка’, Бела Краина (*Šašelj* I, 263). Данная основа, не имеющая славянских соответствий, может быть истолкована как продолжение корня \**klyp-*,ср. \**kly(p)-sati*. С другой степенью чередования болг. *клуп* ‘петля’, ‘узел’, словен. *klup* ‘веко’<sup>126</sup>.

\**lil-*: с.-хорв. *lila* ж. р. ‘то, что сдирается с коры бересы или черешни’ (у Вука как фольклорный термин), словен. *lilek* м. р. ‘кожа, сброшенная змеей’, ‘тонкое березовое лыко’, *liliti* ‘снимать мягкую кожу, тонкое лыко’ (Plet. I, 519). Родственно лит. *leilėti* ‘становится худым’<sup>127</sup>. Связано чередованием с \**lin'ati* и \**lēniti*<sup>128</sup>; ср. словен. *léniti* ‘обдирать’, ‘липять, сбрасывать с себя кожу’ (Plet. I, 507), в болгарском, возможно, с тем же корнем прилаг. *нл'ёнйт* ‘открытый, без леса’<sup>129</sup>.

\**luta*: словен. *lúta* ж. р. ‘остатки после сбора урожая’ (Plet. I, 538) и, возможно, с.-хорв. *lutak*, род. п. *-tka* м. р. в значении ‘топко обработанная кожа (дикой козы)’ (RJA VI, 25, 228—229 с указанием на итал. *aluta*). Словен. *lúta* возводят к и.-е. \**lēu-* ‘пустить, оставить’ с расширителем *-t*<sup>130</sup>. И.-е. \**lēu-* продолжают словен. *leviti se* ‘линять’, *levka* ‘незрелый плод, упавший с дерева’ (Plet. II, 515), а также, видимо, болг. *лèфкъ* ж. р. ‘сорная трава, бурьян, растущий на влажных местах’<sup>131</sup>.

<sup>125</sup> Основы \**klup*/\**klyp-* без расширителя *-s* продолжают ст.-польск. *klupić* (*się*) ‘клониться’, russk. *клипать* ‘хромать’, чеш. вал. *klüpřít* ‘повиновать’ и др. (*Stawski*, II, с. 242, 243; *Machek*<sup>2</sup>, с. 261; *Фасмер*, II, с. 256, 258; *Трубачев* О. Н. Проспект, с. 58, 59. Бернекер неубедительно связывал словен. и с.-хорв. лексемы с слав. \**klinъ* (*Berneker*, I, с. 520).

<sup>126</sup> *Stawski*, II, с. 242, 243; *Куркина Л. В.* К реконструкции этимологических связей основ с дифтонгом на *-u*, стр. 74. Существуют и другие объяснения. По мнению Бернекера, родственно слов. \**klepati*, \**klapati* (*Berneker*, I, с. 520). Брюкнер связывал с \**klinъ* (*Brückner*, с. 234); Махек сближал с лит. *kleipti* ‘ступать нетвердо, шататься’, (*Machek*<sup>1</sup>, с. 205; *Machek*<sup>2</sup>, с. 257), у Скока находим сравнение с russk. *клипеть* ‘клини, затычка’ по чеш. *klípati*, *klípni* ‘тяжело ступить’, лит. *sklýpas* ‘поскut, клочок земли’ (*Skok*, II, с. 100). Такое же сопоставление с russk. *клипеть* у *Фасмера* (*Фасмер*, II, с. 251).

<sup>127</sup> *Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, I. Bern, 1949, с. 662.

<sup>128</sup> *Berneker*, II, с. 722; *Machek*<sup>1</sup>, с. 270; *Stawski*, IV, с. 267; *Skok*, II, с. 302; *Фасмер*, II, с. 482.

<sup>129</sup> Г. Горох. Странджанская говор.—БД, I, с. 127.

<sup>130</sup> *Berneker*, I, с. 722; *Machek*<sup>1</sup>, с. 265; *Bezljaj. Eseji*, с. 125; *Фасмер*, II, с. 533; *Безлай Ф.* Опыт работы над словенским этимологическим словарем, с. 48. Родственно гор. *lēwjan* ‘предавать’, лит. *lavónas* ‘труп’, *pa-liáuti* ‘прекращать’.

<sup>131</sup> *Бояджиев Т.* Из лексиката на с. Дервент, Дедеагачко.—БД, V, с. 233.

\*ləz-: словен. *ob-lèzniti*, *ob-òlzniti* ‘лизнуть’, с.-хорв. *läznem*, *läznuti* то же, др.-чеш. *lzati*. По Бернекеру, эта основа отражает ступень редукции общеслав. \**lizati*<sup>132</sup>.

\*na-sъ-tor-: с.-хорв. *nastor* м.р. ‘ненависть, злоба’, *nastoriti*, -im ‘питать отвращение’ (RJA VII, 33, 661: Белостенец, Стулли, Ямбрешич, Вольтиджи), словен. *nástor* м.р. ‘упрямство, вражда’, *nástoren* ‘упрямый’ (Plet. I, 670), ‘надоедливый’<sup>133</sup>. Связано чередованием с общеслав. гл. \**terti*, \**tъrъtъ*<sup>134</sup>.

\*об-ръпъкъ/\*об-ръпъка: с.-хорв. *opanak* м.р., чак. *opanka* ж.р. ‘лашоть’ (RJA IX, 39, 21: с XVI в.), словен. *opánka* то же (Plet. I, 831: р-н Марибора), *opánka* то же (Jarnik 12). Родственно слав. \**pēti*, \**rъpъtъ*. Продление ступени редукции в корне представляет болг. *опинъкъ*, *опинок* ‘лашоть’<sup>135</sup>.

\*pyriti: с.-хорв. *piriti* ‘гореть, шылать’ (RJA IX, 42, 865: у одного писца), словен. *za-píriti se* ‘покраснеть’ (Plet. II, 863), далее чеш. *pyřiti* ‘краснеть’. Другую ступень чередования отражает основа \**puriti*:ср. болг. *зăпури* ‘зажечь’, с.-хорв. *pýriti* ‘печь’<sup>136</sup>.

\*tъbъ-: с.-хорв. *rb* м.р. -*rъbina* ж.р. ‘осколок, черепок’, *rbak* то же (RJA XIII, 58, 788), словен. *rba* ж.р. ‘зеленая ореховая скорлупа’, *rbâd* ж.р. ‘корь’, *rbina-rba* (Plet. II, 411). Этимологизируется как родственное, с одной стороны, лтш. *rubinat* ‘делать зарубки, грызть’, а с другой — праслав. \**rōbiti*<sup>137</sup>.

\*sъ-tog-: с.-хорв. чак. *stûža* ‘ремень’<sup>138</sup>, *stûž* ж.р. ‘кордоп, заслон’ (Iveković-Broz II, 487: горное Приморье), словен. *stoglja*, *stogljaj* ‘ремень, шнурок’ (Plet. II, 577), *stogljaj* ‘шнурок, тесьма, ligula’<sup>139</sup>. Отсутствует в сербохорватском шток. и болгарском. Ср. чеш. *stouha*, *stuha* ‘шнурок’, польск. *w-stęga* перв. ‘запонка, нитка, тесьма’, др.-русск. *сустугъ* ‘металлическая нагрудная пряжка, застежка’ и *стуга* то же (Срезневский III, стб. 628). Родственно общеслав. \**tęgnoti*<sup>140</sup>.

<sup>132</sup> Berneker, I, s. 726.

<sup>133</sup> Slovarski paberki.— LjZv, 1891, XI, s. 299.

<sup>134</sup> Варбот Ж. Ж. О возможностях диахронического истолкования морфонологической вариантности в славянских отлагательных именах.— В кн.: Славянское языкознание. VII Международный стезд славистов. М., 1973, с. 98.

<sup>135</sup> Popović, s. 17.

<sup>136</sup> Miklosich, s. 269; Machek<sup>1</sup>, s. 410; Machek<sup>2</sup>, s. 502; Popović, с. 540—541; Фасмер, III, с. 419; Български етимологичен речник, св. VIII. София, 1971, с. 605.

<sup>137</sup> Этимологический словарь славянских языков, выш. 1; в статье на \**arebъ*. Иначе Безлай: реконструирует как \**rebëdъ*, ср. русск. *рабой* (Bezlaj. Eséji, s. 78).

<sup>138</sup> Popović I. Die Berührungen des Südslavischen und des Nordslavischen in Noricum in Pannonien und in Dazien.— «Die Welt der Slaven», 1962, VII, S. 81.

<sup>139</sup> Megiser. Dictionarium 1744.

<sup>140</sup> Brückner, s. 635; Machek<sup>1</sup>, s. 483; Machek<sup>2</sup>, s. 590; для чеш. *stouha* реконструируется форма \**vъz-tega*. Славянские материалы не дают оснований для реконструкции префикса \**vъz-*. О русских основах см.: Фасмер, III, с. 810.

\**stram-*: с.-хорв. *dalma*, *strāmica* ‘приставная лестница, стремянка’ (Iveković-Broz II, 478), словен. *strama*, *štrama* ‘вертикальный опорный брус в санях’ (Plet. II, 583, 647), далее ср. др.-руск. *острамокъ* ‘охапка’, слвц. *stram* ‘вид саней — с толстым опорным бруском’<sup>141</sup>. Апофонические варианты этой основы — \**strѣтъ* (ср. болг. *стрѣмен* ‘крутой’) и \**stremъ* (ср. болг. родоп. *стрем* ‘крытый внутренний двор в доме; нижний этаж’<sup>142</sup>, словен. *stremelj*, *štremelj* ‘колода, пень’, ‘кочерыжка’)<sup>143</sup>.

\**ščer-*: хорв. *ošterak* ‘стружка’ (Фасмер IV, 502), словен. *ščér*, род. п. *ščéra* ‘шепка’, *ščérek* ‘чертенок для прививки’, *ščerica* то же (Plet. II, 619), далее ср. др.-чеш. *ščer* ‘чертенок для прививки’,польск. *szczep* то же, русск. *щепа*. Другая ступень чередования \**skēp-* представлена во всех ю.-слав. языках: ц.-слав. *щапъ* ‘baculum’, болг. *щап* ‘палка’, с.-хорв. *štán* то же, словен. *ščár* то же. Общеслав. вариант основы — \**skorъсь*: ср. ст.-слав. *скопыца* (Супр.), болг. *скопéц* и др.<sup>144</sup>

Западная и восточная части ю.-слав. языков представляют апофонические варианты именной основы, соотносительной с гл. \**terti*, \**tъrъ* ‘терть’. В западной части засвидетельствована основа \**tir-* с отражением продления ступени редукции: ср. словен. *tirina*, *tirine* ‘отруби’ (ю.-вост. Штирия), *tîrje* ‘сено’, ‘остатки основы, к которым ткач привязывает нити’, *tirji* мн. ч. ‘концы нитей’ (Plet. II, 670), далее *ternjak*, *tirnik* ‘хлеб из смешанного зерна’<sup>145</sup>, хорв.-кайк. *tiriné* ср. р. ‘льняная тряпочка, которую прикладывают к ране’ (RJA XVIII, 76, 338: Белостенец). Ступень редукции в корне представляют два ряда основ, различающиеся семантически: с одной стороны, с.-хорв. *trice* ‘мякина’ (Iveković-Broz II, 589) и болг. *трѝна* ж. р. соб. ‘остатки от сена’<sup>146</sup>, *трици* ‘отруби’<sup>147</sup>, а с другой,— др.-серб. *utrište* ‘поле’, с.-хорв. *utrina* ‘поле, луг, выгон’, словен. *utr* ‘сильно вытоптанная поверхность’<sup>148</sup>. В юго-западной части ю.-слав. языков отмечено сугубо локальное образование \**tara*: ср. словен. *tara* ‘ткацкий станок’<sup>149</sup> и с.-хорв. *tåra* то же (RJA XVIII, 75, 107). Эта лексема

<sup>141</sup> Macheck 1, с. 475—476; Bezlaj. Eseji, с. 119; Фасмер, III, с. 166.

<sup>142</sup> Цитируется по работе: Варбот Ж. Ж. О возможностях диахронического истолкования, с. 110. Здесь для болг. *стрем* реконструируется другая исходная форма \**strѣтъ*.

<sup>143</sup> Бездай Ф. Опыт работы над словенским этимологическим словарем, с. 52.

<sup>144</sup> Macheck 2, с. 626; Фасмер, III, с. 650; IV, с. 502; 496: родственно лит. *sköpti*, *skapiū* ‘вырезать что-либо’, лтш. *sképs* ‘кошё’.

<sup>145</sup> Об этих словен. лексемах см.: Strelak K. Slavische Wortdeutungen.— AfslPh, 1905, XXVIII, с. 68—69; Bezlaj-Krevet L. Slovenska tkalska terminologija.— JIS, 1968, XIII, 3, с. 88.

<sup>146</sup> Младенов, с. 639.

<sup>147</sup> Божкова З. Принос към речника на софийский говор.— БД, I, с. 269.

<sup>148</sup> Popović, с. 312.

<sup>149</sup> Трубачев О. Н. Ремесленная терминология в славянских языках. М., 1966, с. 128.

несет в себе признаки позднего названия и скорее всего является балканским южнославянского происхождения.

Следы билатерального чередования *\*tur-*: *\*tvor-* сохраняют словен. *tur* м. р. 'нарыв, абсцесс' и *tvor* то же (Plet. II, 703)<sup>150</sup>, с.-хорв. *tur* м. р. 'чирей, прыщ' (RJA XVIII, 78, 924: Витезович) и твёр 'создание, творение'<sup>151</sup>. В восточной части ю.-слав. языков находим только один вариант основы — *\*tvor-*.

Только в западной группе ю.-слав. языков представлено особое образование с *\*vъrot-* в значении 'ключ, источник': ср. словен. *vrótek*, с.-хорв. *vrútak*, далее ср. др.-русск. *въртъцъ*. По происхождению это старое действительное причастие наст. вр. от гл. *\*vъrěti*, *\*vъrø*<sup>152</sup>. Восточная часть ю.-слав. языков знает другой апофонический вариант отглагольный основы с тем же значением — болг. *извор*.

Апофонические варианты основ, разделяющие ю.-слав. языки на две части, восходят к периоду диалектного развития и.-е. языков и эпохе праславянского языка. Ср. *\*brukati*: *\*brъkati*, *\*klup-*: *\*klyp-*, *\*luta*: *\*lěv-*, *\*lil-*: *\*lěn-*, *\*na-sb-tor-*: *\*terti*, *\*puriti* *\*pyriti*, *\*rъb-*: *\*rub-*/*\*røb-*, *\*sъ-tqg-*: *\*tęg-*, *\*tur-*: *\*tvor-*. Варианты с продлением ступени редукции и удлинением корневого гласного составляют особенность праславянского языка периода его диалектного развития: ср. *\*klamati*, *\*ščarъ*, *\*stramъ*, *\*tara*, *\*tir-*, *\*kavelъ*, болг. *квачка*, *опинък*. Как наиболее поздние могут быть истолкованы основы, корневой вокализм которых повторяет вокализм исходного глагола: ср. *\*vъrotъkъ* и *\*vъrěti*, с.-хорв. *trice*, болг. *тръна* и *\*tъrø*. Не вполне ясный случай представляет отношение *\*grust-*: *\*grъst-*, не исключена возможность чисто фонетической редукции корневого гласного в словенском и сербохорватском.

\*

Произведенная нами выборка лексического материала подтверждает большую близость словенского и западных диалектов (кайкав., чакав.) сербохорватского языка. Лексика, таким образом, дополняет тот фонетический и морфологический материал, на основании которого строится классификация ю.-слав. языков. Осмысление тех глубоких различий, которые разделяют ю.-слав. языки на две области — западную и восточную, предполагает решение основного вопроса: когда и где произошла дезинтеграция южных славян. Возможно, истоки этой языковой дифференциации восходят к праславянской эпохе, что предполагает существование

<sup>150</sup> Barlè J. Iz narodne zakladnice.— LMS, 1893, с. 37.

<sup>151</sup> Ramovš F. Sprachliche Miszellen aus dem Slovenischen.— AfslPh, 1916, XXXVI, с. 447, 448; Куркина Л. В. К реконструкции этимологических связей основ с дифтонгом на -у, с. 77 и сл.

<sup>152</sup> Об этом см.: Фасмер, I, с. 362; Bezlaj. Eseji, с. 131; Vasmer M. Alte-slavische Participlia.— In: Mélanges linguistique offerts à H. Pedersen. Aarhus-København, 1937; Popović, с. 312, 313.

вание уже в праславянском единого ю.-слав. наречия. Не исключено, что причина этих расхождений в том, что славяне перемещались на юг двумя волнами в двух направлениях — одно шло через Паннонию, другое через Дакию. Возможно и третье объяснение: диалектные различия сложились после переселения на новую родину и были обусловлены тем, что диалекты, занимающие западную и восточную окраины ю.-слав. пространства, в течение длительного времени были территориально разобщены. В работах и исследованиях, посвященных этим проблемам, выдвигается на первый план та или иная причина. Так, Ф. Рамовш<sup>153</sup> доказывал, что формирование основных черт ю.-слав. языков произошло в условиях жизни на новой родине. А. Белич<sup>154</sup> и А. Маргулис<sup>155</sup> относят возникновение основных диалектных различий к добалканской эпохе. По мнению Белича, словенский и сербохорватский развились из единого славянского наречия, общность их не была нарушена на новой территории. Вај-Вейк<sup>156</sup>, а в последнее время П. Ивич<sup>157</sup> придают большое значение тому обстоятельству, что после переселения на Балканы западная и восточная части ю.-слав. языков, разделенные балкано-романскими диалектами или широкой горной полосой, длительное время не имели никаких контактов. Новый взгляд на формирование трех групп славянских языков находим в работе О. Н. Трубачева «Ранние славянские этнонимы — свидетели миграции славян»<sup>158</sup>. О. Н. Трубачев, подводя первые итоги работы над «Этимологическим словарем славянских языков», приходит к выводам, побуждающим пересмотреть традиционную теорию о заселении Юга, Запада и Востока «особыми монолитными потоками из первоначального единого славянского центра». Чрезвычайно пестрые лексические изоглоссы являются свидетельством «первоначальной этнолингвистической пестроты носителей славянских миграций к Западу, Югу и Северо-Востоку»<sup>159</sup>. Основной вывод работы: 1) западнославянская, восточнославянская, южнославянская группы вторично консолидировались из компонентов самого разного языкового происхождения; 2) первоначальная Славия была не языковым монолитом, а его противоположностью, т. е. если монолит —

<sup>153</sup> Ramovš F. Über die Stellung des Slovenischen im Kreise der slavischen Sprachen.— In: Annales Academiae scientiarum fennicae, ser. B, t. XXVII. Helsinki, 1932, S. 218—238.

<sup>154</sup> Belić A. Les rapports mutuels du serbo-croate et du slovène.— «Revue des études slave», I, s. 20—27.

<sup>155</sup> Marguliés A. Historische Grundlagen der südslavischen Sprachgliederung.— AfslPh, 1926, XL, S. 197—222.

<sup>156</sup> Wijk M. van. O stosunkach pokrewieństwa między językami południowo-słowiańskimi.— «Prace filologiczne», 1927, XI, s. 94—110.

<sup>157</sup> Ivic P. Српски народ и његов језик. Београд, 1971, гл. I.

<sup>158</sup> Полное название см.: Трубачев О. Н. Ранние славянские этнонимы — свидетели миграции славян. I. Славяне и Карпаты II. Тип славянского этнонима III. Этнонимы и расселение славян.— ВЯ, 1974, 6.

<sup>159</sup> Там же.

это отсутствие противопоставленных изоглосс, то противоположность ему — сложная совокупность изоглосс»<sup>160</sup>.

Видимо, те диалектные различия, которые разъединяют ю.-слав. языки, не имеют простого однозначного объяснения. Ретроспективный анализ раскрывает сложный процесс формирования и развития ю.-слав. наречия. В лексическом отношении словенский и сербохорватский образуют такой диалектный комплекс, который характеризует архаизмы и новообразования. Общие явления, объединяющие словенский и сербохорватский,— это частично собственные новообразования, частично праславянские новообразования, локально ограниченные, частично праславянские диалектизмы, которые унаследованы из индоевропейского. В значительной степени специфику лексики этих языков определили влияние романского субстрата и территориальная удаленность от остальной части южных славян.

---

<sup>160</sup> Там же.

# МОРАВСКАЯ НАРОДНОСТЬ В ЭПОХУ РАННЕГО ФЕОДАЛИЗМА

*Любомир Гавлик*

Изучение вопросов генезиса и развития средневековых народностей является относительно молодой отраслью науки, которую вызвало к жизни развитие исследований о возникновении нации как этно-политической категории периода буржуазного общества. Если установлено, что каждый социальный организм имеет определенный уровень самосознания, который отвечает ступени его развития, то, разумеется, это положение действительно и для феодальной народности как определенной категории, где сознание может успешно существовать только в связи с сознанием классовым и политическим, определяется им и определяет его. Из этого следует, что решающая роль при формировании народности принадлежит политической или государственной организации. Потеря государственности и самостоятельности были серьезным препятствием в развитии народности, а иногда, хотя и не всегда, вызывали ее внезапную гибель или затянувшееся на несколько столетий угасание.

Если мы обратимся к вопросам генезиса и формирования народности в раннефеодальный период, то необходимо коснуться также некоторых методологических вопросов. Проблематика возникновения народности является предметом исследования не только исторической науки, но и других научных дисциплин, в том числе лингвистики, археологии, этнографии и антропологии. Здесь необходимо учитывать масштаб возможного типологического определения упомянутого этноса, определение которого, однако, является вопросом значительно более сложным, чем чисто типологическая классификация. Поэтому прямолинейные выводы, основанные лишь на лингвистическом или (первоначальном фактическом) антропологическом материале, недостаточны, а при идентификации этно-социальных организмов следует рассматривать достижения всех научных дисциплин в комплексе и, кроме того, принимать во внимание также и другие факторы и суждения<sup>1</sup>. Нет необходимости подчеркивать, что то, что мы определяем как этнос разных категорий, по своей сути является общественными организмами, живущими на определенной территории, с определенным образом (образами) жизни, речи (языком или же диалектами), материальной или духовной культурой (культурами), строем, но с единым для всех общим сознанием (естественное, доб-

<sup>1</sup> Havlik L. E. Slovanské raně feudální národnosti a otázky jejich genese.—«Slovanský přehled», 1974, 1, s. 44—56.

ровольное или насильственное) принадлежности к таким образованиям и сообществам. И только проявление этого сознания в культурном образе духовной и материальной жизни, насколько его можно методически зафиксировать и учитывать как объективный фактор в области ли археологии, лингвистики или социальной и политической истории, может вести к реальной идентификации этноса. В ходе этого гносеологического процесса выступают как равнозначные диалектическая комбинация изучения проявлений как внутреннего сознания этноса, так и его восприятие внешним миром. Когда же речь идет об исследовании определенного социально-экономического целого как этноса, то из этого вытекает практический вывод — в письменных источниках в первую очередь надо прослеживать этнические проявления такого целого исходя из рамок политического образования, обозначенного собственным или данным именем, которое также отражается в письменных документах. Необходимо поэтому обратиться не только к развитию внутреннего самосознания в рамках государственного организма, как оно отражается в исторических текстах, в языке, в материальной и духовной культуре, но одновременно также к восприятию и оценке этнополитического развития исследуемой народности в зарубежных источниках.

И если с точки зрения континуитета развития иногда трудно установить определенный исходный период, с которого начали возникать предпосылки формирования славянских средневековых народностей, мы полагаем, что корни такого формирования уходят ко времени великой евроазиатской миграции. Начало образования народностей у славян относится уже к периоду их этногенеза. В рамках интеграционного процесса одновременно проходил в диалектическом единстве и процесс дифференциации, в конечной стадии которого мы находим или уже сформированные или еще продолжающие формироваться средневековые народности. Из этого факта вытекает, что вопросы этногенеза славян являются одновременно проблематикой этногенеза славянских народностей<sup>2</sup>.

В историографии некоторых славянских стран уделялось особое внимание вопросам возникновения славянских народностей. Рассматривались также некоторые теоретические аспекты проблематики раннефеодальных народностей. Польский историк А. Гейштор предполагает, что до образования польской народности существовало более чем столетие объединение «польских» племен. Оно существовало на территории, где позднее образовалось Польское государство, т. е. до его образования. Поэтому расширение великopolского государства часто кончалось присоединением территорий, населенных народами, близкими этнически и по языку. Возникновение народности А. Гейштор считает резуль-

<sup>2</sup> См. также: Бромлей Ю. В. К изучению роли переселений народов в формировании новых этнических общностей.— «Советская этнография», 1968, № 2.

татом государственной политики, вытекающей из объективного развития польской народности, формированию психического сознания которой способствовало также ее отличие от соседей. Процесс формирования народности завершился с возникновением и укреплением государства<sup>3</sup>, что, однако, не объясняет в полной мере того, как могла проходить этническая интеграция до возникновения раннефеодальной польской монархии. В этот период, на наш взгляд, предпосылки существования сознания «польской» принадлежности являются проблематичными. Можно, однако, говорить об определенных этнических союзах, как указывает Г. Ловмяньский<sup>4</sup>, которые, очевидно, возникали там уже в период лужицкой культуры. Но их закрепило только государство, создав рамки консолидации польской народности.

Здесь предполагается, стало быть, существование какой-то зарождающейся народности, реализованной затем в рамках раннефеодального польского государства. В действительности же сознание «польской» принадлежности могло распространиться только с расширением великопольской (полянской) гегемонии в конце X — начале XI столетия, и только политическая власть, экономическая и культурная динамичность и интеграционный перевес полян привел к тому, что образование в рамках пястовской монархии получило в будущем название от полян, а, например, не от вислян, мазовшан, поморян и т. д. В этих образованиях также проходило формирование пародностей, и их названия при благоприятных условиях развития могли распространиться по всей территории Польши, поэтому возникает также вопрос, можно ли, например, в отношении мазовшан (около 1037—1047 гг.) говорить лишь о сепаратистских тенденциях, хотя эти события относятся ко времени развития великопольского центра, а не о последних попытках сохранения первоначальной самостоятельности по отношению к централизующей, интегрирующей гегемонии полян. Хотя этническое родство на территории Польши до возникновения пястовской монархии бесспорно существовало, нельзя его подменять родством внутри «польской» народности, создание которой произошло только в период установления гегемонии полян.

Именно в этот период началось распространение из Великой Польши в остальные, до того времени еще непольские земли, сознания принадлежности к государственно-политической организации полян, а позже к этническому типу полян. Кроме того, определенную роль в создании общепольского сознания сыграло также архиепископство в Гнездо, которое действовало как этнически объединяющий фактор.

<sup>3</sup> Uwagi o kształtowaniu się narodowości polskiej wo wcześniejszym średniowieczu na ziemiach polskich.—«*Studia Staropolskie*», 1956, III, s. 437—452; Kształtowanie się narodowości polskiej, In: *Historia Polski*, I. Warszawa 1957, s. 173—174.

<sup>4</sup> Uksztaltowanie się narodowości polskiej. In: *Historia Polski do r. 1466*. Warszawa, 1960, s. 91—92.

Большое внимание также уделяется возникновению древнерусской народности. Эту проблематику в общих чертах наметил Л. В. Черепнин<sup>5</sup>. Процесс ее создания занял более длительный период и начался самое позднее еще в VI в., когда имеются упоминания о народе под именем Rhos. Но, возможно, что он начался еще раньше, в ходе миграции балтийских, уgroфинских, иранских и тюркских этнических групп и в ходе этногенеза славян<sup>6</sup>. Основой образования рапнефеодальной русской народности стал процесс возникновения феодальных производственных отношений. Значительную роль тут сыграло государство, возникшее в интересах господствующего класса. Распространение правительственныех, судебных, административных и налоговых учреждений из Киева по всей территории, постепенно подчиненной власти киевских русских князей и присоединенной к русскому государству, подчилило население восточнославянских территорий государственной власти русского государства как органа феодального класса.

Каждое восточнославянское княжество (русов, северян, древлян, дреговичей, кривичей, радимичей) имело первоначально свое собственное княжение, права, собственные законы и традиции, это были какие-то протогосударственные образования и каждое из них представляло, собственно, одну народность. Только в ходе распространения гегемонии киевского русского княжества над другими княжествами и постепенного образования системы древнерусского государства в X в. возникает простор для формирования русской народности на всей территории, занимаемой восточными славянами. В XI в. уже на всей этой области распространилось общее самосознание взаимной принадлежности к Киеву и к русской народности. Важную роль в этом процессе сыграло также распространение христианства. Признаками, характеризующими народность, были также общность языка, алфавита (кириллицы), литературного творчества и постепенная нивелировка материальной культуры. Общность психологического характера народности появилась в передовой части общества, которая была носителем прогресса. К ней принадлежала та часть господствующего класса, которая своей деятельностью способствовала интеграции народности и борьбе за независимость.

Важным и сложным вопросом всего развития является проблематика классовой точки зрения на принадлежность к определен-

<sup>5</sup> Исторические условия формирования русской народности до конца XV в.— В кн.: Вопросы формирования русской народности и нации. М., 1958, с. 5—54.

<sup>6</sup> См.: Третьяков П. Н. Уgro-финны, балты и славяне на Днепре и Волге. М.— Л., 1966; Уистоков древнерусской народности. Л., 1970; Смирнов А. П., Алексеев Л. В. Славянские, уgro-финские и балтийские племена в последние века до н. э.— первые века н. э.— В кн.: История СССР, т. I. М., 1966, с. 300—320; Рыбаков Б. А. Славяне в VI в. н. э. Предпосылки образования русского государства. Там же, с. 337—364.

ной народности и вопрос классовой культуры. Все эти проблемы являются мало исследованной областью, поэтому очень уместно замечание З. В. Удальцовой, что вопросы возникновения народности остаются еще белым пятном в советской историографии<sup>7</sup>. Следует также учитывать, что борьба, которую вели Киевское государство, или же его поляно-северское ядро с землями, ставшими его составной частью, с одной стороны, имела характер борьбы с дезинтеграционными устремлениями, а, с другой стороны, для народностей этих земель это была также борьба за самостоятельность<sup>8</sup>. Тем не менее в XII в. и позднее во всех восточнославянских областях уже укрепилось этническое самосознание русских, идейную, политическую и культурную традицию которых оформила «Повесть временных лет».

Показательным для методологии возникновения и зарождения народности является также раннефеодальное развитие на территории Болгарии. Эти вопросы исследовал Д. Ангелов<sup>9</sup>. Начало формирования болгарской славянской народности связано с контактами славян и малочисленных групп сохранившегося фракийского, романского и греческого населения в Нижней Мезии, начиная с VI в. Значительную роль в этногенезе болгарской народности сыграли также тюркские болгары, которые в 680 г. в Мезии вместе со славянским союзом, называемым обычно «семь племен», создали болгарское государство, в котором главную политическую роль играли болгары-оногундуры. Только в IX в. произошло включение остальных славянских союзов в «княжества» в систему Болгарского государства. С середины IX в. в византийских источниках перестало употребляться характерное наименование Σχλαβόι, Σχλαβόνι, а начало преобладать название «болгары», как определение данной славянской народности. Этому качественному изменению способствовали два события. Первым из них было восстание болгарских вельмож — боляр против христианизации, шедшей из Греции. После подавления их мятежа в 864 г. 52 главных болярина (представители государственной власти) вместе с семьями были казнены. Их поражение привело к чувствительному ослаблению тюркской болгарской этнической группы, особенно в центральной государственной администрации, где они были заменены славянской аристократией, которая, несомненно, гораздо раньше испытала влияние государственной идеологии, традиций и приняла, наконец, как свое собственное, и само их имя «болгары», хотя одновременно продолжала сохранять свой славянский язык

<sup>7</sup> О работе секции научного совета «Генезис и развитие феодализма». — В кн.: Проблемы возникновения феодализма у народов СССР. М., 1969, с. 22.

<sup>8</sup> Пашуто В. Т. Особенности этнической структуры древнерусского государства. В кн.: Acta Balto-Slavica, 1969, 6, с. 159, а также: Проблемы возникновения феодализма..., 97.

<sup>9</sup> Образуване на българската народност, в: История на България, I. София, 1961, с. 121; Образуване на българската народност. София, 1971.

и свою культуру. Тем самым были созданы предпосылки и для другого события, также связанного с процессом христианизации, которая означала одновременно славянизацию государственной администрации и церкви и вытеснение славянским литературным языком греческого. Как указывает Д. Ангелов<sup>10</sup>, особое значение здесь имела деятельность моравской церковной эмиграции во главе с Климентом, Наумом, Константином и др. О значении моравского духовного наследия и в развитии русской культуры пишет, наконец, и «Повесть временных лет». Свою роль в образовании славянской болгарской народности сыграли также борьба с Византией, а также войны с мадьярами в конце IX в., которые потребовали больших усилий и жертв всего населения Болгарии. Таким образом, в X в. болгары фигурировали в истории уже как сформированная славянская народность. Сложные процессы формирования народности из двух различных этнических групп проходили также при возникновении других славянских народностей, и болгарский пример, хотя и известен нам как последний, был, однако, далеко не первым и не единственным в истории славянского этногенеза. Достаточно вспомнить, что в миграции участвовал не только славянский этнос, но и иранский, балтийский, угро-финский и тюркский и что в Средней Европе, видимо, были некоторые предпосылки и для возникновения славянской народности во владениях авар.

Актуальное значение приобретает также изучение генезиса моравской народности как научной проблемы, объясняющей происхождение народностей современной Чехословакии. Впервые этот вопрос был поставлен И. Деканом, который говорил о моравско-словенской народности<sup>11</sup>. Кроме того, эту проблему исследовали И. Кудлачек и П. Раткош, которые ввели в научный оборот термины «великоморавская народность» и «староморавская народность». На наш взгляд, эти термины неточны и пеисторичны, более подходящим является термин «моравская народность»<sup>12</sup>, который, конечно, связан только с территорией старой Моравии на Дунае, в бассейне Моравы и Вага и с будущей территорией Словакии, однако никоим образом он не связан со всей территорией Великой Моравии или Великоморавской державы<sup>13</sup>. Уделялось

<sup>10</sup> Кирил и Методий и византийската култура и политика.— В кн.: Хиляда и сто години на славянска писменост 863—1963. София, 1963, с. 67.

<sup>11</sup> Dekan J. O vzniku národností před X. stoletím na území naší vlasti.— «Věstník ČSAV», 1954, 63, č. 9, 10.

<sup>12</sup> Kudláček J. K otázke vznikania národnosti na našom území.— «Historický časopis», 1956, s. 397—410; *ibidem*. K novším názorom o vznikání feudálnych národností na našom území.— «Historický časopis», 1957, s. 357—367, также: Dekan J.— «Historický časopis», 1958, s. 257—268; Ratkoš P. K diskusi o vznikání národnosti na našom území.— «Historický časopis», 1963, s. 270, 273.

<sup>13</sup> Havlík L. E. K otázce národnosti na území Velké Moravy.— «Historický časopis», 1957, s. 493—503; *idem*. Einige Erwägungen zum ethnogenetischen

внимание не только проблематике возникновения моравской народности, но также и характеристике ее проявлений и определению ее роли в развитии других славянских народностей (хорватской, чешской, болгарской, польской, русской)<sup>14</sup>. Не может остаться без внимания и тот факт, что процесс самосознания мораван как народности был связан с ростом культурно-политического сознания и с сознанием языкового родства славян<sup>15</sup>. По-новому проблематику моравской народности поставил П. Раткош, который опять возвратился к названию «староморавская народность»<sup>16</sup>. Он пишет о его распространении до Нитры и приводит романтический взгляд Яноша Заборского, согласно которому жители Моравии и Словакии назывались (в IX в.) «словени» и «словаки» как народ, а «мораванами» обозначались в политическом отношении<sup>17</sup>. К этим вопросам вновь вернулся и Й. Декан, который указывает, что сознание родства, взаимосвязи проявляется в своеобразии развития Моравии еще в VII в. Он подчеркивает, что это было связано с этническим развитием и такое явление следует характеризовать как появление сознания народности. Сознание моравской народности, по мнению Й. Декана, в IX в. распространилось до области Нитры, население которой в первой трети IX в. называлось, по его мнению, словенами. Существование сознания «словацкого» доморавского своеобразия в области Нитры, по мнению Й. Декана, стало основой формирования «словацкой» народности после падения Великой Моравии<sup>18</sup>. Нам, однако, кажется, что эти корни выходили именно из традиции моравской государственности и культуры.

Из всего этого обзора, с одной стороны, вытекает установленный факт существования в IX и X вв. в той или иной области славянских народностей, с другой стороны, этот обзор показал, что в большинстве исследований речь шла прежде всего об изолированном изучении зарождения народностей, как предшественников современных наций. Притом нередко в данных исследованиях можно проследить влияние национальных моментов. С другой стороны, явным их недостатком является отсутствие сравнительного

---

Prozess auf dem Gebiet Mährens. In: Das Grossmährische Reich. Praha, 1966, s. 268—271.

<sup>14</sup> Havlik L. E. Gens Maravorum. Poznámky k vývoji gentes u Slovanů. In: Strážnice 1945—1964. Brno, 1965, s. 97—152, *idem*. Slovanské raněfeudální národnosti.—«Slovanský přehled», 1974, 1, s. 44—56.

<sup>15</sup> Havlik L. E. Počátky vědomí slovanského příbuzenství. In: Slovanství v národním životě Čechů a Slováků. Praha, 1968, s. 30—35, *idem*. Problematika raně feudálního vědomí slovanského příbuzenství. In: Tradice slovanské kultury v českých zemích. Praha, 1974.

<sup>16</sup> Ratkoš P. Otázky vývoja slovenskej národnosti do začiatku 17. storočí.—«Historický časopis», 1972, 19 n.

<sup>17</sup> Letopis Matice slovenskej, 1873, IX, 1, 16.

<sup>18</sup> Dekan J. Velká Morava a problematika staromoravské národnosti.—«Historický časopis», 1972, s. 173—185.

изучения развития славянских народностей<sup>19</sup>. И хотя целью этой статьи не является сравнительное теоретическое изучение и концентрируется она на проблематике одной народности — моравской, я посчитал необходимым изложить здесь выводы и взгляды на формирование и развитие нескольких славянских народностей с учетом теоретических положений, которые являются общими для развития всех средневековых народностей. При изучении проблематики генезиса и исследовании развития моравской феодальной народности также необходимо признать, что ее развитие рассматривалось отчасти изолированно. Кроме того, оно рассматривалось сквозь призму современной национальной истории и в результате оценка его утратила в значительной мере свою актуальность.

В современной историографии, когда каждая средневековая народность оценивается не только как этническая, но и как политическая и историческая категория, отсутствие исследований по проблематике моравской народности представляет серьезный пробел и недостаток в объективном познании процесса исторического развития. Вместе с тем исследование, ведущееся только с позиций изучения активов и пассивов, которые моравская народность дала сегодняшним нациям и, только с точки зрения их исторического развития, скрывает в себе опасность внесения национальных и антиисторических понятий в исследование и может способствовать только возникновению неисторических, анахронических выводов, когда о территории Моравии в период раннего феодализма говорится как об этнически чешской<sup>20</sup>.

\*

Начало формирования раннефеодальной моравской народности уходит своими корнями в глубокое прошлое, когда славянское население в бассейне Моравы, Дыи и Вага вступило в контакты с остатками старого кельтского, германского, дакского, сарматского и романизированного населения в Подунавье. Но в письменных источниках имя мораван в Средней Европе начало встречаться довольно поздно — с IX в. Источники зафиксировали несколько вариантов названия мораван. В текстах моравского происхождения мы встречаем термины «мсфак(л)иине» — «Мсфак(л)иине» или «мфде Мсфакиине» (Житие Мефодия, X, XII),

<sup>19</sup> Мы попытались это сделать в работе: Slovanské raněfeudální národnosti.— «Slovanský přehled», 1974, 1, s. 44—56.

<sup>20</sup> Этому способствует также языковая модель о прачешском языке. Таким термином обозначается язык как в Чехии, так и в Моравии, где, как увидим дальше, существовали в IX—X вв. специфические моравские языковые признаки. Иная проблема состоит в том, в какой степени с точки зрения истории можно согласиться с тезисом о существовании древнечешского языка в Моравии и лишь о специфических явлениях моравского диалекта, а не о языке.

в *Annales Regni Francorum* (822) — Marvani, в *Descriptio civit et regionum* — Marharii и Merehani, на Майнцском синоде говорилось в 852 г. о gens Maraensium, Альтайские и Гильдесгеймские анналы приводят под 855 и 866 гг. — Marahenses, Хантские анналы под 863—864 гг., 869—872 гг. — Margi, *Conversio Bagoar. et Carant.* (c. 10, 13) — Maraui, Альфред Великий (*Boc the man Orosius nemned*) — Maroaro, Аламанские летописи (892 г.) — Maravenses, также в Сенгалленских летописях, в Петиции баварского епископата (900 г.) приводится название Moravi, в грамоте короля Арнульфа (888 г.) — Maravi, Раффельштеттенском тарифе — Marahi, Гериман (902 г.) — Marahenses или Mari. Регино употребил (846—870, 876, 889 г.) название Marahenses, от 894 г. тоже Marahenses Sclavi наряду с односложным Marahenses. Фульдские летописи употребляли от 846—863 гг. название Sclavi Margenses (варианты Marahenses, Margenses, Maraenses, Margentes), от 872—873 гг. Sclavi Marahenses, их продолжение в Альтайских анналах под 893 г. — Marauani, под 897 г. Marauabitae, под 898 г. gens Marahensium и Marahabitaе, от 899 г. Maraui, Marahenses, Maravenses и от 901 г. Maraui. В греческих текстах употреблялось название Μοράβιαι, а в Летописи Нестора — Морава или Мара-ва<sup>21</sup>.

Хотя в «Повести временных лет» приводится: «...яко пришедшее съдоша на рѣцѣ имянем Марава и прозвашася Морава», однако в данном случае речь шла лишь об этимологической попытке объяснить название народности. Такое объяснение в XII в. было обычным явлением. Достаточно упомянуть, например, *Gesta Hungarorum*, в которых говорится, что Hungari получили название по граду Hung-Ung (c. 13). Утверждение Нестора может быть отчасти правомерным лишь в том случае, если учитывать обозначение мораван в франкских источниках: Margi, Margenses, Mar(a)harii, Marahenses<sup>22</sup>. Само название реки Margus Mar(a)ha в латинско-германской среде означало пограничную реку. Но при этом следует помнить, что и другие реки имели такое название, как, например, Margos (первоначально Vrongos, Angros) в Сербии или Murafa (первоначально Marhva) в Подолии. Но в то же время другие реки такого названия нельзя связывать с этой этимологией. В данном случае можно привести, например, реку Μαρχίος, которая текла с востока и впадала в Азовское море, а в ее ближайших окрестностях в I—III вв. упоминается название Choroathos-Chrouathos (в Танаисе), которое связывается с наз-

<sup>21</sup> См.: *Havlik L. E. K otázce národnosti...* 497 п. Материалы к приведенной номенклатуре и другим цитатам содержатся в кн.: *Magna Moravia fontes historici*, t. I—IV (red. L. E. Havlik). Brno, 1966, 1967, 1969, 1971 (далее — MMFH).

<sup>22</sup> С корнем *marg* связан и герман. *march-*, напр., Marharii. Это название может иметь и другие связи, например, с воинским кличом у псевдо-сарматских антов, который звучал как *marha* (*Ammianus Marcellinus, Res Gest. XIX, 11, 1—7*).

ванием народности хорватов<sup>23</sup>. Нельзя обойти молчанием появления поблизости названия Serbois, Serbi, связанного с названием сербов<sup>24</sup>. Проблематичным является название реки Margos в Средней Азии, нынешняя река Мургаб. Интересно, что там население с VI столетия до н. э. по V столетие н. э. также называлось Margi, а административный центр назывался Маргиша (Margiana), (он прославился изделиями из железа, особенно в период Парфянского царства)<sup>25</sup>. Другое объяснение названия можно связать со значением «воин», «герой», «предводитель», как интерпретируется этоним Maravan в индо-дравидской среде<sup>26</sup>.

При прослеживании появления названия «мораване» не следует делать какие-либо генетические выводы, а только необходимо обратить внимание на то, что самое раннее упоминание названия сходного с термином «мораване», мы встречаем, собственно, уже у Геродота в VI в. до н. э., взятое им из иранской среды — Моравио<sup>27</sup>. Мы ни в коем случае не думаем высказывать сомнения по поводу происхождения названия или этноса мораван, а только хотели бы указать па то, что формирование этносов в динамике исторического процесса было явлением очень сложным и в настоящее время мало исследованным. Примечателен также факт существования большого количества топонимов, показывающих связь с Моравией и мораванами, некоторые из которых, очевидно, связаны с господством мораван в данной области в IX в. (Великоморавской державой); например, Moravany, Morajšupy, Morawinki, Morawczyna, Moravica, Morawsko — в южной Польше; Moravany, Moravicany, Moravec, Moravce, Moravčice, Moravsko — в Чехии; или обозначение Morot/Morot (т. е. древнемадьярское название мораван, которое с XI в. заменено было новым названием — Morva) в Паннонии и в Потисье. Другие названия могут быть связаны с мораванами как колонистами или пленниками, например, Moravce, Moravci, Moravice — в Хорватии, Moravice, Moravica, Moravića — в Банате; или вообще с миграцией, происходившей по самым различным причинам и в разное время: например, Моравица, Морава — в Сербии, Морава, Морависк, Маравци — в Македонии или Мархβιτζη (Моравице) в Салониках. Неясно происхождение топонима Murafa — в Подолии у реки с подобным названием, а также Морависка — в Поднепровье и др.

<sup>23</sup> Latyšev V. *Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini graecae et latinae* 2. Petropoli, 1890, 237, с. 430, 261, с. 445.

<sup>24</sup> Klaudios Ptolemaios. Γεωγραφικη οψεγεις. VII, к. 8, 13; Gaius Plinius Sec. Natur. hist. VI, 19.

<sup>25</sup> История Узбекской ССР, I. Ташкент, 1955, с. 38 и сл.

<sup>26</sup> Zvelebil K. O vývoji některých kmenů jihoindických.— «Geskoslovenska etnografie», 1954, s. 61—62.

<sup>27</sup> История, I. Клио, 125. В иранской среде в этот же период появляется название Narahvaiti, Horohoati, Narahvatis, связанное с хорватами (*Sakač S. Iranische Herkunft des kroatischen Volksnamens*.— «Orient. Christ. Per.», 1949, 15, с. 313—340).

Останется, очевидно, невыясненным вопрос о том, в какой связи находятся названия некоторых мест в Сербии, Македонии и Хорватии с процессом миграции южных мораван, балканских, живших на нижнем течении сербской реки Моравы и около городов Морова — Маргус и Белград, земли которых распространялись и на север от Дуная до Баната. В IX в. упоминается их архонт и епископ<sup>28</sup>, а после IX в. они исчезают из источников и остается неясным, имели ли они какое-либо отношение к средневосточным мораванам и кто они были вообще, хотя ясно, что некоторые сообщения взаимно перекликались.

Наконец, мы не можем игнорировать тот факт, что и сам центр моравского государства, очевидно, носил название Морава, как об этом упоминает один из источников, в котором говорится, что Мефодий ушел «въ градъ Мѣракоу», известный еще и как «urbs Rastizi» (у современных Микульчиц; Ann. Fuld. ad. 870)<sup>29</sup>. Сюда, вероятно, относится и титул Мефодия как «архиепископъ Мѣракы» и archiepiſcorus Marabensis ecclesiae» от 880 г.<sup>30</sup> По всей вероятности, название мораван и их государства были очень тесно связаны с названием их центра.

Если слова Нестора о поселении мораван в Средней Европе были доводом к прекращению толкования их названия, то его слова о миграции могут послужить также к размышлению о начале славянского заселения в области древней Моравии (т. е. на территории современной Моравии, северной части Австрии и западной Словакии): «По мнозѣх же вреꙗнѣх сѣ ли суть словѣни по Дунаеви, где есть пыне Угорьска земля и Болгарьска. И от тѣхъ словѣнъ разишаася по землѣ. ѿко пропадше сѣдоша на рѣкѣ имѧнemъ Морава...» Из текста Нестора вытекало, что мораване пришли в Моравию из областей, лежащих ниже по Дунаю.

Если сравнить археологические данные по проблематике славянского заселения Моравии, то из них следует, что следы пись-

<sup>28</sup> Jirešek K., Radonić J. In: Istorija Srba I. Beograd, 1952, s. 69, также Слово Кирила Философа MMFH, II, 305; III, 402; IV, III.

<sup>29</sup> Памети: Наума II. Город «Могава» относится к Паннонии, но в данном случае речь идет о названии церковного округа, где действовал Мефодий, который с 880 г. называется Моравским.

<sup>30</sup> Моравы Панон'скые (славословие). Здесь «Моравия» может опять обозначать церковный округ. Другие названия «из Моравии» «в Моравию» и т. д. находим в Житии Константина, Житии Мефодия, Проложном Житии Константина, Проложном житии Мефодия, Проложном житии Константина и Мефодия. Здесь речь идет о названии страны, хотя не исключено, что в некоторых случаях и могла идти речь о городе. Упоминание Жития Климента (II, 4) о том, что Мефодий украсил Паннонию тем, что он стал архиепископом Моравии — Morāvou iῆς πανονίας подтверждается не только другими данными этого же источника (III, 10), но вышеупомянутыми данными в Pameti Nauma. О том, что речь шла о городе «Могава» см.: Beneš P. Morāvou τῆς Πανονίας. «Sborník prací filosofické fakulty. Vysoké university», 1959, VIII, E 4, 93 п. С названием города связан и титул Мефодия. 880: archiepiſcorus Marabensis ecclesiae. MMFH, III, Epist. c. 90.

ворской культуры появляются в Северной Моравии и Восточной Словакии уже в I—III столетии, а в конце IV в. можно также, вероятно, говорить о следах черняховской культуры. Наряду с керамикой славянского заселения первой половины V в., тут появляется с начала VI—VII вв. керамика так называемого пражского типа, распространенная на территории государства Само. Далее указывается, что в VII—VIII вв. по соседству жили славянские этнические группы, которые хотя и говорили на близких языках, но в то же время различались своей экономической, общественной и культурной структурой. Нужно иметь в виду, что подунайская керамика, изготовленная на кругу и встречающаяся с конца VI — начала VII вв., исходила от оседлого славянского населения<sup>31</sup>. Не менее интересной является и точка зрения лингвистов, согласно которой процесс возникновения наречий этих областей можно разделить на два этапа. Сначала произошло заселение бассейнов Нитры, Житавы, Грома и Ипеля и территории на юг от них (Паниония); другая группа осела в направлении на запад (бассейн Моравы) и на восток<sup>32</sup>.

Из вышесказанного следует, что вопрос этногенеза мораван является очень сложным. Кроме того, нужно учесть и другие факторы, например проблему некоторых элементов материальной культуры, характерных для материальной культуры мораван, но в то же время свидетельствующих о связях с иранской средой<sup>33</sup>. В этой связи нужно обратить внимание на преимущественно кочевой характер так называемых славянских «варварских королевств» на территории Румынии в VI в., что и определяло миграцию некоторой части славян, при том не только в VI в. и не только на Нижнем Дунае<sup>34</sup>. Эта характеристика относится к господствующим слоям, а не к земледельческому населению<sup>35</sup>. Следует иметь в виду, что областью, раньше всего заселенной мораванами, было среднее и нижнее течение бассейна реки Моравы и Вага. Северная Моравия сохранила преобладание следов славянской миграции с северо-востока, бассейн Дуи длительное время сохранял элементы связей с бывшей римской провинцией на Дунае (Норик), а на стыке этих областей, при впадении Свратки и Сви-

<sup>31</sup> Točík A. Slovania na strednom Dunaji v 5.—8. stor. In: O počiatkoch slovenských dejín. Bratislava, 1965, 22 n, 25 n, 32 n.

<sup>32</sup> Pauliny E. Nárečové členenie slovenčiny v 9.—11. stor. In: O počiatkoch..., s. 254.

<sup>33</sup> В новом свете могли бы предстать рассуждения Г. Вернадского об албанских именах Моймировичей: Great Moravia and White Chorvatia.—«Journal of American Oriental Society», 1945, 65, с. 257—259. Заслуживает внимания также и утверждение о том, что жители городища у Микульчиц, по-видимому, и некоторых других, были, согласно новым антропологическим исследованиям, проведенным М. Стлукалом, несколько иного типа, чем жители окрестных славянских поселений.

<sup>34</sup> Havlik L. E. Slovanska «barbarská království» 6. století na území Rumunska.—«Slovanský přehled», 1974, s. 177—188.

<sup>35</sup> Klanica Z. Velkomoravské řemeslo. Liberec, 1972, s. 21.

тавы, образовалась особая область<sup>36</sup>. В IX в. на всей этой территории распространилась материальная культура мораван, включая области так называемой кестхельской культуры, охватывающей полосу на северном берегу Дуная шириной в несколько десятков километров и датированной VIII в.<sup>37</sup>

Сложность проблематики ранней истории мораван заставляет нас обратиться также и к письменным источникам. Если не считать сообщения о германских королевствах квадов (одно в бассейне среднего и нижнего течения Моравы, другое в бассейне Нитры), соседствовавших на юго-востоке с сарматами, и о государствах ругиев, герулов и лангобардов, то первым письменным сообщением о славянском населении бассейнов Моравы, Вага и Нитры можно считать сообщение Прокопия, согласно которому где-то в конце V или в начале VI столетия часть герулов возвращалась (после поражения от лангобардов) на север через земли славянского этноса. Другое сообщение находим у того же автора. После отхода лангобардов из древней Моравии в Паннонию (в 526—546 гг.) претендент на лангобардский престол Ильдигес искал поддержку и помошь у славян и получил от них войско в количестве 6 тыс. человек. Вероятно, речь шла о славянах, живших в прошлом по соседству с лангобардами. Это сообщение само по себе свидетельствует об относительно организованной центральной власти и государственной организации, способной предоставить такую помощь. Не исключено, что здесь обнаруживаются следы существования какого-то «варварского королевства» славян, аналогичного уже упомянутым образованиям на нижнем Дунае.

Наряду с названием *Σκλαβύνοι*: определявшим славянский этнос на север от среднего Дуная (на север от Норика и Паннонии), появляется также определение *Veneti*, *Venedi*, *Winedi*. В то время, как Павел Диакон употреблял лишь термин *Sclavi*, у Псевдо-Фредегара, в сообщениях которого упоминается и среднее Подунавье, мы находим оба названия. Он пишет о славянах, называемых «виниды» (*Sclavi coinomento Winedi*) и считает их частью более широкого понятия «славяне».

Согласно данным Псевдо-Фредегара, *Sclavi* на среднем Дунае воевали с аварами, авары приходили на зиму к славянам, которые им платили дань и восставали против них. Венедами «Хроника» Псевдо-Фредегара называет тех, которые выступали вместе с аварами и воевали в двух соединениях (*befulci*)<sup>38</sup>. Согласно дальнейшим сообщениям, это были собственно, сыновья аваров и их славяне.

<sup>36</sup> О проблематике преемственности более позднего административно-политического деления (княжество, край) с этнографическими областями см.: *Havlík L. E. Gens Maravorum...* s. 121—128.

<sup>37</sup> *Poulik J. Jižní Morava — země dávných Slovanů*. Brno, 1950, s. 61—72.

<sup>38</sup> Толкование термина *befulci* дает сама хроника Псевдо-Фредегара (*Chronice IV*, с. 48), а в другой хронике (*Chronice Paschale*, от 626 г.), где говорится о двух соединениях, т. е. тяжеловооруженных и легковооруженных славянах.

вянских жен, которые, наконец, подняли восстание против самих авар. К венедам, в период их борьбы с аварами, пришел Само и стал их королем, а постепенно и правителем окрестных славян — *Rex Sclavinorum*. Насколько отвечает действительности такое разделение Псевдо-Фредегара, установить невозможно. Остается неясным, почему он использовал название *Vinedi* для восставших аваро-славян, т. е. этнически смешанного слоя с чертами чисто аварской материальной культуры, но говоривших на славянском языке и перенявших отчасти и славянскую духовную культуру и политически уже отделенных от чистокровных авар. Возможно, что именно с этими венедами связана полоса погребений и находок на северном берегу Дуная, ошибочно иногда связываемых с аварской экспансией.<sup>39</sup>

В связи с вопросом о венедах и государстве Само следует обратить внимание на то, что термин «венеды» появляется также в восточной альпийской области Каринтии и даже в Восточной марке и, наконец, в единичных случаях им определяются мораване<sup>40</sup>. В других, более поздних источниках термин *Vinedes* и *Sclavi* в отношении славян употребляется довольно часто.

Таким образом, проблема генезиса мораван по мере ее исследования становится все более сложной и трудно отказаться от мысли, что и здесь в известной степени правомерно то, что высказал когда-то Иордан о возникновении виндвариев (*ex diversis nationibus acsi in unum asylum collecti sunt et gentem fecisse nascuntur*, — *Gatica XVII*, 96).

Следует обратить внимание также на роль этнической группы, составляющей господствующий слой в среде земледельческого племени, с которым в течение VI—VIII столетия этот слой образовал в рамках создавшегося государственного объединения общую феодальную народность. Следует указать, что с IX в. в рамках моравского государства выступала этническая общность мораван со всеми атрибутами народности, с сознанием своего отличия в отношении внешнего окружения и характерными чертами духовной и материальной культуры, воспринимаемая и внешним миром как народность. Сознание пропадлежности к моравской народности существовало на территории современной Моравии, северной части Нижней Австрии и западной Словакии. Наречия древней Моравии на этой территории составляли одну группу, которая распространялась на востоке вплоть до горного пояса на

<sup>39</sup> См.: *Tošík A. Slovania...*, s. 27 n; *Cilinská Z. Sociálno-ekonomická problematika vo svetle pohrebských juhozápadného Slovenska zo 7—8 stor.* In: *O počiatkoch...*, s. 36—53; см. также: *Poulik J. Jihní Morava...*, s. 62—72.

<sup>40</sup> *Annales Bertini*. О восточной марке и Паннонии; *Havlík L. E. Slované ve Východní marce v 6—11. století*. — *«Slavia Antiqua*, 1964, 11, s. 1—36; *ide n. Panonie ve svetle franských pramenů 9. století*. — *«Slavia Antiqua*, 1971, 17, 1—36; о Карантании см.: *Gradivo za zgodovino Slovencev v ednjem veku I, II. Ljubljana*, 1902, 1906.

левом берегу Вага<sup>41</sup>. Так было вплоть до половины XI в. В начале XII в. восточной моравской границей стал Ваг, а затем в начале XIII в. граница была отодвинута к Белым Карпатам. На юге в IX в. границей были так называемый Ваграм и река Дунай, еще в 1012 г. моравская граница упоминалась у Штокравы, а до 1040 г. ею были silve Mor(avi)ae, т. е. Лысые холмы. Современные границы Моравии образовались только в середине XI в. На севере границей Моравии были Saltus Marahorum (горный массив Есеники) и область Голасице, на западе — лесные массивы Чешско-Моравской возвышенности шириной около ста километров. Моравия в этих пределах занимала территорию около 42 тыс. км<sup>2</sup> и насчитывала от 300 до 500 000 жителей.

Тем не менее остается открытым вопрос о том, распространялось ли сознание принадлежности к моравской народности уже в начале IX в. и на территории к востоку от Гроны и Ипеля или его распространение произошло в связи с установлением господства мораван, как этот вопрос часто толкуется<sup>42</sup>. Но установление моравского господства могло произойти раньше, чем был изгнан Прибина, ибо, как свидетельствует титул Прибины (*filius ex alia coniuge*), он был собственно побочный сын князя Моймира и соответственно моравский удельный князь<sup>43</sup>. В то же время следует подчеркнуть, что в языковом отношении область Нитры несколько отличалась от территорий на западе<sup>44</sup>, что было, очевидно, связано с историко-этническим развитием этих частей древнеморавского государства, различным в бассейне Вага и Моравы. Названия поселений типа Моравце (современное Злате Костолне у Пьеян, Марот у Эстергома, Моравно у Приевидзы) также свидетельствуют о расширении моравского сознания вместе с государственной властью. Тем не менее остается фактом, что в IX в. и отчасти еще и в X территория бассейна Нитры, Гроны и Ипеля определялась внешним миром как область, заселенная моравским этносом. Не без основания говорят источники о regna Magavorum (Regino ad 860, 870) или используют обозначение двойственного числа — «въшнии Моравѣ» (Прологное житие Константина и Мефодия) или множественного числа — «въшнии Моравы, страны Моравьскыи» (Прологное житие Константина и Мефодия, житие Мефодия, XII), а еще позже обозначение Mesie occidentales (Hist. epp. Patav.) и, наконец, область Нитры еще и в XVI в. в некоторых источниках называется как Нижняя Морава — Nieder Merhern (W. Lazius). В противоположность этому Мой-

<sup>41</sup> Krajčovič R. Problem vzniku slovenskej národnosti z jazykového hľadiska. — «Historický časopis», 1957, s. 491; Pauliny E. Nárečové členenie, s. 254—256.

<sup>42</sup> Dekan J. Velka Morava..., s. 184.

<sup>43</sup> Об этом см. также: Sieklicki J. Quidam Priwina. — «Slavia Occident», 1962, 22, s. 115—145.

<sup>44</sup> Pauliny E. Nárečové členenie, s. 254.

мир I именовался как правитель Magavorum supra Danubium (Conversio Bagor. et Carant., с. 10), т. е. территории выше по Дунаю. Интересен тот факт, что на южном берегу Дуная Верхней и Нижней Моравии отвечало название Pannonia Superior (между Венским лесом и рекой Раба) и Pannonia Inferior. Но в IX в., очевидно, обе эти Моравии обозначались как Верхние, вероятно, в отличие от тогдашней Нижней Моравии, расположенной на Балкахах. Название Нитранская территория, по названию центра — Нитры, впервые появляется в первую половину XI в. (*Vita Zoerardi*, после 1046 г.): Nitriense territorium, а затем в 1111 г.: totus Nitriae, хотя как ducatus (*Chron. Poson.* с. 53) существовало оно уже в XI в.<sup>45</sup> и как удельное княжество — в IX в.

На территории, расположенной между Чешско-Моравской возвышенностью, горным массивом Есеники и среднесловацкими горами (Татры, Словакские Крупногоры) и, возможно, горным массивом Матра в начале IX в. образовалось Моравское государство, которое при Ростиславе (846—870) расширило свою территорию до северо-восточной Паннонии, а на востоке до реки Тиса. К этой территории присоединен был ряд окрестных земель, в результате чего при князе Святополке I (871—894) возникает государство, именуемое Великоморавской державой или Великой Моравией<sup>46</sup>, как назвал это образование Константин Порфиrogenet. Способ зависимости отдельных покоренных земель от ядра Моравского государства был различен, отчасти его характеризует и форма дани. Очень скоро господство мораван распространилось и на области по реке Одре (*Chron. Boem.* 1,14) и до территории вислян, которые селились на важном пути, ведущем к Киеву и далее к Черноморью. С помощью Мефодия Святополк силой принудил вислян принять христианство и подчиниться его власти (*Житие Мефодия*, XI; *Petice bavorského episkopatu*, 900). В покоренной земле были размещены моравские гарнизоны, установлено моравское управление со сбором дани. Таким образом, Вислянская область начала включаться в систему Моравского государства. Это же можно сказать о территории в бассейне нижнего Криша (Criso — венг. Körös), где сохранилась традиция моравского господства и военных дружин, которые туда пришли после отражения болгарского нападения на Моравию в 881 г.: говорится о правлении князя Мората (древнемадьярское обозначение мораван) и Мену-Мората (*Gesta Hung.* с. 11, 19—22, 28, 50—52). Так же, по свидетельству Константина Порфиrogeneta, мадьяры

<sup>45</sup> Ratkoš P. Podmanenie Slovenska Madármí. In: O počiatkoch..., s. 154—155, 160.

<sup>46</sup> См.: Havlik L. E. O politických osudech a zahraničních vztazích státu a říše Moravanů. In: O počiatkoch..., s. 121—122. *idem*. Územní rozsah Velkomoravské říše v době posledních let vlády krále Svatopluka. — «Slovanské štúdie», 1960, III, s. 1—80; *idem*. První slovanské státy. — «Slovanské historické studie», 1974, X, s. 30—32.

расселились на территории Великой Моравии, которая ограничена бассейнами рек Муреша, Туту, Криша и Тисы (*De administrando imperio* c. 40, 42)<sup>47</sup>. Власть Святополка в 864—894 гг. распространялась на значительную часть Паннонии вплоть до реки Дравы (*Annales Fuldenses* от 884, 892 гг.), где также сохранилась традиция, связанная с его именем или именем Морота (*Simon de Kezai, Gesta Hungarorum*, II, с. 23, 26). Напротив, область, названная «въ Хърватѣхъ» (I старославянская легенда о князе Вацлаве), т. е. восточная Богемия, которой владели князья из Зличи (Старая Коуржим) была связана с моравским государством скорее налогообложением и вассальными союзами. То же, паверное, можно сказать и о пражском князе Боржике «въ Чесѣхъ», который находился в суверенной зависимости от «своего короля» Святополка (*Annales Fuldenses ad 805; Regino ad 890; Vita sancti Wenceslai*, с. 2; *Diffundente Sole*, с. 5—7; *Chronice Boemii I.* 10, 14), хотя поселения с названием «Мораваны» и т. д. могут свидетельствовать и о моравских гарнизонах. Конечно, сербы, живущие по реке Заале, платили моравскому государству лишь налог и то, пожалуй, через чешского князя (*Thietmari Merseburgi Chron.* VI, 99).

Из этого краткого очерка становится очевидным, что в последней трети IX в. стали уже возникать условия распространения сознания принадлежности к моравской народности и за пределами области первоначального государства мораван. Это происходило на основе включения некоторых соседних земель в систему Моравского государства. Нет сомнения, что государственность, как социально-политическая организация, была важным фактором формирования народности, а политическая централизация очень сильно влияла на развитие культуры, языка, психологического склада жителей всех земель, включенных в Моравское государство. Налоговая, судебная функция власти правителя, а также функция защиты и обеспечения гегемонии господствующего класса вызывала, без сомнения, чувства совместной принадлежности, наиболее выразительно проявляющиеся в привилегированных слоях, взаимосвязанных классовым положением и сознанием. Однако, с другой стороны, проникновение моравской государственной системы в глубь на подчиненных территориях было довольно слабым и ограниченным, а их этнополитическое и общественное развитие вызывало в местных высших кругах, до тех пор, пока они не были устраниены насилиственным путем, тенденции к дезинтеграции или к тому, чтобы вновь обрести самостоятельность; доказательством этого является разрыв чешских князей с Моравией в 895 г. (*Annales Fuldiensis ad. 895*).

Если уж мы коснулись вопроса привилегированных слоев моравского общества, то следует обратить внимание на социальную

<sup>47</sup> Ratkoš P. Die grossmährischen Slawen und die Altmagyaren. In: Das Grossmährische Reich, S. 227—254.

структуре моравской народности. В источниках раннего средневековья находим для обозначения этноса специфические термины *natio*, *gens*, *populus*. Согласно Исидору из Севильи, *gens est multitudo ab uno principio orta sive ab alia natione secundum propriam collectionem distincta* или, как указывается в другом месте: *gens autem appellatio propter generationem familiarum, id est a gignendo, sicut natio a nascendo* (*Etymologiarum I. IX*, с. II, I, с. 328).

Соотношение между более широким, более общим термином *natio* и более точно дифференцированным *gens* выразил метко Йордан: *Vi(n)divarii ex diversis nationibus... gentem fecisse nascuntur* (*Chron. IV*, с. 58). В то же время термином *populus* обозначался весь *civitas*. *Populus autem eo distat a plebibus, quod populum universi cives sunt connumeratis senioribus civitatis* (*Etymologiarum I.XI.*, с. VI, 6, 5, с. 349). Термин *Populus*, очевидно, относился к членам политической организации, например, *Samio et populus regni sui* (*Pseudo-Fredegarii Chron. IV*, с. 68). Четко различал термины *natio* и *populus* Регино из Прюма: *diversae nationes populorum inter se discrepant genere, moribus, linguae, legibus* (*Liberi de eccles. causis II*). В средние века термин *populus* использовался для определения высших и привилегированных слоев, представителей государственного аппарата. Иначе говоря, если *natio* имела свой *populus*, то она была также *gens*, что в политическом отношении представляло *regnum*. Сравни: *regnum Margorum... eiusdem gentis Sclavum* (*Ann. Xanten. ad. 842*).

Оба термина *gens* и *populus* встречаем в источниках и в связи с упоминанием мораван, например, *Moravorum gens, Marahensium gens* (*Ann. Fuld. ad. 884, 898*), *Maraensium gens* (Майнцский синод, 852). Термин *populus* встречается в папских грамотах к Святополку: *totius populus tuus* (т. е. Stentopulchi) — *cum nobilibus viris tidelibus tuis et omni populo terrae tuae* (*Privilegium Industriae tuae 880*) — *cum primatibus ac religio terrae* (т. е. Maraviae) *populo* (*Quia te zelo tidei 885*). Если сравним эту терминологию с данными местных моравских источников, то в них находим вместе термина *natio* и *gens* определение *нафодъ* и *изыкъ*. Первый большей частью употреблялся для определения понятия «нафод». «жители»: *въ плѣнь нафодомъ погапьскимъ* (Киевские листы. ф. 4в), «словѣньсь нафодъ вѣсь» (*Прогласъ*), «людии же бещисльнь нафодъ» (*Житие Мефодия XVII*). Другой термин выражал, в сущности, то же, что и в латыни *gens*, *язык*, *ъ0уу:* «власть надъ всѣми изыками» (*Житие Константина XI*), «въ языкахъ, въ фоульсцѣ языцѣ» (*Житие Константина XII*) «да ивы причтется въ лицѣхъ языцѣхъ» (*Житие Константина XVI*); Как исключение в этом значении употребляли и термин «родъ», например для обозначения народности армян, грузин, сирийцев, хазар и т. д. (*Житие Константина XVI*): «каждый родъ имел свой языцъ» (в значении язык). Дифференцированное значение и сравнении с термином

«языкъ» (народность) имело определение «племѧ», «племена», означающее родственный коллектив или группу в более узком (например, племя) или широком смысле (словѣнско плема, Азбуч. мол. 12), сравни далее: «въсѧ племена и въса языки», «въсѣмъ языкомъ и племеномъ» (Житие Константина XII, XVI). Из дальнейшего сравнения следует, что вместо термина *populus* в местных источниках появляется определение «въси Морав(л)ане», «люде Моравьшии», а также «въси люде странъ Моравскихъ» или просто «люде наши» (Житие Константина XIV: в рукописи 21 вместо мораван приводится «съ болѧры» (Житие Мефодия X, XII; Похвальное слово Кириллу и Мефодию). Согласно латинской терминологии, различались вельможи (*nobiles viri, primates, optimates*) и *populus*. Это же мы наблюдаем и в древнеславянской терминологии, где на одной строке были «вельможи», «доброродьни», «чѣстьн ии», «чѣстьви мѣжи», на другой стороне «ладье Моравьшии». Из текстов, однако, следует, что вельмож, безусловно, считали и определяли как «Морав(л)ане». В рамки народности входила, конечно, также самая многочисленная прослойка населения древней Моравии, в экономическом и политическом отношении свободные (свободни, *liberi*), но в правовом зависимые от правителя люди, которые в латинских источниках определялись как *simplex populus*, а в моравских «прости людь», которые четко отличались от привилегированных *populus*. В рамки термина *gens*, очевидно, нужно включать и возникшие позже группы зависимых (*servi*), однако рабы (*раби, manscipia*) в число представителей народности уже не включались, хотя они участвовали в экономическом развитии<sup>48</sup>.

Очень уместно в этой связи упомянуть о проблематике языка мораван, как славянской народности. Следует указать на тот факт, что источники вследствие близости языков определяют большую часть жителей Центральной и Юго-Восточной Европы в целом как славян. Потому было бы ошибкой искать в таких определениях название определенного этноса<sup>49</sup>. Основой взаимной дифференциации и различий отдельных славянских народностей была, главным образом, политическая и государственная организация. Это названия типа *Abodriti, Surbi-Sorabi, Croati, Wilzi, Carantani, Carniolenses, Pannonienses, Wislane, мазовшанс, Сѣверъ, Пол сне, Морав(л) сне*, так и *Sclavi Carantani, Sclavi Boemi, Sclavi Marahenses*, где, с одной стороны, после постепенного исчезновения старого географического понятия во второй части названия, а с другой — после исчезновения определения, которое относило их вообще к славянам и стало со временем лиш-

<sup>48</sup> О социально-политическом делении моравского общества см.: Гавлик Л. Е. Ранняя стадия развития феодализма в Моравии.— «Советское славяноведение», 1974, № 1; *idem. Morava v. 9—10 století*, s. 40—97.

<sup>49</sup> О славянской народности см.: Dekan J. Velka Morava, s. 184.

ним, осталось только государственно-политическое и этническое определение Carantani, Boemī, Marahenses. Однако этнические группы, которые в ходе исторического развития попали в состав чужого, неславянского государственного образования и сохранили сознание славянского языка и культуры, определялись на основании этого языка как Sclavi. Так как они не имели возможности развиваться в собственном государственном организме, то это происходило в рамках неславянского образования, с этносом которого у них устанавливались политические, культурные и этнические связи. Славянский язык, культура и традиции, собственные или приобретенные, способствовали преобразованию их в новые средневековые народности и современные нации, какими являются, например, словаки или словенцы. Со вторыми в средневековых источниках мы встречаемся под именем Sclavi, Vinidi, с первым под названием Sclavi Nytrienses или просто Sclavi (Ann. Gesta Hung., с. 35, 37). Названия типа Slavi et Bulgari, Slavi et Blasii, Slavi et Boemi, Slavi et Pannonii (Gesta Hung., с. 11, 25, 35—7, 50) говорили о том, что речь шла о славянах из Болгарии (болгары), из Семиградья, Чехии или Паннонии. Об этом свидетельствует, например, уточнение в отношении болгар самого источника: Sclavi qui et Bulgari или Sclavi de terra Bulgaria, а в области Нитры, например, различие Boemi et Nytrienses Sclavi (Gesta Hung., с. 12, 37). Последнее определение по-видимому, связано с походами Бржетислава в Венгрию в 1030—1042 гг., 1051—1052<sup>50</sup>, а термин Nytrienses здесь означает название ядра возникающей словацкой народности<sup>51</sup>.

Целому ряду письменных источников мораване известны в IX в. и в последующие столетия как единое целое, отличное от соседей (чехов и хорватов в Чехии, вислян и поляков, болгар, авар, каринтийцев, бавар и славян Восточной марки), причем именно в связи с их государственной организацией, своеобразием культуры и языка. Средневеково известны не только государства, территория которых совпадает с территорией распространения одного языка, но и такие случаи, когда одна группа близких

<sup>50</sup> Havlik L. E. Moravské a české tradice v uherských kronikách.— «Slovanský přehled», 1969, s. 337—343.

<sup>51</sup> Позже в рамках венгерского королевства и венгерского государства преобладало именно определение — Sclavi, благодаря которому жители области Нитры (а также и других славянских областей Венгрии) отличались от господствующего этноса Венгрии — мадьяр. Однако, на наш взгляд, было бы неправильным смешивать широкое языковое определение с политическим и переносить более позднее понятие на отдаленное прошлое, тем более на довеликоморавский период. С XI в. начинается развитие словацкой народности (Ratkoš P. Otázky vývoja..., s. 30), которое в период формирования словацкой нации исходило из традиций моравской государственности, народности, культуры и языка, которые словацкое возрождение унаследовало в новой функции (напр., фигура Святополка), и включило в свою национальную культуру (Velká Morava a naša doba, Bratislava, 1963, s. 58—161; см. статьи Я. Тибенского, К. Розенбаума и Й. Бутвила).

родственных языков (внешне выступающая как один внутренне дифференцированный по государствам язык) перекрывала несколько государств. С другой стороны, и внутри одного государственного целого могли жить несколько этнических групп с различными языками. Литературный язык в Моравии, древнеславянский, был одновременно литературным языком Македонии, Болгарии, Хорватии, Сербии, на Руси и всюду в него проникали языки местной государственной и культурной среды (*koiné*), которые формировали этот язык и вместе с тем внутренне дифференцировали. В результате старославянский язык распадается на несколько славянских языков: языки българский, роуский, моравский или *udioma moravicae*. Язык мораван они сами называли как «наш» язык, а за границей его определяли как «ваш» язык. Язык мораван в рамках древнеславянского языка характеризуется рядом фонетических, лексических и синтаксических моравизмов<sup>52</sup>. Некоторые из этих признаков имеют более общий западнославянский характер, другие являются специфически моравскими, т. е. появляются только на территории, занимаемой моравской народностью и в сфере ее влияния. К первым относится, например, использование ё вместо s (доушъ, въшь), Kv, gv вместо sv, dzv (къвѣть, гвѣзда), dl вместо l (вѣдл). Эпентетическое l в Моравии исчезает (земл), а окончание творительного падежа вместо —омъ звучало — ъмъ (градъмъ, рабъмъ). К специфическим моравским языковым чертам относится произношение глаголической графемы называемой — ягъ. Существуют мнения, с одной стороны, что в Моравии различались фонемы ё и а, с другой, что они сливались в ä или i. В пользу последнего могло бы свидетельствовать то, что моравская глаголица, возникновение которой, па паш вгляд, не следует связывать только с Македонией, а, напротив, надо принимать во внимание связи с Моравией и другими районами, имея для ё и а лишь один знак, в то время как македонско-болгарская кириллица — два знака. Характерной чертой древней Моравии было также использование «с» вместо št, šč (помощь), вместо žd появляется ž (дазъ). Существует, однако, мнение, что в бассейне Моравы и в области Нитры произносились звуки dz (mesa)<sup>53</sup>, хотя речь шла, скорее о явлении вторичном<sup>54</sup>, но типичном для Моравии<sup>55</sup>. Моравизмом является также šč вместо раннего štj/št (очищениe, защити), использование суффикса —ьствие (чувиcтиe вместо чувиство), префикса вы — вместо из (выгънати, вырижъти, выворъсти), далее постепенное измене-

<sup>52</sup> С исторической точки зрения чехизмы представляют собой элементы, которые проникали в старославянскую письменность из собственно чешского окружения, языковые элементы в старославянском языке древней Моравии с точки зрения истории нельзя определять иначе, как моравизмы.

<sup>53</sup> Pauliny E. Nárežové členenie..., s. 254.

<sup>54</sup> Kulbakin St. Mluvnice jazyka staroslovenských. Praha, 1948, s. 78.

<sup>55</sup> Krajzovíč R. Problem vzniku slovenskej národnosti, s. 491.

ние посовых звуков *иж* в *у* и *ju*; а в *ä*, *ja*, инфинитива — ти в ть. В морфологии для моравского языка характерна форма родительного падежа единственного числа местоимения I лица *мъNe* (вместо мене) и уже упомянутая форма творительного падежа единственного числа — *ъмъ* (образъмъ), формы родительного падежа единственного числа мужского и среднего рода на -аго и дательного падежа мужского и среднего рода на -ому (блаженаго, блаженоумоу) и т. д. Наконец, необходимо упомянуть о целом ряде специфически моравских лексических примерах (рѣспота, ашоутъ, рачить, цѣста, вашинецъ, листъ, неприѣзнь, истипа, парокъ, жоупашъ, кѣметъ, кѣраль, животъ и др., затем и, вероятно,— братръ, вратъникъ, балии, болѣзнь, брань, жаль, искоши, пно-кость, отъплатить, скврьность), а также заимствованных из латинского языка и из верхненемецкого (поганъ, поганьскъ, ольтарь, оцеть, попъ, мыша, крижъ, крижъмо, кѣмотра, папежъ, постъ, апостоликъ, комѣкать, оплатъ и т. д.), которые отличают древнеморавский язык от старочешского и других славянских языков своего времени, как это видно, например, из материалов Киевских листков, Спайской псалтыри, Клоцовых глаголических листков, Закона судном людям и других памятников<sup>56</sup>.

Из этого следует, что в Моравской области и сфере ее влияния в IX в. существовал как местный язык, отличающийся от соседних областей — чешской, польской, словенской, так и язык литературный, имеющий специфические моравские черты (ипаче моравской редакции старославянского языка). Сознание наличия собственного лингвистико-литературного языка, который у мораван был выработан при содействии императора Михаила III и папы Адриана II и Иоанна VIII<sup>57</sup> в соединении с теолого-философской, правовой и агрографической литературой, которая в Моравии появилась в переводах и оригинальных произведениях и определяла уровень моравской культурной среды<sup>58</sup>, несомненно, способствовало усилинию и дальнейшему формированию моравской народности. Так называемые Фрейзингенские отрывки, сохранившиеся в копиях в словенской среде на рубеже X—XI вв. и написанные латинским шрифтом, относятся, вероятно, уже к

<sup>56</sup> См.: Horálek K. *Úvod do studia slovanských jazyků*. Praha, 1955, Kurz J. *Učebnice jazyka staroslověnského*. Praha, 1939; Mareš B. Древнеславянский литературный язык в Великоморавском государстве. — «Вопросы языкоznания», 1961, 1, с. 12—23; Veverka R. *Slovanské počatky české knižní vzdělanosti*. Praha, 1963, с. 67—86; Bauэр Я. Старославянский язык и язык жителей Великой Моравии. In: *Magna Moravia*, Praha, 1965, с. 169—492. Согласно работе Е. Паулини (*«Nárožové členenie»*, с. 254—255), моравский язык отличался от языка чешской области двумя знаками (чертежющими *dz* и исчезновением депаллализации: *meso-m insu-manso-maso*) и двумя от чешской области, где *jъ*—изменялось в *i* (*jъgъla/igъla*) и где *lъ* и *rъ* менялись на слоговые гласные (*kгъlvъ > krvъ*).

<sup>57</sup> MMFIH, III, Ep., с. 22 (863), 39 (869), 90 (880).

<sup>58</sup> Veverka R. *Slovanské počatky*, с. 9—45; Vašica J. *Literárni památky epochy velkomoravské*. Praha, 1966, с. 9—98.

рубежу VIII и IX вв.<sup>59</sup> Речь скорее идет о переводах с латыни, чем с верхнемецкого. Древнего происхождения также текст молитвы «Отче наш», тоже перевод с латыни, в то время как другой текст был переведен только византийской миссией, с которой вообще связан расцвет литературной деятельности в Моравии. С деятельностью Константина и Мефодия связан перевод библии, законченный в 882/883 гг., части которой сохранились в различных копиях. Например, Евангелие — в Зографском, Мариапском, Ассемапевом списках, в Савиной книге и других рукописях (Остромирово евангелие, в евангелии Добрейши, Никольское евангелие), Деяния апостолов сохранил «Охридский апостол», апостол — апракос Шишатовецкий, Апокалипсис — в Хваловой рукописи, псалтырь сохранилась в Синайском списке, в Псалтыри Бдинского сборника, Чудовской псалтыри, а остальные тексты библии и Паремейнике Григоровича или Захарьевом паремейнике. Литургические тексты были переведены с греческого и с латыни. В первую очередь сюда относится грекорианский служебник, частично сохранившийся в так называемых Киевских листках, сохранившаяся копия которых (Библиотека АН УССР) исходит из моравской среды на рубеже IX—X вв.<sup>60</sup> Сюда же относится Синайский служебник и Синайский евхологион, содержащий главным образом, моравский пенитенциал «Заповѣди сватыхъ отъца»<sup>61</sup>. Фрагменты моравского перевода латинского служебника содержат также Венские глаголические отрывки и ватиканский требник *Illir.4* (Капон требника, церковный устав). С Моравией связано также возникновение литургических песнопений, так называемых капонов, как, например, «Капонъ въ память свата ёго Димитры», а также, возможно, и «Служба Мефодию», автором которой был Константин Пресвитер, написавший ее в 885—893 гг. Из среды моравской духовной эмиграции вышли и такие произведения, как «Служба Кириллу» и «Служба Кириллу и Мефодию». В Моравии возникли также «Поучение Мефодия» (оно содержится в так называемых Клоцовских глаголических листках), предназначеннное правителям и князьям<sup>62</sup>, и трактат «Написание о правѣ и вѣрѣ», автором которой был Константин. Перу Клиmenta принадлежит также «Похвала Кириллу», и, очевидно, возникшее еще в Моравии «Похвальное слово Кириллу и Мефодию», автором которого был, по-видимому, мораванин<sup>63</sup>. С расцветом литературного творчества на местном языке связана также молитва «Господи, помилуй и», которая возникла в результате перевода греческого *Kourē εἰλέσον*. Большую работу Ме-

<sup>59</sup> Isačenko A. V. Zájatky vzdelenosti vo Velkomoravské ríši. Martin 1948.

<sup>60</sup> Kurz J. Texty ke studiu jazyka a písemnictví staroslověnského. Praha, 1949, s. 114—138.

<sup>61</sup> MMFH, IV, 137—146.

<sup>62</sup> MMFH, II, 322, IV, 199—204.

<sup>63</sup> MMFH, II, 167—176.

фодия представляет перевод Номоканона (*Synagogé* из 50 титулов Иоанна Схоластика), сохранившийся в рукописи под названием «Устюжская кормчая» и др. К началу деятельности византийской миссии относится «Законъ соудный людъмъ», перевод постановлений византийской Эклоги, отредактированной для нужд Моравии и дополненный несколькими статьями моравского происхождения<sup>64</sup>. Значительную часть моравской литературной продукции представляют агиографические-исторические произведения. К ним относятся прежде всего обе моравские легенды «Житие Константина Философа и Житие Мефодия», архиепискоупа Моравьска, сохранившиеся в множестве рукописей, особенно в русской среде. К ним нужно причислить следующие произведения, которые возникли в Моравии: «Проложное Житие Константина и Мефодия»<sup>65</sup> и «Слово на прънесение моптѣмъ преславнаго Климента», автором которого был сам Константин Философ. Обоснованным является и предположение, что в Моравии существовали хронографические записи и появились документы, названные позднее «Moravská Kronika» или «Моравская история славян», включая апологетические сочинения «О преложении книг на словенъский языкъ». Эти памятники попали на Русь, а отрывки из них и переработки попали в «Повесть временных лет»<sup>66</sup>. Следы этих произведений мы также находим в некоторых латинских легендах. С Моравией связано, очевидно, также и возникновение стихотворных произведений, таких как «Проглазь» и «Азбуочка молитва», а также т. н. «Отъчъскъя къниги»<sup>67</sup>.

В целом мораване значительно отличались от остальных народностей Европы своей письменностью, называемой сегодня глаголицей, которой в IX в. в Моравии писали наряду с латинским письмом. Большинство литературных произведений отличалось как индивидуальностью в системе письма, так и способом написания — подвешиванием букв на верхнюю линию. Хотя ее составителем, согласно агиографическим данным, считается Константин<sup>68</sup>, но по сути дела, учитывая возникновение кириллицы, вопрос о происхождении глаголицы не решен. Указывается на связи с письменностью самаритянской, сирийской и аксумской и в последнее время с необъясненными до сих пор знаками северного

<sup>64</sup> MMFH, IV, 147—198, 205—363. В Моравию было принесено из Рима Мефодием также собрание канонов так называемых Dionysio-Hadriana, adaucta, которые содержат несколько глосс на славянском языке, автором их считают Мефодия (MMFH, IV, 113).

<sup>65</sup> MMFH, II, 164—6.

<sup>66</sup> Havlik L. E. Ruská Povest vremennych let a tzv. Moravskaja istorija slavjan. — «Slovanský přehled», 1972, s. 282—292.

<sup>67</sup> Večerka R. Slovanské počátky, s. 32—44; Vašica J. Literární památky 22—97.

<sup>68</sup> См. по этой проблематике: Георгиев Е. Кирил и Методий, основоположници на славянските литератури. София, 1956, стр. 110—128; Кирил и Методий — истината за создателите на българската и славянска писменост. София, 1969, с. 153—197.

Причерноморья I—IX вв.<sup>69</sup>, па составление письменности в Моравии, как указывает на основе моравского варианта «Повесть»: «Сима же пришодъшъ ма, начаста съставливати письмена азъбукъя словѣньски».

Важным фактором, укрепившим сознание принадлежности к этой народности, было также существование моравской церкви, которая возникла в 869—873 гг., а в 880 г. получила папскую привилегию<sup>70</sup>. Этому способствовало также существование особых моравской литургии, имевшей, как считают некоторые исследователи, весьма специфический характер, как, например, армянская, галиканская, амброзианская и др.<sup>71</sup> С расширением влияния моравского государства расширялось и влияние церкви, а моравскому архиепископству подчинялось не только епископство в Нитре, но еще не менее двух (более поздние источники говорят в целом о семи епископствах); очевидно, в Вислянской области, в Пoodrье, в Потисье, в Чехии и т. д. Моравская церковь способствовала распространению моравского языка, письменности и культуры в областях, включенных в состав Моравского государства и вступивших в процесс этнической интеграции под гегемонией моравян. Наряду с письменностью на родном языке в господствующих слоях существовала также литература на латинском языке. Дипломатические связи Моравии и корреспонденция с другими странами также велись на латинском языке, за исключением отношений с Византией, где использовался греческий язык. Несмотря на то, что приоритет латыни весьма отчетливо проявился в связи с универсалистской проримской ориентацией последних моравских правителей, особенно после изгнания учеников Мефодия, все же можно предполагать ограниченное существование в Моравии и славянской письменности и литургии, хотя они стояли на втором месте. Такое положение сохранялось, по-видимому, и после восстановления моравского архиепископства и трех других епископств, которые, по свидетельству источников, существовали вплоть до 910 г.

Сильное воздействие на укрепление сознания моравской народности на территории собственно Моравского государства оказывали чувства антагонизма по отношению к внешней среде, вызванные необходимостью вести оборонительную борьбу с баварцами, франками, саксонцами и тюрингцами, и с набегами остальных славянских и иных народностей, какими были хорваты, чехи, сербы, висляне, славяне в Пoodrье и в Потисье, болгары, хазары, венги-

<sup>69</sup> Константинов И. А. Черноморские неразгаданные знаки и глаголица.—«Ученые записки Ленинградского государственного университета», № 197. Серия филологических наук, 1957, вып. 23, с. 110—146.

<sup>70</sup> MMFH, III, Ер., с. 90.

<sup>71</sup> Pokorný L. Liturgie pěje slovansky. In: Soluňští bratři. Praha, 1962, s. 160—193. idem. Die slawische cyrillo-methodianische Liturgie. In: Sancti Cyrilus et Methodius. Praha 1963, s. 118—126; см. также: Tkadlčík V. Byzantinischer und römischer Ritus in der slawischen Liturgie.—In: Wegzeichen. Würzburg, 1971, s. 313—332.

ры. Это сознание распространения господства мораван ярко выступает в источниках: Моравьска область пространити начать въса страны и врагы свої побѣждати съ непогрѣшнѣ мъ юко и сами повѣдо ѡт присно (Житие Мефодия X). В первом случае речь шла о борьбе, имевшей жизненно важное для государства мораван значение, судя по ряду взаимных столкновений, начиная уже с конца VIII в. Трения с западными соседями продолжались и после вхождения моравского государства в сферу западной римской церкви, особенно при Людовике Немецком, отличавшемся великодержавными амбициями. Можно, однако, сказать, что кроме периода 846—852 гг., когда наблюдался упадок политического влияния и силы Моравии, и кризиса 870—871 г., моравское государство всегда защищало свою самостоятельность, опираясь в борьбе против франков на поддержку Византии, а впоследствии и Рима<sup>72</sup>. Завоевания моравских правителей мотивировались политико-экономическими причинами, а, согласно идеологическим взглядам того времени, речь шла о борьбе христианской народности мораван, некоего избранного и санкционированного папой христианизатора других соседних языческих народностей. Моравия стала неким филиалом римских универсалистских идей по отношению к славянским землям<sup>73</sup>. Выражением согласия и прямой поддержки со стороны Рима концепций и планов Святополка, которые соответствовали и планам папской курии по отношению к каролингам, была римская апостольская патропация, представленная в 880 г. Святополку и Моравии. Это означало не только подтверждение самостоятельности положения Моравии в системе римского универсализма неравне с остальными государствами своего времени (франкское королевство, англосаксонское, астуриское, болгарское, армянское и т. д.) и, наконец, подтверждением королевского титула Святополка. Вместе с тем это было и применением идей римского универсализма в условиях Моравии как государственной идеологии как внутри страны, так и за ее пределами, как обоснованием и одновременно объяснением моравской экспансии<sup>74</sup>. Все это вместе с историческим развитием мораван способствовало усилению у жителей Великой Моравии сознания совместной принадлежности к народности, сознания, выраженного также в моравском сакраментарии: Цѣсарьствъ нашъмъ господи милостыѧ твоѧ призыри: и не отъдасть нашего тоузимъ и не обрати насъ въ плѣнь народомъ поганьскъмъ: (Киевские листы, ф. 4в).

<sup>72</sup> См.: Havlik L. E. Velká Morava a franská říše.—«Historické studie», 1963, 8, s. 129—180; *idem.* O politických osudech ..., s. 104—140; Vaněček V. Über die Aussenpolitik des Mährischen Staates in der vierziger bis achtziger Jahren des IX. Jahrhunderts. In: Das Grossmährische Reich, s. 287—300.

<sup>73</sup> О существовании этой идеологии в Моравии идет речь в статье: Roman Universalism and the 9th Cent. Moravia.—«Cyrillomethodianum», II, 1972—1973, p. 14—22.

<sup>74</sup> См.: Havlik L. E. Das päpstliche Schutz und die slawischen Völker.—«Ann. Inst. Slav.», 1969, II/2, s. 10—32.

Вместе с проявлением сознания принадлежности к народности мораван в духовной культуре и политической сфере дальнейшие свидетельства можно найти также и в материальной культуре, предметы которой предназначались высшим и привилегированным слоям, хотя ее производителями были представители широких слоев населения. В предметах материальной культуры Великой Моравии, вышедших из моравских мастерских, есть элементы как византийские, так и каролингские, черноморские и сасанидские и вообще следы евроазиатского синкретизма, измененные и переплавленные моравской средой в специфически моравские типы<sup>75</sup>. Проявления этой культуры преобладают на территории Моравского государства, иногда распространяясь и на другие области, как, например, в бассейне реки Дьи. При оценке этой культуры нужно, однако, постоянно иметь в виду вопрос о соотношении уровня, характерного для эпохи, и специфики, которая характерна для моравского этноса. Определенное значение имеет и вопрос, можно ли, например, ираноидные художественные мотивы связывать только с торговыми отношениями или с продукцией иностранных мастеров в Моравском государстве или же такие изделия пользовались популярностью в высших слоях моравского общества, исходивших из какой-то старой традиции. Культура высших слоев в соединении с их политической гегемонией перекрывала культурные проявления остального населения и создала для внешнего мира образ единой моравской культуры, хотя нужно постоянно иметь в виду, что по сути дела речь шла о культуре, связанной с резиденциями правителей и привилегированных кругов, вельмож, с церковными и городскими центрами<sup>76</sup>. Специфически моравским изделием были, например, типичный военный топор, а также «tesla», собственно железные гривны, используемых при обмене в качестве менового эквивалента<sup>77</sup>. Из изделий художественного ремесла — это были несколько типов серег, украшенных грануляцией и филигранью, затем оригинальные привески «гомбики», которые, как и одеяния моравских всадников и вельмож, являются уникальными в Центральной Европе, и не исключено, что они были принесены предками мораван с их давней родины на востоке<sup>78</sup>. Другой специфической чертой древней Моравии является также образ жизни, особенно городские центры, где дома существенно отличались от жилищ земледельческого населения деревни. Характерными также являются способы укреплений и особенно культовое зодчество<sup>79</sup>. Все это на тер-

<sup>75</sup> См.: Poulik J. Archäologische Entdeckungen und Grossmähren. In: Das Grossmährische Reich, s. 11—47; Chropovský B. Die grossmährische Period in der Slowakei. Ibid., S. 59—83.

<sup>76</sup> Havlík L. E. Gens Maravorum..., s. 120.

<sup>77</sup> См.: Dekan J. Velká Morava..., s. 182.

<sup>78</sup> См.: Klanica Z. Velkomoravské řemeslo, s. 21; idem. Velkomoravský gombík. — «Archeologické rozhledy», 1970, 20, s. 444.

<sup>79</sup> Cibulka J. Grossmährische Kirchenbauten. In: Sancti Cyrillus et Methodius, s. 49—117; Richter V. Die Anfänge der grossmährischen Architektur.

ритории Моравского государства представляет целостную материальную культуру, хотя и с местными отличиями<sup>80</sup>, которая потом в связи с торговлей или экспансиею мораван распространялась в Паннонию, Дакию, Вислинскую область, Чехию и т. д., как об этом свидетельствуют археологические находки. Распространение изделий моравского прикладного искусства совпадает в значительной степени с территорией Великоморавской державы<sup>81</sup>.

\*

Итак, мы встречаемся на территории древней Моравии с начала IX в. с народностью мораван, которая в дальнейшем формировалась и укреплялась в рамках своего государства. Важнейшим моментом в конституировании определенного общественно-политического организма как народности является, безусловно, процесс<sup>82</sup> формирования его самосознания, в котором находит свое отражение реальное прошлое и современная политическая история и культура, переданные посредством языка (устно или письменно) на определенной территории и в определенный исторический период. При этом необходимо постоянно иметь в виду феодально-классовые основы национального самосознания.

Моравская народность не исчезла с потерей самостоятельности Моравии или распадом Великой Моравии, как часто полагают, исходя из существования современных наций с целью упрощения сложного вопроса их генезиса. Моравское самосознание, хотя и начало проникать в некоторые области, присоединенные к Великой Моравии, однако, кратковременное и мало интенсивное воздействие моравских обычаяев и культуры не могло перерости в такое качественное изменение, как это было, например, при распространении сознания принадлежности к русской народности в остальных восточнославянских княжествах или польской — на территории Польши. Случилось так, что моравская народность осталась в X в. ограничена только территорией древней Моравии, особенно тогда, когда и Нитра вступила с XI в. на путь самостоятельного этнического развития.

В X в. произошел полный упадок политической власти и влияния Моравского государства, которое около 924 г. становится данником мадьяров, подобно тому, как, впрочем, и Германия Генриха I (*Luitprandi Antapod. II, 2; Folcuin, Gesta abb. Loh. 25; Ruotgeri Vita Brun.*). Но еще во второй половине X в. в Моравии упоминается епископство и она определяется еще как *regnum* (Майцкий синод 976; *Cosmae Chron. Boem. 1,27*). Okolo

In: *Magna Moravia*, s. 121—360; Poulik J. *Staří Moravané budouji svuj stát*. Gottwaldov, 1960; *Chropovský B. Slovensko na usvite dejín*. Bratislava 1970.

<sup>80</sup> Dekan J. *Velká Morava...*, s. 182.

<sup>81</sup> Подробнее см.: *Dostál B. Das Vordringen der grossmährischen materiellen Kultur in die Nachbarländer*. In: *Das Grossmährische Reich*, S. 361—416.

<sup>82</sup> См.: *Козлов В. И. Динамика численности народов*. М., 1969, с. 32—65.

1000 г. Моравия становится автономной частью Польского государства Болеслава Храброго. Вместе с ним моравы активно воевали против объединенных немцев и чехов (Cosmae Chron. Boem I, 40; Galli Chron. Pol., с. 66; Thietmari Chron. VII, 19, 57, 61). В 1030—1031 гг. Моравия была присоединена к Чешскому государству<sup>83</sup>.

В связи с этим не будет излишним здесь показать хотя бы кратко историю возникновения раннефеодальной чешской народности, которая относится к X в. Самые ранние сообщения, говорящие о народе Behemī, Behaimī, Boehmannī касаются северо-западной, юго-западной и южной Чехии (Ann. reg. Franc. 791; Ann. reg. Franc., Ann. Mett., Chron. Moissiac. ad. 805). Еще в 872 г. упоминаются пять князей in Behemos, а в 895 г. только двое воевод, стоящих во главе остальных князей (Ann. Fuld). Заслуживает внимания перемена в названии географического определения жителей этих княжеств, т. е. Bee-hemī в первой половине IX в. (позже употреблялся термин Bohemī и Boehmī). Само название, однако, ничего не раскрывает в этногенетическом процессе, проходящем на территории Boehmanie, где еще в X в. источниками разли чаются несколько областей, очевидно, бывших княжеств. Стоит упомянуть хотя бы сообщения о лемузах и лучанах на северо-востоке, дулебах — на юге и хорватах — на востоке (так называемая учредительная грамота пражского епископства). Этнополитическое разделение видно из противопоставления: «въ Чесѣхъ», где правили Пршемысловичи, и «въ Хръватѣхъ» (Первая старославянская легенда о св. Вацлаве), где они не имели никакой власти и где упоминаются князья из Зличи (Старая Коуржим), находившиеся в союзе с Моравией, а позже Славниковичи, ориентировавшиеся в политическом отношении на «Священную Римскую империю». Их истребление в 995 г. Пршемысловичами и присоединение территории Славниковичей к княжеству Пршемыловичей создало предпосылки для формирования раннефеодальной чешской народности на всей территории Boehmanie. Термины «чех», «чехи» в источниках до XII в. появляются только трижды: в середине X в. в «Житии князя Вацлава», в начале XII в. в «Повести временных лет» и в 1147 г. в хронике Кинпама<sup>84</sup>. Это было то самое определение, которое преобладало внутри самой Чехии и явилось синонимом для названия Boehmī, Boehmī. Определенную роль в распространении чешского национального самосознания сыграло также пражское епископство. На рубеже X и XI вв. на территории Boehmī — Чехии можно говорить о конституированной чешской раннефеодальной народности, называемой в собственно чешских источниках — чехами, в иностранных латинских источ-

<sup>83</sup> Havlik L. E. K otázce hranice jižní Moravy v dobi Boleslava Chrabrého; G. Labuda, Utarta Moraw przez państwo polskie w XI wieku. In: Studia z dziejów polskich i czechosłowackich, 1960, 73—91, 93—124.

<sup>84</sup> Vaněček V. Prvních tisíc let... Praha, 1949, s. 53.

никах — Boemani, Boemi, в византийской среде и на Руси как земля, Чесы<sup>85</sup>.

Князья Богемии — Чехии после военного захвата Моравии стремились вновь присоединить и Пшитру (в 1030—1042, 1051—1052 гг.), однако безрезультатно, более того, они потеряли, паконец, и территорию между Вагом, Белыми Карпатами и рекой Моравой, а позднее также область между Дунаем и Дыей, в результате чего собственная территория Моравии уменьшилась почти вдвое по сравнению с ее территорией в IX в. Чешский князь Сптигнев II в 1055 г. приказал изгнать более 300 моравских вельмож, а их имущество и должности передал чешским феодалам (Cosmae Chron. Voem. II,15). Усиление политической и культурной гегемонии чешского государства вело к смешению старых моравских традиций с новыми чешскими (в том числе, культ пражского князя Вацлава), а также к политическому разделению страны на три удельных княжества младших членов пражского рода Пршемыловичей. Историко-экономические и культурные традиции паряду с актуальными политическими интересами своего времени нашли свое выражение в 1179—1182 гг. в образовании на территории Моравии маркграфства. Будучи связанными формальным ленным союзом со «Священной Римской империей», оно составляло с Чехией с конца XII в. конфедерацию, а затем диархию во главе с чешским королем. Личная зависимость от «Священной Римской империи» в 1348 г. была ликвидирована и перешла в личную зависимость от главы государственного объединения, называемого Corona regni Bohemiae. Это отношение между Чехией и Моравией стало основой государственно-правового развития вплоть до нового времени<sup>86</sup>.

Перевод А. И. Виноградовой

<sup>85</sup> См.: Turek R. Čechy na úsvitě dějin. Praha, 1963; Fiala Z. Přemyslovské Čechy. Praha, 1965, s. 5—9.

<sup>86</sup> По этой проблематике см.: Havlik L. E. O Moravě v českém státě, Vlastivedny věstník Moravský. Brno, č. 20, 1968, s. 187—208, о средневековом положении также см.: Havlik L. E. Morava a imperium ve středověku. In: Velká Morava a feudální společnost 11—12. stol. Brno, 1974.

# ЭВОЛЮЦИЯ ДИАЛЕКТНОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ЭТНИЧЕСКОГО СМЕШЕНИЯ

(Из истории славяно-албанских языковых контактов)

*A. B. Десницкая*

Для разработки исторического аспекта проблемы взаимодействия языков данные диалектологии дают более благоприятные возможности исследования, чем реконструкции гипотетических субстратов. Историческая диалектология оперирует хронологическими различиями, распределенными на географической плоскости. Такой материал может быть особенно релевантным для изучения своеобразных отклонений от общего направления развития, рассматриваемого как внутренне закономерное для исследуемого языка.

В предлагаемом исследовании, посвященном проблеме взаимодействия языков, мы рассматриваем некоторые специфические диалектные различия и междиалектные сходства, объясняя их как результат иноязычного влияния. Разумеется, при таком подходе должны быть учтены конкретные этнолингвистические, социально-исторические и географические условия.

С этой точки зрения некоторые факты албанской диалектологии могут быть объяснены как результат межъязыковых контактов.

\*

По основному диалектному членению албанский лингвистический ареал состоит из двух диалектных областей: северной (тегской) и южной (тоскской). Южная граница тегского диалекта проходит через центральную часть страны, вдоль течения р. Шкумбин. Южнее этой границы лежит узкая полоса переходных говоров, постепенно сливающаяся с тоскской диалектной областью. Каждая из основных диалектных областей далее подразделяется на более мелкие диалектные ландшафты. Северная область гораздо более дифференцирована, чем южная.

Основное диалектное членение албанского языка на две вышеуказанные области несомненно является древним, так как главный определяющий признак тоскского — явление ротации (изменение  $n > r$  в интервокальной позиции) — почти не захватывает лексику славянского происхождения<sup>1</sup> и, следовательно,

<sup>1</sup> Ср. Э. Чабей: «Ротацизм принадлежит, как известно, к древним признакам диалектной дифференциации албанского языка. Хотя мы не можем указать *terminus a quo* и *terminus ad quem* этой инновации тоскского диалекта, приблизительная хронология может быть установлена на основании того, что указанным процессом полностью охвачены только древнегреческие

период действия этой фонетической инновации должен был предшествовать эпохе тесных славяно-албанских контактов. Это позволяет нам предположить, что, по крайней мере, к концу I тысячелетия н. э. противопоставление двух основных диалектных типов (ротацирующего и неротацирующего) уже существовало<sup>2</sup>.

Различия между двумя большими диалектными областями постепенно увеличивались на протяжении периода от I тысячелетия н. э. до наших дней, особенно в последние два-три столетия. К вышеупомянутому древнейшему различительному признаку добавился ряд новых признаков. Большая их часть не приобрела абсолютной дифференциальной значимости (какой обладает явление ротации), так как соответствующие явления покрывают лишь частично основные диалектные ареалы.

Диалектные особенности гегского и тоскского имеют характер как инноваций, так и консервативных признаков. При этом соотношение тех и других для каждого из двух основных диалектных ареалов не было исторически постоянным. Как отмечает проф. Э. Чабей<sup>3</sup>, в дописьменный период более консервативным был гегский ареал. Позднее, в письменный период, т. е. на протяжении последних 4—5 столетий, положение изменилось, и областью консервации (в основной своей части) стала Тоскерия. Для гегской диалектной территории эти последние столетия, наоборот, были временем довольно интенсивных фонетических изменений. Распространяясь из отдельных локальных очагов инновации, новые явления постепенно увеличивали первоначальный набор дифференциальных признаков гегского диалекта, усиливая этим противопоставление его более архаичному тоскскому.

Обращает на себя внимание консерватизм тоскского диалекта в целом — в сравнении с сильной фонетической изменяемостью, которая является характерной чертой небольшого и притом изолированного диалектного района внутри того же южноалбанского (тоскского) ареала. Результаты исследования могут представить интерес с точки зрения теории языковой интерференции.

---

и латинские заимствования, из средне- и новогреческих, славянских и итальянских лишь старейшие, а турецкие не охвачены совсем». (*Cabej Erem. Ältere Stufen des Albanischen im Lichte der Nachbarsprachen*. — «Zeitschrift für Balkanologie», 1964, II, S. 13).

<sup>2</sup> Считая ротацию в основном дославянским явлением, мы не можем принять точку зрения В. Полака, согласно которой возникновение членения албанского лингвистического ареала на тоскскую и гегскую диалектную области может быть объяснено влиянием славянского адстрата (*Polák V. Les origines de la différenciation dialectale en Albanie*. — «Orbis», t. XII, N 2, 1963). Как мы далее увидим, славянское влияние определило возникновение некоторых особенностей южноалбанской диалектной области, но это влияние не относится к тому периоду, когда возникал ротационизм, как наиболее характерная особенность этой области.

<sup>3</sup> *Cabej E.* Op. cit., p. 7.

Так как наше внимание будет далее сосредоточено на южноалбанском диалектном ареале, ниже дается некоторая дополнительная информация об этом ареале. Он состоит из двух диалектных областей, обычно обозначаемых как севернотоскская и южнотоскская. Первая включает, помимо северной части, также восточную часть ареала и совпадает с исторической Тоскерией. Вторая область охватывает юго-западную периферию албанского лингвистического ареала и совпадает со старыми этническими территориями Ляберии (горная область вблизи от Ионического побережья) и Чамерии (крайний юг лингвистической Албании). Севернотоский тип речи, отличающийся значительным единством (если не считать некоторых мелких различий), часто обозначается как собственно тоский. В сравнении с ним мы рассмотрим очень своеобразные фонетические черты, обнаруживаемые в говоре Ляберии.

Основные черты ляберийского говора не отличаются от общего южноалбанского диалектного типа, представленного севернотоскским. Наличие последовательно проведенного ротацизма является свидетельством того, что Ляберия с древней поры входила в состав южноалбанской диалектной общности. Общее соответствие обеих фонологических систем не подлежит сомнению. В то же время некоторые специфические особенности ляберийской речи отличаются от тоскского диалектного типа и неожиданным образом обнаруживают сходство с характерными признаками гегских говоров.

Это кажется удивительным, если учесть географическое положение Ляберии. Ляберия не имеет никаких территориальных контактов с гегской диалектной областью, будучи отделена от нее массивом севернотоскской диалектной территории. К тому же, исторические условия на протяжении ряда столетий способствовали относительной изоляции этого окраинного горного района.

К числу ляберийско-гегских соответствий относится прежде всего такая консервативная особенность, унаследованная от староалбанского состояния, как сохранение исторических долгот гласных ударенных слогов в целом ряде слов, например *dët* «море», *urith* «еж», *dë* «два». И вообще, в ляберийском, как и в гегском, различаются степени долготы гласных в ударенных слогах — черта, полностью отсутствующая в основном массиве тоскской диалектной области.

Особенно примечательны общие инновации, характеризующие два далеких один от другого диалектных ареала — большой гегский и маленький изолированный ляберийский.

Для обоих диалектных типов характерна тенденция к отодвижению назад артикуляции некоторых гласных, в особенности ударного гег. *ã* = тоск. *ë* [ɛ]. Во многих гегских говорах это про-

является как очень заднее произношение à (назализованного и неназализованного), спорадически сопровождаемое лабиализацией. В ляберийском говоре аналогичному сдвигу подвергается гласный смешанного ряда é [ɛ], исторически соответствующий гег. назализ. á. Ср. гег. диал. и ляб. и bå, и bo [u bɔ] «он сделался» (аор. пасс. от глагола «делать»), общетоск. и bë [u bɔ]. Несмотря на существенное различие гегской и ляберийской вокалических систем, связанное с отсутствием в ляберийском, как и во всех южноалбанских говорах, назальности гласных, наличие указанной тенденции обусловливает несомненное сходство общего типа произношения, проявляющееся особенно при небрежной речи.

Степени отодвижения назад и лабиализации варьируют от местности к местности не только в большом диалектном ареале Гегерии, но и в маленьком ляберийском.

Указанной особенности вокализма в некоторых гегских диалектах часто сопутствует тенденция к веляризации, окрашивающая произношение значительной части согласных<sup>4</sup>. Сильная степень веляризации создает, в частности, условия для смещения фонем dh [d] и ll [l]. Оно представляет собой широкое распространение спорадическое изменение, характерное для небрежного произношения во многих районах Гегерии, в особенности на севере. До установления стандартизованного правописания даже в печатных текстах на гегском (издававшихся в Шкодре) можно было обнаружить многочисленные случаи такого смещения. Например ullë [uɿ] = лит. udhë «дорога», ellë [eɿdh] = =edhe «и», ka nollë [noɿ] = ka ndodhë «случилось», i mall [maɿ], mäll [mæɿ] = i madh «большой». Но также: i gjadhë [ʒad̪] = i gallë «живой».

В Южной Албании аналогичная тенденция спорадически обнаруживается только в Ляберии. Например, в разговорной речи города Гыроакастра: holla [hoɿa] = литер. hədha [həða] «я бросил», i mall [maɿ] = лит. i madh «большой». И наоборот: modha [moða] = лит. molia [moɿa] «яблоко».

Общая инновация гегского ареала — переход mb > ð > m, nd > ð > n, — по-видимому, также связана с тенденцией к веляризации. На юге эта особенность обнаруживается только в ляберийском говоре<sup>5</sup>. Например, mleth < mbleth «я собираю», ðih < ndih «я помогаю», ven < veud «место».

Веляризация согласных и дальнейшие связанные с этим явления, отодвигание назад гег. á, ляб. é, спорадически сопровождаемое лабилизацией — все эти взаимосвязанные явления, обусловленные внутренними тенденциями фонетического развития

<sup>4</sup> Для шкодранского диалекта это явление отмечено в статье: Lowman G. S. The Phonetics of Albanian.— Language, 1932, VIII, N 4.

<sup>5</sup> Смешанные пограничные говоры не принимаются во внимание, так как они подвергаются непосредственному влиянию гегской речи.

в гегских и в изолированном ляберийском говорах, производят заметное понижение тембра речи. Затемненный тембр в равной мере характерен для небрежной речи в некоторых северных районах Гегерии и также в Лябerie. Собственно тоскский диалект (так называемый севернотоский) не обнаруживает этой особенности.

Из других общих особенностей можно отметить делабиализацию *u > i*, *ue > ie*, например *pill < ryll* «лес», *si < sy* «глаз», *krie < krye* «голова». Это явление, очень характерное для южнотоскского вообще (в ляберийском и чамерийском говорах), наблюдается также в ряде гегских говоров (в районах Мирдита, Круя, Дибра и др.).

Переход среднеязычного носового *nj* [ն] в *j* в конечной позиции (в особенностях в глагольных формах) также может рассматриваться как общая особенность гегского и ляберийского. Релевантность этого соответствия может показаться спорной в связи с тем, что указанное явление характерно также для пограничных диалектов тоскского, куда оно могло проникнуть непосредственно из соседнего гегского ареала. Однако это влияние не достигало столь далеко, чтобы захватить и ляберийский говор. Для ляберийского соответствующее изменение может рассматриваться как специфическая ипповация, обусловленная внутренней тенденцией развития фонетической системы.

Ни одна из указанных ипповаций ляберийского говора, имеющих себе параллели в гегском, не может быть объяснена контактами с гегской диалектной средой. Географическая обособленность Лябerie и исторические условия ее существования в течение столетий не дают оснований для предположений о возможности непосредственных контактов ляберийцев с населением Гегерии. Об этом не может быть речи. Факты заставляют предполагать лишь параллелизм в реализации сходных фонетических тенденций.

Возникает ряд вопросов. Почему ляберийский говор, обладая древнейшими фонетическими особенностями общетоскского, позднейшие ипповации имеет общими не с севернотоскским, но с гегским, хотя с последним не имеет никаких территориальных контактов? Может также спросить, почему ляберийский не разделяет с севернотоскским его характерный консервативизм в отношении старотоскской фонетической системы, которая и до сих пор устойчиво сохранена в единобразном типе речи, распространявшемся на большей части югоалбанского лингвистического ареала. С другой стороны, как объяснить фонетический консервативизм и относительное единобразие севернотоскского типа речи, которые выявляются в сравнении не только с сильно дифференцированным гегским лингвистическим ареалом, но также и в сравнении с проводящим ипповации говором Лябerie?

Попытаемся построить некоторые гипотезы, учитывая исторические обстоятельства жизни югоалбанского населения в период раннего средневековья и сопоставляя соответствующие лингвистические факты с известным фактом славяно-албанского симбиоза, который существовал в течение ряда столетий и завершился полной ассимиляцией славян на территории Албании.

Начало тесных контактов албанцев со славянами относится к эпохе расселения славян в западной части Балканского полуострова (VI — VII вв.). С помощью анализа обильной славянской топонимики, сохранившейся в некоторых частях Албании до настоящего времени, А. М. Селищев сделал свои важные выводы относительно основных путей славянской миграции<sup>6</sup>. Он открыл, что потоки переселения двигались вдоль течения рек — по долинам Шкумбира, Девола и Осума в направлении Адриатического моря, по долинам Вийосы и Бистрицы к берегам Ионического моря, а также через Черногорию в Шкодранскую низину. Основываясь на лингвистических данных, Селищев доказал, что масса славянского населения в Албании постепенно ассимилировалась и что этот процесс продолжался в течение ряда столетий.

Албанские историки проливают новый свет на историю славяно-албанских контактов, освещая социальные условия их развития в период, когда рабовладельческая система Восточноримской империи была окончательно разрушена<sup>7</sup>. Основой новой общественной системы на территории Албании (части древней Иллирии и Эпира) стали сельские общины, первоначально складывавшиеся из албанских и славянских племенных единиц.

Следствием разрастания сельских общин был процесс их территориальной экспансии. В Южной Албании, где основная масса македонских славян первоначально была расселена в долинах, происходило постепенное продвижение последних также в горные районы. В социальной жизни южных албанцев в то же время усиливался длительный процесс перехода от горного скотоводства к возделыванию земель в долинах и на равнинах. Можно предположить, что в Южной Албании и славянское и албанское население было в равной мере охвачено процессом разложения родоплеменной системы, и родовые связи постепенно сменились связями территориальными. Общины становились этнически смешанными в результате браков и смешанного расселения. Как доказывают авторы «Истории Албании», «албано-славянский симбиоз продолжался в течение столетий»<sup>8</sup>. Длительное соседство албанских и славянских сельских общин, их экономические и общественные отношения стимулировали взаим-

<sup>6</sup> Селищев А. М. Славянское население в Албании. София, 1931.

<sup>7</sup> Historia e Shqipërisë, I. Tiranë, 1959.

<sup>8</sup> «Historia...», s. 153.

ные культурные влияния. В результате всего этого языковые контакты приобретали характер билингвизма.

Славянское влияние достигало наибольшей силы в период IX — XI вв., когда территория Центральной и Южной Албании входила в состав первого Болгарского царства.

Однако в течение столетий общественное значение албанского населения постепенно возрастало и как результат слияния обоих этнических элементов внутри территориальных сельских общин произошло их полное слияние. После периода билингвизма (как предполагает А. М. Селищев, билингвизм существовал еще в XIV — XV вв.) славяне сменили свой язык на албанский. Можно предполагать, что конечный результат не был достигнут единовременно. Процесс ассимиляции должен был быть постепенным и остатки славянской речи сохранялись еще относительно долго (например, есть основания думать, что в районе Опар славянская речь звучала еще в XVI в.).

Исчезнувший славянский язык оставил свое наследие в албанской лексике, изобилующей словами и словообразовательными суффиксами македоно-славянского происхождения. Топонимика Южной Албании сохранила от эпохи славянского расселения сотни названий деревень. Оронимия и гидронимия также полны славянской помемплатуры. Все эти факты свидетельствуют о большой роли славянского этнического элемента в этногенезе населения Южной Албании.

Данные топонимистики дают обильную информацию относительно направлений и границ славянского расселения, а также относительно районов концентрации славянских поселений. А. М. Селищев собрал большое количество таких данных и представил их с помощью специальной карты. Его коллекция материалов, хотя и не исчерпывающая (он написал на карту только названия населенных пунктов и лишь немногие названия рек), создает очень убедительную картину того, как распределялись прежние славянские поселения на территории Албании. Карта показывает сеть славянских топонимов, располагающуюся с различной степенью концентрации. Не считая очевидных скоплений славянской топонимики вдоль границ с Македонией и Сербией (эти данные не имеют особого значения для нашего исследования), мы находим исключительно густую сеть славянских названий в северной и юго-восточной частях Тоскерии, особенно в долинах Осума, Вийосы, Девола и вдоль верхнего течения Шкумбина. К северу и к юго-западу от этих областей количество славянских топонимов заметно редеет.

В Гегерии значительное количество славянских названий концентрируется только на узкой полосе, окаймляющей Шкодранское озеро, а также вдоль восточной границы. Во внутренних частях ареала, а также на Адриатическом побережье, к северу от Дурреса, количество славянских топонимов является относительно незначительным.

Обращаясь спаса к южному ареалу, мы отмечаем резкий контраст: с одной стороны, мы видим интенсивное скопление славянской помемплатуры в его северной и в юго-восточной частях, т. е. в Тоскерии (в собственном смысле этого названия). С другой стороны, мы замечаем постепенное убывание славянских названий в юго-западном направлении. Славянские названия почти отсутствуют в горах Ляберии (на плато Курвелеш), также на Ионийском побережье, где ляберийские албанские деревни соседствуют с грекоязычными. Характерно, что названия деревень в Курвелеше по форме представляют собой коллективно-множественные образования — обозначения родовых поселений, построенные по схеме: потомки такого-то. Так, Lazarat — это «потомки Лазаря»<sup>9</sup>.

Можно предположить, что волна расселения славян не докатилась до гор Ляберии. Ляберийские горцы, подобно горцам Гегерии, продолжали жить своими родовыми общинами и не смешивались со славянами в той мере, как это было характерно для населения северной и юго-восточной Тоскерии (Тоскерии в собственном смысле этого названия).

В Ляберии, так же как в горных районах Гегерии, основу экономики в течение столетий составляло скотоводство и в общественной организации длительное сохранялась система родовых отношений. На территории Южной Албании только в Ляберии обнаружены остатки канонизированного обычного права (в горах Гегерии известно несколько таких канонов). Родовое общество Ляберии берегло свои древние традиции на протяжении четырех веков турецкого владычества и оказывало упорное сопротивление распространению турецкой военной администрации.

Таким образом, мы видим, что оба явления — длительное сохранение родовой организации и незначительное количество славянских топонимов — в равной мере характерны для горных районов Гегерии на севере страны, и для горной Ляберии на юго-западе. Оба эти момента по-видимому исторически взаимосвязаны. Можно предположить, что поток славянского расселения задерживался на подступах к горным районам, где племена горцев продолжали заниматься горнопастбищным скотоводством. Создание территориальных сельских общин — процесс, благодаря которому были заложены основы албано-славянского симбиоза в Северной Тоскерии, в этих областях на столетия запоздал и совершился уже позднее, в иных исторических условиях.

Особое положение Ляберии по сравнению с «собственно тоскерскими» областями, в которых слияние албанского и славянского этнических элементов совпало с более ранним процессом раз-

<sup>9</sup> См.: Çabej E. Per gjenezën e literaturës shqipe. Shkodër, 1939, с. 10.

ложеия родового строя, отразилось в самом названии этой горной окраины. Название существует в двух вариантах: Labëri и Arbëri, ср. также lab-, -i м. «житель Ляберии». Эти названия являются производными от корня \*arb-/\*alb-, ср. древний этноним <sup>3</sup>Алъхой, засвидетельствованный Иоанном Златоустом у византийских авторов. Форма lab-, восходящая к \*alb, возникла путем метатезы, характерной для славянской речи. Форма Arbëri, ныне употребляемая как вариант Labëri и только применительно к небольшой горной области, лежащей внутри треугольника: Влора — Саранда — Тепелена, раньше имела более широкое применение. В старину она употреблялась как название Албании вообще и остатки этого значения сохранились до настоящего времени (специально в литературном употреблении). Ср. также широко распространенные дериваты: прилагательное arbërog «албанский», существительное arbëresh, -i «албанец». Варианты Arbëri, Labëri в их узком употреблении, первоначально обозначали область, населенную лябами, т. е. собственно албанцами.

Таким образом, имеется совпадение фактов: а) древнее название Албании оказалось закрепленным за небольшой горной областью; б) количество славянских названий в этой области гораздо меньшее, чем в остальных областях Южной Албании. Это соответствие вряд ли может быть случайным. Мы должны учитывать, что соседние области северной и восточной Тоскании были заселены смешанными албано-славянскими сельскими общинами. С точки зрения этих земледельцев скотоводы Курвелеша, этнически несмещанные и сохранявшие свою древнюю родовую организацию, были лябами, т. е. «собственно албанцами», а их область — это была Labëri — Arbëri. Впоследствии, когда ассимиляция славян в Южной Албании завершилась, названия Labëri, lab-, -i утратили характер этнического противопоставления и стали просто обозначениями области и ее жителей.

\*

Теперь мы опять обратимся к фонетическим явлениям албанских диалектов. Как уже было упомянуто, обширный ареал Гегерии имеет с маленьким ареалом Ляберии ряд общих явлений, связанных с характером артикуляционных плавников. В отличие от них севернотосканский диалектный ареал не знает этих инноваций.

В гегских говорах тенденции к отодвижению назад артикуляции гласного ā (в ударном положении) и к веляризации некоторых согласных проявляются в лебрежной спонтанной речи и обнаруживают широкую вариативность. Для этого уровня речи характерны известная вялость артикуляции и низкий тембр, в связи с чем и возникают указанные тенденции. Некоторые возникающие таким образом явления продолжают быть спорадичес-

кими, например, смешение фонем ð и l, наблюдаемое во многих гегских говорах. Некоторые другие имеют тенденцию к обобщению. Такое обобщение произошло в течение последних двух столетий с переходом mb > m̄, nd > n̄, который превратился в один из наиболее релевантных признаков гегского диалекта вообще, независимо от речевой установки говорящих.

Сходная картина вариативности обнаруживается и в ляберийском говоре. Некоторые инновации остаются на уровне спорадических явлений (например, тенденция к смешению ð и l), некоторые же приближаются к уровню общих признаков говора (так, например, задняя артикуляция ё [z] и переход mb > > m̄, nd > n̄). В целом можно отметить, что в говоре Ляберии ряд фонетических тенденций обнаруживается в действии. Те же возможности изучения фонетических изменений в действии дает наблюдение гегских говоров.

Совершенно иным является состояние севернотосканского диалектного типа, кажущееся очень стабильным. В севернотосканском диалектном ареале (собственно Тоскания, т. е. северная и восточная части Южной Албании) не наблюдается ни одной из указанных выше фонетических тенденций. Похоже, что эти тенденции, свободно действующие в других диалектных областях, здесь как бы подавлены, и благодаря этому севернотосканская фонетическая система приобрела консервативный характер.

Историческая диалектология показывает, что гегский диалектный ареал находился на протяжении последних столетий в состоянии непрерывных фонетических изменений. Аналогичная картина обнаруживается и в Ляберии. Только севернотосканский диалектный ареал выделяется своим консервативизмом и в основном сохраняет старотосканский облик фонетической системы. С одной стороны, мы, по-видимому, имеем дело с общими фонетическими тенденциями, изменившими в одном и том же направлении системы гегских и ляберийского говоров. С другой стороны, в севернотосканском мы видим как бы проявление инертности в отношении этих тенденций, действие которых как бы подавлено в силу какой-то загадочной причины.

В свете замечаемого параллелизма вспышнеисторических условий существования гегского и ляберийского горных ареалов представляется возможным интерпретировать и параллелизм фонетической эволюции, характерной для соответствующих говоров. В то же время, консервативность севернотосканского диалектного ареала также может быть связана с экстраполингвистическими факторами, в частности с этнической историей северной и восточной областей Тоскании.

Можно предложить следующую гипотезу. Консерватизм севернотосканского диалектного типа может иметь своей первоосновой билингвизм населения, пользовавшегося этим типом албанской речи, а также славянским языком в течение относительно длительного времени. Постепенно выходившая из употребления

македонско-славянская речь могла оставить свое наследие не только в албанской лексике, оказавшейся наполненной славянскими элементами, связанными с сельским хозяйством, но также и в характере артикуляционных навыков, сохранявшихся у ее прежних носителей. Артикуляционная база, свойственная славянской речи, не создавала препятствий для овладения албанской системой фонем в ее основных чертах. Однако в то же время она не содействовала усвоению всех вариантов фонем и развитию некоторых специфических инноваций, связанных со специфически албанскими тенденциями фонетической эволюции. Влияние исчезавшей славянской речи выразилось, таким образом, не в особом направлении фонетической эволюции, по, наоборот, оно содействовало сохранению целостности старотоскской фонетической системы<sup>10</sup>.

Таким образом, двуязычные славяне усваивали старотоскскую систему фонем в ее основных вариантах, но они, вероятно, не усваивали специфической вариативности албанского небрежного произношения, специфических отклонений от общего стандарта, дававших начало спонтанным инновациям. Возможно, при этом проявлялась известная степень сознательности в предпочтении стандартного типа произношения, характерного для старотоскского устного койне, унаследованного от речевых ситуаций албанского родового общества.

Можно предположить, что замечательное единство тоскского диалектного типа, сохраненное до наших дней в виде консервативного северотоскского диалекта, восходит к очень давнему времени, когда в основной части Южной Албании еще существовала родовая организация. Употребление устных койне в древнем обществе было прежде всего связано с формальными речевыми ситуациями. Такие ситуации создавались племенными и семейными ритуалами, обсуждениями на родовых и племенных собраниях, судебными разбирательствами, исполнением устной поэзии. Формальный характер этих разновидностей речевой активности содействовал установлению стандартного типа языка и его относительной стабильности.

В этнически смешанном двуязычном обществе, возникшем в условиях еще частично сохранявшихся и лишь постепенно выходивших из употребления остатков родовых обычаяев и норм, унаследованный тип стандартной речи повышенного уровня мог все еще сохранять значительный престиж и на него могли преимущественно ориентироваться двуязычные говорящие, стремившиеся быть понятыми.

С этой точки зрения своеобразный консерватизм северотоск-

ского диалектного типа раскрывается в его связи с речевой ситуацией, которая была характерна для Южной Албании в период раннего средневековья, в частности, в связи с долго длившимся состоянием албано-славянского билингвизма.

Совершенно иным был ход лингвистического развития в горах Ляберии, где примесь славянского населения была незначительной и где действие внутренних тенденций фонетической эволюции, основанных на собственно албанских артикуляционных навыках, не было задержано влиянием внешних факторов.

<sup>10</sup> С непосредственным воздействием произносительных навыков славянской части населения, вероятно, может быть связана лишь такая важная инновация как устранение долгот гласных. В этом отношении гегские и ляберийский говоры оказываются более консервативными.

# НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭТНОНИМОВ В ВИЗАНТИЙСКИХ ИСТОЧНИКАХ

Г. Г. Литаврин

Любое определение, как известно, представляет собою также и ограничение: оно констатирует лишь наиболее общие, основные признаки определяемого явления. Любое определение к тому же консервативно: оно не отражает тех изменений, которые претерпевает характеризуемое им явление.

Все это в полной мере присуще и тем определениям-терминам, которыми обозначаются этнические общности самых разных таксономических уровней и порядков<sup>1</sup>. Смысловая нагрузка этих терминов-этнонимов в каждый данный момент значительно варьирует в зависимости от того, кто этот термин употребляет (возраст этого лица, его культурный уровень, компетентность, социальная принадлежность, политические убеждения, подданство, отношение к религии и т. п.). Кроме того, содержание этнонима претерпевает с ходом времени существенную эволюцию — исчезает или переходит в категорию второстепенных ряд основных признаков данного понятия, появляются же некоторые новые признаки, приобретающие значение определяющих. Помимо всего этого, употребляемый и устно и письменно этнический термин, как правило, эмоционально окрашен.

Все эти особенности использования этнических понятий были, разумеется, характерны и для людей далекого прошлого. В целом точность и конкретность этнонимов, видимо, находилась в зависимости от степени зрелости самих процессов этнической консолидации. Однако для источниковедения одной этой констатации далеко не достаточно.

Прежде чем приступить к систематическому изучению проблем этногенеза и этнической истории народов Юго-Восточной Европы, необходимо осуществить ряд источниковедческих исследований, способных выделить круг наиболее достоверных письменных источников, объем и специфику содержащихся в них сведений, особенности каждого из источников.

К числу таких первоочередных источниковедческих задач относится и специальное изучение смыслового содержания византийских терминов-этнонимов, поскольку подавляющая масса письменных свидетельств по интересующей нас проблеме (по крайней мере, для IV — XIII вв.) сохранилась именно в памятниках византийского происхождения. Конечно, для глубокого и ос-

новательного решения этого вопроса требуется сплошное, планомерное обследование всех без исключения письменных источников (включая эпиграфические и сфрагистические), необходима разработка принципов научной классификации полученного материала и, вероятно, его последующая математическая обработка.

Наша цель — паметить некоторые новые пути подхода к этому материалу, в дополнение к тем поискам, которые уже были предприняты в историографии. Проблема специфики этнонимов, содержащихся в византийских письменных памятниках, отнюдь не нова. На сегодняшний день наиболее широко и последовательно она была рассмотрена в исследовании покойного венгерского учёного-лингвиста Дь. Моравчика, ставшем настольной книгой византинистов и медиевистов-славистов<sup>2</sup>. Немало специальных исследований (особенно в последние 20 лет) посвящено более частным вопросам этой обширной темы: изучается содержание таких употребляемых в византийских источниках терминов, как «болгары»<sup>3</sup>, «славяне»<sup>4</sup>, «сербы и хорваты»<sup>5</sup>, «влахи»<sup>6</sup>, «албан-

<sup>2</sup> Moravcsik Gy. *Vizantinotúrcsica*, I—II. Berlin, 1958. В соответствии с заголовком исследования, из поля зрения автора исключены страны Центральной (кроме Венгрии) и Западной Европы.

<sup>3</sup> См.: Angelov D. Образуване на българската народност. София, 1971, с. 317—378 и литература. См. также: Lischev C. Особенности в предаването на български, тракийски, византийски и др. имена на лица, селища и племена в латинските извори за българската история. — «Известия на Института за български език» (далее — ИИБЕ, 1954, III; он же). Прабългарите и българското народностно име в Европа. — ИИБИ, 1954, V; Заимов Й. Заселване на българските славяни на Балканския полуостров. Проучване на жителските имена в българската топонимия. София, 1967; Gjuselev V. Bulgaren und die Balkanhalbinsel in den geographischen Darstellungen des Angelsachsen-Königs Alfred der Große (871—901). — «Byzantinobulgarica», 1973, 45; Angelov D. Quelques problèmes de la nationalité bulgare au IX<sup>e</sup>—X<sup>e</sup>s. La langue et la prise de conscience. — Ibidem.

<sup>4</sup> Ostrogorski G. Vizantija i južni sloveni. — «Jugoslovenski istorijski časopis», 1963, 1; Цанкова-Петкова Г. Някои моменти от разселването на славянските племена от източния дял на южните славяни и установяването им на Балканския полуостров. — «Славянска филология», 1973, 14; Cankova-Petkova G. L'établissement des slaves et protobulgares en Bulgarie du Nord-Est et le sort de certaines villes riveraines du Danube. «Etudes historiques», V, A l'occasion du XIII<sup>e</sup> congrès international des sciences historiques. Sofia, 1970; Lischev St. Die Konzeption von prof. B. Grafenauer über die Ethnogenese der Balkanslaven. — «Byzantinobulgarica», IV, 1973; Comsa M. Directions et étapes de la pénétration des slaves vers la péninsule Balkanique aux VI—VII s. — «Balcanoslavica», 1, 1973; Заимов Й. «Словене» и «българе» в старобългарската книжница и в българската топонимия. — В кн.: Константина-Кирил Философ. София, 1969.

<sup>5</sup> Радојчић Н. Како су називали Србе и Хрвате византиски историци XI и XII века Јован Склица, Никифор Вријеније и Јован Зонара? — «Гласник Скопског научног друштва» (далее — ГСНД), 1927, 2.

<sup>6</sup> Stănescu E. Les «mixesbarbares» du Bas-Danube au XI<sup>e</sup> siècle (quelques problèmes de la terminologie des textes). — «Nouvelles études d'histoire». A l'occasion du XII<sup>e</sup> congrès des sciences historiques Bucarest, 1965; idem. Les «Βλάχοι» de Kinnamos et Choniates et la présence militaire byzantine au Nord du Danube sous les Comnènes. — «Revue des études sud-est européennes», 1971, IX, N 3; idem. Der Humanismus und die Anfänge der Ursprungs- und Kontinuitätsideen bei den Rumänen. — «Balkan Studies», 13. Thessalo-

<sup>1</sup> См.: Бромлей Ю. В. Этнос и этнография. М., 1973, с. 21—32.

цы»<sup>7</sup> и т. д. В частности, близкое избранному нами названию данной статьи носит работа болгарской исследовательницы В. Тышковой-Займовой<sup>8</sup>.

Изучение проблем этногенеза и этнической истории на материалах византийских источников представляет особый интерес для исторической науки не только потому, что большинство письменных источников для Юго-Восточной Европы IV—XIII вв. имеет византийское происхождение, но также потому, что Византийская империя в течение почти всего периода средневековья была сложным политическим и историко-географическим ареалом, где под единой государственной и церковной властью жило множество племен и народов, как древнейших, так и поселившихся на территории империи в IV—XIII вв.

Некоторые народы навсегда исчезли с исторической карты, некоторые, напротив, консолидировались в самостоятельные этнические общности, в народности, обрели политическую независимость и существуют ныне в виде наций в пределах собственных государств (Греция, Турция, Болгария, Югославия с ее национальными республиками, Албания, Сирия и др.).

Процесс консолидации завершился в основном в византийскую эпоху, и последующее турецкое господство в Малой Азии и на Балканах уже не привело к коренным этническим переменам.

Византийский материал позволяет проследить на длительном отрезке времени процесс взаимодействия этнически разнородных масс населения в пределах одного государства, рассмотреть роль и значение на разных этапах ассимиляционных, интеграционных факторов и факторов этнической дезинтеграции, изучить диалектику взаимокультурного влияния двух и более этнических общностей, находящихся на разных уровнях общественно-социального и культурного развития.

Основные этнические процессы, протекавшие в Византийской империи в VII—XIV вв., после эпохи Великого переселения народов, к концу VII столетия резко изменили этническую карту империи. В подвергшейся массовому нашествию «варваров» на всех сухопутных границах Византии негреческое население, видимо, заметно преобладало над греческим<sup>9</sup>. В окраинных, погра-

niki, 1972; Королюк В. Д. Волохи и славяне русской летописи. Кишинев, 1971; Литаврин Г. Г. Влахи византийских источников X—XIII вв.—«Юго-Восточная Европа в средние века». Кишинев, 1972 и литература. См. также: статьи о влахах в этом же сборнике.

<sup>7</sup> Ducellier A. L'Arbanon et les Albanais.—«Travaux et mémories», 3. Paris, 1968.

<sup>8</sup> Tăpkova-Zaimova V. Quelques remarques sur les noms ethniques chez les auteurs Byzantins.—In: «Studien zur Geschichte und Philosophie des Altertums». Budapest, 1968.

<sup>9</sup> Полагая, что греки не составляли в XI—XIII вв. абсолютного большинства населения империи, П. Карапис считает более важным абсолютное преобладание греческого языка (P. Charanis. Observations on the demography of the Byzantine Empire.—In: «The Proceedings of thirteenth international Congress of Byzantine Studies». London — Oxford, 1966, p. 19).

ничных провинциях оно образовывало компактные однородные массы, постепенно и все более интенсивно «расторяя» греческим элементом в направлении к его этническому эпицентру, включавшему собственно Грецию, Южную Фракию с Константинополем и западные и северо-западные районы Малоазийского полуострова.

Процесс проникновения на территорию империи погреческих племен и народов продолжался и впоследствии, фактически до конца существования империи. Сравнительно компактные «островки» этнически ипородного населения были «раскиданы» по «карте» Византии почти во всех ее провинциях: славяне в Фессалии, Южной Фракии и Южной Македонии, па Пелопоннесе, в Эпире, армяне в Киликии и в Северной Фракии, влахи в большинстве балканских провинций, печенеги в Македонии, венгры на Вардаре и т. п.

Этот процесс этнического расчленения территории Византии диалектически сочетался и в IV—VIII вв. и в IX—XIV вв. с процессами этнической консолидации и интеграции. Во-первых, в целом происходила последовательная подвижка (уплотнение) — от окраин к упомянутому эпицентру греческого населения — с падением обороноспособности империи, с утратой ею северобалканских, итальянских и малоазийских провинций. Во-вторых, на сохранявшихся под властью константинопольского императора территориях, где греческое население в целом значительно преобладало над иными этническими группами, все большую интенсивность приобретал процесс эллинизации этих инородных групп, который первоначально выражался не столько в «смешении крови» (брахи негреков с греками), сколько в культурной ассимиляции<sup>10</sup> (в какой-то степени этому процессу способствовала нараставшая в течение X—XII вв. тенденция к урбанизации: в городах ассимиляция осуществлялась гораздо более быстрыми темпами, чем в сельской местности<sup>11</sup>). В-третьих, этническая консолидация окраинных народов империи была одним из факторов их вычленения через образование независимых государств из состава Византии. С этого времени в целом общение болгар, сербов, армян и грузин с греками, как и попытки эллинизации, вели не к ассимиляции, а к углублению и интенсификации процессов этнической взаимной дезинтеграции. Стремясь к упрочению своего политического влияния среди тесно соприкасавшихся с нею народов, как входивших в ее окраинные провинции, так и не входивших, содействуя развитию их культуры. Византия нередко достигала временного дипломатического успеха, но не целей ассимиляции: напротив, процесс созревания этно-политического самосознания среди этих народов обретал дополнительный стимул.

<sup>10</sup> Charanis P. Observations..., p. 18, 19.

<sup>11</sup> Antoniadis-Bibicou H. Problèmes d'histoire économique de Byzance au XI<sup>e</sup> siècle: démographie, salaires et prix.—«Byzantinoslavica» (далее — BS), 1967, 28, p. 256, 257.

Эпизодическое включение в границы Византийской империи с помощью воинской силы народов (например, болгар в период с 1018 до 1185 г.), обладавших устойчивой исторической памятью о некогда независимом государственном существовании, уже ничего не могло изменить в направленности этнического развития компактной и однородной массы новых подданных: попытки эллинизации давали в таких случаях, как правило, прямо противоположный результат<sup>12</sup>.

Особенности византийской системы обозначения и характеристики иных народов во многом определялись спецификой их собственного самосознания. Оно было основой, отправным пунктом их суждений о другом народе: его характеристика преследовала прежде всего цель подчеркнуть, чем данный народ отличался от самих византийцев.

Подавляющее большинство народов Европы, оказавшееся так или иначе в сфере воздействия римской цивилизации, именовало византийцев в течение всего времени существования Византийской империи «греками», как их называли еще римляне, распространив наименование одного из западных племен античной Греции на все ее население. Сами же византийцы, и прежде всего — подлинные греки, упорно именовали себя с IV по XV в. «римлянами» («ромеями»), вкладывая в это понятие большой философский и политический смысл. Византийцы рассматривали свою империю как непосредственное продолжение Римской, центр которой в 330 г. был перенесен «равноапостольным» Константином Великим из Рима на берега Босфора. Ее бывшие западные и иные провинции рассматривались лишь как временно отторгнутые «варварами»<sup>13</sup>.

Римская империя («Романия») мыслилась центром ойкумены (цивилизованного — христианского мира). Другие страны и народы признавались лишь в той мере причастными к цивилизации, в какой они были связаны с единственным подлинным «паместником божиим» на земле, с императором Константинополя, т. е. какой ранг правители этих стран получили от императора, какое место они заняли в той иерархии стран и народов, которую византийская дипломатия и амбициозная политическая доктрина имперских политиков и философов сконструировала для вселенной<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> Усвоение, даже весьма интенсивное, элементов византийской культуры народом, обладающим государственной независимостью и собственными культурными традициями, не может быть приравнено к эллинизации.

<sup>13</sup> Pselles S. Grammatik der byzantinischen Chroniken. Göttingen, 1913, S. 262; Amantes K. Ρωμαίια.— „Ελληνικά“ 1933, 6, 231—235; Thiriet F. La Romanie v nitierne au moyen âge. Le développement et l'exploitation du domaine colonial vénitien (XII—XV<sup>1</sup> siècles). Paris, 1958, p. 1 sq.

<sup>14</sup> Ostrogorski G. Autokrator i Samodržac.— «Glas Srpske Akademije», 1935, 164; Obolensky D. The Principles and Methods of Byzantine Diplomacy.— In: XII-e Congrès International des études byzantines. Rapports. II. Ochride, 1961, p. 1—17; idem. Byzantine Commonwealth. London, 1970, p. 223 sq.

Эта отвлеченная и умозрительная (и тем не менее порою действенная в византийской дипломатической практике) теория весьма мало соответствовала подлинному положению дел. Однако для наших целей в данной статье она имеет серьезное значение, так как составляла основу общественно-политического мышления представителей господствующего класса Византии, в том числе и деятелей византийской культуры, определяла угол зрения византийских авторов на иные страны и народы, а следовательно, отразилась и на употребляемой ими этнической терминологии.

Народ «ромеи» представлял в их изображении, таким образом, как особый, избранный богом, призванный властвовать над другими, как выразилась писательница XII столетия, дочь императора Алексея Комнина, Анна<sup>15</sup>.

Самый термин «ромеи», по крайней мере до XII столетия, не включал в себя никакого этнического содержания. Он вообще весьма мало соответствовал действительному положению дел; в особенности с VII в., когда официальным языком византийской администрации вместо латыни стал греческий язык. Византийцы отнюдь не были «римлянами», подавляющее большинство потомков римской знати, переехавшей из Италии на Восток при Константине I и несколько позже, погибли в бурах варварских нашествий и внутренних смутах IV—VII столетий. Состав господствующего класса империи в VII—XI вв. имел по преимуществу греческое происхождение, как свидетельствует новое исследование А. П. Каждана; было в его среде немало выходцев и из других, подвластных империи народов (армян, грузин, славян, сирийцев, арабов и т. д.)<sup>16</sup>. Византийцы исповедовали христианство восточного толка, не признавали верховенства папы, епископа римского, соблюдали нравы и обычаи традиционно греческие. Латынь была знакома лишь узкой группе интеллектуалов и юристов. Официально «ромеи» четко и определенно отмежевывались от всякой генетической связи со своими далекими предками, античными и эллинистическими греками: слово «эллин» в устах византийца было синонимом понятия «язычник». Он отказывался от кровного родства с древними греками, говоря на греческом; он претендовал на кровное родство с римлянами, не ведая их языка. В понятии «ромеи» заключался лишь политически-конфессиональный смысл. «Ромеями» были все жители империи — подданные императора, исповедовавшие христианство восточного толка.

Когда византийским авторам приходилось говорить о жителях современного им Рима и Италии, они обычно именовали их «италиками» («италами») и «латинянами». Причем последний термин прилагался вообще к жителям Западной Европы и означал прежде всего их приверженность к христианству западного толка.

<sup>15</sup> Анна Комнина Алексиада. Вступительная статья, перевод и комментарий Я. Н. Любарского. М., 1965, с. 391.

<sup>16</sup> Каждан А. П. Социальный состав господствующего класса Византии XI—XII вв. М., 1974.

(«католичеству», как стали говорить впоследствии) и подчиненность папской духовной власти.

Между «римлянами»-современниками и «ромеями», по представлениям тех и других, не было ничего общего. Константин Багрянородный, говоря о населении прибрежных далматинских городов, называет их, в отличие от «ромеев» (*Ρωμαῖοι*), «романами» (*Ρωμᾶνοι*) и поясняет, что они называются таким образом, ибо Диоклетиан переселил их сюда из Рима<sup>17</sup>. Царственный автор имеет при этом, несомненно, в виду и то, что эти «романы» исповедовали «католичество»<sup>18</sup>.

Наиболее ярко трактовка отличий между «ромеями» и «римлянами» отразилась в рассказе епископа Кремоны Лиутпранда о споре на эту тему между ним и Никифором II Фокой с его царедворцами в 968 г. в Константиноополе. Лиутпранд, по его словам, открыто высмеял нелепые претензии греков именоваться «римлянами»: потомки древних римлян живут в Риме, в Италии, а не в Константиноополе. Ему возразили: именно «ромеи», подданные константинопольского императора, являются потомками знатных римлян, сенаторов и воинов, переселенных Константином Великим на Восток; живущие же в современном Риме «римлянами» называться не имеют права, ибо их предки, оставленные здесь за непадобностью Константином I, — плебеи, булочники, рыбаки, незаконопорожденные и рабы<sup>19</sup>.

Уже в этом сообщении Лиутпранда содержатся указания на некоторые новые черты в самосознании византийской знати: появляется и в течение XI-XII вв. окончательно созреет мысль о «благородстве крови» как непременном признаке знатного ромея<sup>20</sup>. Термин «ромей» приобретает социальную окрашенность. Если до 70-х годов XI в. на престоле империи порой оказывались люди низкого социального происхождения, то с этого времени и далее, до конца византийской истории, с оформлением аристократической феодальной верхушки общества и развитием чувства сословной исключительности, императорами становились при всей зыбкости в Византии принципа наследственности высшей власти только представители знатных родов империи. Попытке «ромеи» не было, таким образом, неизменным. Вместе с развитием социальных процессов созревания феодальных отношений оно обретало постепенно и собственно этнический смысл. Авторы XI—XII вв. все чаще при характеристике того или иного лица стали отмечать этническое происхождение такого «ромея». И если достоинства этой личности оказывались высокими, их подчеркивали особо как явле-

<sup>17</sup> Constantine Porphyrogenitus. *De administrando imperio*, ed. Gy. Moravcsik and R. J. H. Genkins. Budapest, 1949, p. 122 sq.

<sup>18</sup> Сплитский собор 925 г. оформил подчинение Далмации папству и запрет богослужения на славянском языке. См. об этом: Соколов Н. П. Образование Венецианской колониальной империи. Саратов, 1963, с. 205, 206.

<sup>19</sup> *Luitprand von Cremona. Die Werke*. Hannover u. Leipzig, 1915, S. 202.

<sup>20</sup> Каждан А. П. Указ. соч., с. 59—61 и сл.

ние, в какой-то мере противоречащее иноплеменному происхождению человека<sup>21</sup>. «Подлинным» ромеем все более определенно в официальных кругах признавался именно ромей-грек.

В какой-то мере эти представления вышли за узкие круги знаний и образованных слоев общества. Появились новые юридические нормы или такие толкования старых норм, которые, по сути, утверждали правовую неравноправность между ромеями-греками и ромеями-иноплеменниками. Запрещалось не только владеть греком в качестве раба, но и приобретать раба-грека за пределами империи<sup>22</sup>. Между тем в правление Алексея I Комнина обнаружилось, что многие греки владеют рабами-болгарами, спустя почти 80 лет после того, как Болгария была завоевана Византией и ее жители стали христианскими подданными императора, т. е. «ромеями». Алексей I приказал освободить от рабства тех болгар, которые представляют доказательства своего происхождения от свободных родителей<sup>23</sup>. Прочие же должны были остаться рабами. Положение это сохранилось и позже: в педавнио опубликованном И. Дуйчевым документе XII в. говорится о продаже болгарами — ортодоксальными свободными подданными императора — своего ребенка в рабство священнику-греку<sup>24</sup>. И как бы в признание перемен, произошедших в самосознании византийцев-греков, они, как правило, в XI—XII вв. и позднее уже не переносили названия «ромеи» на негреческих подданных императора (болгар, армян, грузин). Лишь в исключительных случаях, во время столкновения византийских войск (отряды которых были укомплектованы из представителей разных народов) с печенегами, половцами или турками-сельджуками, термин «ромей» мог употребляться как собирательный для обозначения всех воинов, сражавшихся за императора.

Иноплеменники в империи ощущали иногда остро на себе эти перемены. В 50-х и 60-х годах XI в. Иверский (грузинский) монастырь на Афоне остро конфликтовал с греческими монастырями из-за того, что они поддерживали монахов-греков одного из методов Иверона, отказавшихся подчиняться ивирам. Подтверждая привилегии Иверона в 1079 г., Никифор III Ватапиат запретил членам и кому бы то ни было паносить монастырю вред, «поскольку илюзийны в нем пребывающие»<sup>25</sup>.

В типике Григория Бакуриани, составленном в 1083 г. для основанного им монастыря во Фракии, основатель запрещает принимать в число монахов греков, употребляя здесь термин «ромей»

<sup>21</sup> Michel Psellos. *Chronographie*, ed. E. Renaud. Paris, 1926, v. I, p. 108.

<sup>22</sup> Practica Eustathii Romani. *Jus Graeco-Romanum*, ed. C. Zachariae a Lingenthal, I. Lipsiae, 1856, p. 193, 194.

<sup>23</sup> Ibid., III, p. 402—407.

<sup>24</sup> Дуйчев И. Български спогодбен акт от спохата на византийското владичество.— В кн.: «Известия на научния архив», 3. София, 1966.

<sup>25</sup> Dölger F. Aus den Schatzkammern des Heiligen Berges. München, 1948, N 36, S. 105; N 58, S. 161, 162; N 35, S. 101.

уже в узко этническом значении<sup>26</sup>. А Григорий — первый в это время среди полководцев императора, доверие которого к Григорию было безграничным. Другой военачальник, полуармянин-полуславянин Кекавмен давал в своем сочинении советы иностранным независимым от империи топархам, как избежать подчинения императору и сохранить самостоятельность<sup>27</sup>.

Перед такими выходцами из инородцев, стремившимися сделать карьеру при константинопольском дворе, становилась с ходом времени все более настоятельной необходимость возможно полнее и быстрее изжить черты, свойственные их этническому типу, получше овладеть греческим языком, усвоить обычаи, нравы и мироощущение, господствующие в окружавшей их греко-византийской знатной среде. Некий Ливелий, писал автор конца XI в. Михаил Атталиат, получил воспитание сирийское и ромейское, но стал истинным ромеем<sup>28</sup>. Повелитель Атталии в начале XIII в. Алдебрандин был родом италиец, но по воспитанию и складу ума, как с удовлетворением констатирует Никита Хониат, оказался ромеем<sup>29</sup>. Император Алексей I Комнина, отражавший вторжение норманнского герцога Роберта Гвискара, претендовавшего на константинопольский трон, был совершиенно убежден, что даже в случае победы Роберта эта цель не была бы им достигнута, так как народ и войско ромеев не допустили бы «варвара» до императорской власти<sup>30</sup>.

Отнюдь не случайно в византийской ученой литературе с конца XII в. стал вновь проскальзывать для обозначения жителей империи древний термин «греки», хотя даже и в середине XV в. он употреблялся несравненно более редко, чем термин «ромеи»<sup>31</sup>. Все чаще начинает высказываться также мысль, что одновременное проживание в одном городе или районе этнически смешанного населения дурно отражается на нравах: множатся пороки, которыми представители разных народов заражают друг друга<sup>32</sup>. В несомненной связи с этими общими процессами находится и такая, казалось бы, академически безобидная литература мапера, как аттикаизация: ясно проявившееся с конца XI и ставшее модным с середины XII в. стремление оснастить повествование, торжественные речи, письма, стихи ремиписценциями об эпизодах античной истории, образами греческих мифологических сюжетов,

<sup>26</sup> Typicon Gregorii Pacurianii, ed. S. Kauchtschisehvili. Tbilisi, 1963, p. 122.8—21.

<sup>27</sup> Советы и рассказы Кекавмена. Сочинение византийского полководца XI в. Подготовка текста, введение, перевод и комментарий Г. Г. Литаврина. М., 1972, с. 298—306.

<sup>28</sup> Michaelis Attaliotae historia. Bonnae, 1853, p. 111.

<sup>29</sup> Nicetae Choniatue historia. Bonnae, 1835, p. 842.

<sup>30</sup> Anna Komnina. Алексиада..., с. 87.

<sup>31</sup> См., например, индекс (*Πατέρων Φωτιάδην*) в «Истории» Дуки (*Ducas. Istoria Bizantina*, ed. V. Grecu. Bucharest, 1958).

<sup>32</sup> Nic. Chon, p. 405, 418; Пребывание Мазариса в подземном царстве. Перевод С. П. Кондратьева.—«Византийский временник» (далее — ВВ), 1958, XIV, с. 351, сл.

ссылками на древних авторов, изречениями из их трудов. Началось широкое увлечение сочинениями великих мудрецов древности. Отправляясь от идей Платона, в середине XV в. византийский философ Георгий Гемист Плифон даже пытался сконструировать новую космогонию, новую религию, новое учение о социальной организации общества, предлагая свою умозрительную доктрину в качестве средства спасения империи<sup>33</sup>.

С XIII в. (с 1261 г. — года возвращения Константинополя византийцами) реальное политически-конфессиональное и этническое содержание термина «ромен» совпало: при познательных исключениях подавляющая масса подданных византийского императора была греками.

Тем не менее и этническое и конфессионально-политическое самосознание ромеев отличалось своеобразной «иерархичностью» — сознание общности с той или иной группой ромейского населения у каждого ромея было обычно различным. Особенно концентрированным чувство «ромейского самодовольства», превосходства не только над прочими народами, но и над ромеями-провинциалами было у потомственных жителей столицы империи — Константинополя, «царицы городов», «девяти десятых божьего закона». Они имели преимущественное право на внимание властей, они обладали особыми привилегиями, которые были как бы отзвуком привилегий населения древнего Рима, на них падал от свет императорского трона, благодать постоянного присутствия духовного владыки, отблеск «чудес» града «равноапостольного» Константина<sup>34</sup>. Это чувство было свойственно даже деклассированному константинопольскому плебсу. Особенно обостренным оно было в X—XI вв. у представителей столичной бюрократии, из среды которой, кстати говоря, вышло большинство представителей византийской культуры. Каждый ромей, начиная строить свою карьеру, мечтал о том, чтобы стать константинопольцем либо приобрести там дом и иметь право на появление при дворе императора.

Большое значение придавали ромеи землячеству. В основе этого чувства лежали не только фактор соседства могил предков, места детства и жительства, но сознание древнего сохраняемого преданием племенного родства. Земляков объединяли и общие родственные связи, и общие знакомства, и даже традиционное соперничество с жителями соседних районов, областей, провинций. Критяне и фессалиец покатывались со смеху, слушая ионийца и дорянца, а те платили им тем же<sup>35</sup>. Традиционно и иногда жестоко враждовали жители провинций Фракия и Македония

<sup>33</sup> См.: Медведев И. П. Мистра. Очерки истории и культуры поздневизантийского города. Л., 1973, с. 100, сл.

<sup>34</sup> См. об этом: Nicol D. The Last Centuries of the Byzantium. London, 1972, p. 1—2. Cp. Constantinus Porphyrogenitus. De thematibus. Bonnae, 1840, p. 46.12, 13.

<sup>35</sup> Византийская сатира «Тимарион». Перевод С. В. Поляковой и И. В. Фелепковской. Предисловие Е. Э. Липшиц.— ВВ, 1953, VI, с. 377.

(константинопольцы — с адианопольцами), Армениака и Харспана<sup>36</sup>. Общим взаимным недоброжелательством платили друг другу обитатели восточных (малоазийских) и западных (балканских) провинций в целом. Напротив, еще в конце XII в. византийские полководцы, строя войско перед битвой, располагали его фланги по родам, племенам и коленам, чтобы обеспечить большую стойкость и готовность прийти на помощь землякам и соплеменникам<sup>37</sup>. Узурпатор Алексей Комнин, осаждая Константинополь, считал бесполезным атаковать его стены там, где их защищали земляки Никифора III Ватапиата<sup>38</sup>. После восшествия на престол императора, ведущего род из провинции, его земляки, родственники и знакомцы во множестве привлекались в ряды столичного чиновничества, в гвардейские отряды, в дворцовую четальду.

Сознание некоей большей общности, как упоминалось, имелось у жителей западных, с одной стороны, и восточных провинций,— с другой. Ромеи же в целом противостояли всему «нецивилизованному» миру. Воспитанное веками представление о своем превосходстве над другими народами почти непрерывно и жестоко опровергалось действительностью, начиная с середины XI в. Византийцы не могли не видеть этого противоречия, но, признавая, порой с горечью, справедливость неправости к себе со стороны иноземцев<sup>39</sup>, их поразительное благородство<sup>40</sup> и непревзойденную воинскую доблесть<sup>41</sup>, византийские авторы в целом не изменяли глубоко укоренившемуся чувству своей государственной, конфессиональной и этнической исключительности. Это чувство с течением времени становилось лишь все более обостренным и болезненным.

Отношения между ромеями разной этнической принадлежности претерпело в течение IV—XIII вв., как уже было сказано, значительную эволюцию. Еще в IX—X вв. ромеи-греки не проводили при взаимном общении с ромеями-пегреками никакой резкой грани. Однако уже Константин Багрянородный в середине X в., через три столетия после славянских вторжений, скорбит, что «ославянилась вся страна» (Греция и Пелопоннес) «и стала варварской»<sup>42</sup>. Мы не знаем каких-либо специальных мер, которые предпринимала бы правительственные власти в Византии с целью интенсивной насильственной ассимиляции рассеянных групп или крупных анклавов иностранных народов, проживавших во внутренних районах империи, вдали от ее границ. Славянские поселения в

<sup>36</sup> Kacgi W. E. La politique du thème Charsianon. — XIV-e Congrès intern. des études byzantines. «Résumées — Communications». Bucarest, 1971, p. 87—88.

<sup>37</sup> Nic. Chon, p. 39, 40.

<sup>38</sup> Анна Комнина Алексиада..., с. 109.

<sup>39</sup> Nic. Chon., p. 847.

<sup>40</sup> Georgius Cedrenus. Joannis Scylitzae ope, II. Bonnae, 1839, p. 508. 20—509.4.

<sup>41</sup> Анна Комнина. Алексиада..., с. 270.

<sup>42</sup> Const. Porphyri. De thematibus, p. 53, 18—19.

Южной Фракии, у устья р. Марица и в Южной Македонии, близ Фессалоники, как и в Фессалии, сохранялись в течение полутора тысячелетия, до конца XII в., а на Пелопоннесе — до XIII—XIV вв. Главным для властей было — обеспечить повиновение иностранных, уплату ими налогов и несение воинской службы. Репрессивные меры (расселение, переселение, высылка видных лиц и т. п.) осуществлялись лишь в ответ на восстания иностранных. Ассимиляционную роль играло, в сущности, только одно, зато наиболее могучее средство — христианизация. Оказав духовенству помочь в ходе «крещения» и организации церкви среди иностранных, государственная власть в дальнейшем лишь поддерживала уставившийся порядок. Служба осуществлялась на греческом языке. Общие неофиты «с богом» и властями содействовало быстрому развитию среди ромеев-иностранных билингвизма. Процесс полной ассимиляции растягивался на весьма длительное время. Но такие иностранные островки, оторванные от компактных масс этнических родственного населения, были обречены на полное исчезновение, на эллинизацию.

В сущности, с принципиальной стороны, политика византийцев по отношению к иностранным народам крупных областей, лежавших на окраинах империи, которые представляли собой самостоятельные в прошлом государства, захваченные империей (мы имеем в виду армянские, грузинские, болгарские и сербские земли), была той же самой. Различие состояло в том, что эти народы к моменту аннексии уже были христианскими, имели свою письменность и совершали богослужение на родном языке. Назначения новых провинций (Иверия, Болгария) констатировали их этническую инострannость в империи. В армянских, грузинских, сербских районах имперские власти даже не пытались назначать греческих иерархов и вводить богослужение на греческом языке. Такая попытка была предпринята в Болгарии в XI—XII вв., но она, во-первых, не была осуществлена до конца, а, во-вторых, в силу общих социальных и этнических процессов этого периода, о которых сказано в начале статьи, привела к углублению не ассимиляции, а болгарского этнического самосознания.

Изредка источники сообщают о крупных переселениях иностранных, производимых византийскими властями (болгарской знатью и даже воинскими болгарскими контингентами — в Армению, в пограничье, многотысячными группами армян — во Фракию, к пределам Болгарии)<sup>43</sup>. Однако цели этих переселений были чисто политическими и военными, а не ассимиляционными, хотя объективно удаление переселенцев от родственной этнической среды обрекало их на ассимиляцию.

<sup>43</sup> См. об этом: Литаврин Г. Г. Армянский автор XI столетия о Болгарии и болгарах. — В кн.: Славяне и Россия. М., 1972; Бартикан Р. М. О болгарском войске в Васпуракане и последних годах царства Арцрунидов. — «Вестник общественных наук АН АрмССР», 1973, № 10.

Таковы, на наш взгляд, наиболее общие черты этнических отношений между разными народами в пределах самой Византийской империи. Такова в целом и эволюция самого термина «ромеи», которым обозначали себя сами византийцы. Видимо, опираясь на предшествующее изложение, мы можем с известными основаниями сказать, что при определении и характеристике народов, не входивших в пределы империи, византийские авторы исходили из тех же категорий, имели в виду в целом те же основные признаки и критерии, которые они употребляли при описании племен и народов, подвластных византийскому императору. Основными среди этих критериев являются: этногенетический (происхождение народа), политический (подданство), конфессиональный (форма религии), географический (место обитания).

Д. Моравчик подчеркивал, что при всей сложности византийской этнической терминологии сведения византийских авторов представляют огромную историческую ценность и в подавляющей своей массе заслуживают доверия исследователя. Пожалуй, именно византийцы первыми вплоть до XII в. давали письменную характеристику любому новому народу, появлявшемуся в Европе (не говоря уже о Передней Азии и Африке). Ареал действия византийской дипломатии был огромным — до XII в. она безусловно являлась наиболее изощренной и опытной в Европе. Традиции длительного общения с иноплеменниками уходили в тысячелетнее прошлое. В империи существовали особые официальные службы и административные органы, служившие делу общения с иностранцами. Имелось даже своего рода средневековое министерство иностранных дел — ведомство дрома. Существовал многочисленный штат подготовленных переводчиков и т. д.<sup>44</sup> Византийцы имели возможность глубоко и систематически изучать нравы, языки и обычай иноzemцев у себя дома: в Константинополе в X—XV вв. существовали пользовавшиеся правами экстерриториальности колонии иностранцев (сирийцев, арабов, грузин, русских и варягов, венецианцев, генуэзцев и др.); на Афоне имелись Амальфитянский, Русский, Грузинский, Болгарский, Сербский монастыри.

В. Тыпкова-Займова указывает на то, что нечеткость и сложность этнической терминологии византийских авторов находит, порой, объяснение не столько в особенностях представлений византийцев, сколько попросту в недостатке осведомленности<sup>45</sup>.

По-видимому, верны заключения обоих ученых, но применительно лишь к каждому конкретному случаю.

Наибольшее количество византийских терминов, обозначающих племена и народы, составляют термины собирательные, которые представляют собою родовые понятия, включающие в себя несколько или множество видов и подвидов. Принципы конструирования этих собирательных родовых понятий весьма различны —

<sup>44</sup> G. Moravcsik G. *Byzantinoturcica*, II, S. 1—3.

<sup>45</sup> Тыпкова-Займова В. *Quelques remarques...*, p. 403—405.

они могут охватывать все те критерии при дефинициях (этногенетический, политический, конфессиональный и т. п.), о которых мы упомянули выше.

Так, например, наиболее многозначным термином, которым византийцы обозначали практически все народы, появлявшиеся у дунайских границ из Северного Причерноморья, был термин «скифы» (*Σκύθαι*). Им обозначали и гуннов, и хазар, и венгров, и аваров, и болгар, и русских, и печенегов, и узов, и половцев, и татаро-монголов. Термин употреблялся наряду с теми собственными наименованиями, которые имелись у византийцев для каждого из этих народов. Это была намеренная архаизация (в древности территории была заселена скифами), в цели которой не входила этническая характеристика — в столь широком значении термин «скифы» должен был подчеркнуть только дикость этих народов, в понятие которой входили: отсутствие строго организованных форм государственной жизни на определенной территории, отсутствие городов и крепостей, языческие формы религии (идолопоклонство).

С XI в. термин «скифы» был перенесен и на некоторые народы в Малой Азии — на турок-сельджуков со времени их появления у византийских границ (второе десятилетие XI в.), а с XIV в. — также и на турок-османов.

Однако использование этого термина иногда гораздо более сложно. В более узком значении он является синонимом термина «кочевники» (*οὐρανοίδες*). С принятием болгарами, русскими и венграми христианства скифами византийские авторы стали называть их гораздо реже — лишь в случаях обострения политических отношений с ними. Но примечательно, что византийцы никогда не называли «скифами» арабов. Принятие христианства уменьшило «скифские» свойства, а приятие турками мусульманства сделало этого, видимо, по представлениям византийцев, не могло. Однако дело здесь, по всей вероятности, отнюдь не в одном «качественном» отличии религий. Византийцы никогда не называли скифами также южных славян и, в частности, сербов, близайших соседей болгар.

Правда, авары, по мнению византийцев, также — скифы, а между славянами и аварами в византийских источниках иногда ставился знак равенства<sup>46</sup>. Однако основа этой идентификации лежит совсем в иной плоскости (об этом мы скажем ниже).

Предположению, что славяне (в том числе сербы), по мысли византийцев, непричастны к Северному Причерноморью и потому не могут именоваться скифами, противоречит обозначение как скифов сельджуков и османов. (Впрочем, Константий Багрянородный пишет о славянах Приднепровья, подвластных русским<sup>47</sup>. А это — «скифский» ареал.)

<sup>46</sup> *Const. Porphy. De adm. imp.*, p. 122.17—18, 33, 36—37 etc.; *Nicolaos*. — PG, 119. Paris, 1864, col. 877 D.

<sup>47</sup> *Ibid.*, p. 56—62.

Мы считаем возможным допустить, что понятие «скиф» в византийских источниках имеет также и этническое содержание. Оно состоит, по нашему мнению, прежде всего в тюркоязычии «византийских скифов». Не случайно это имя-эпитет наиболее последовательно прилагается в византийских памятниках именно к протоболгарам, печенегам, узам, половцам, татаро-монголам, сельджукам и османам. Эпизодическое перенесение этого названия на русских (чаще — в форме «тавроскифы») не может, по нашему мнению, противоречить такому допущению: это перенесение, во-первых, имело в виду чаще всего русских язычников, когда их место жительства было уже хорошо известно («скифская» равнина), а сведения об их языке были еще весьма скучны, во-вторых, это перенесение ставило цель подчеркнуть свирепость и дикость русских.<sup>48</sup>

Соперничает по многозначности в источниках с термином «скифы» термин «гунны». При этом они объявляются то как равнозначный скифам народ («скифский или гуннский»<sup>49</sup>), то как вид скифов («царскими подобает их именовать скифами»<sup>50</sup>). К гуннам византийцы относили огромную группу народов: эфталиты (или «белые гунны»), акации, сабиры, оногуры, утигуры, кутигуры, болгары, авары, турки, угры (венгры), узы, половцы, сельджуки, османы и др. Д. Моравчик отмечает при этом, что в качестве «собственно гуннов» в византийских источниках выступают авары, гепиды, готы, киммерийцы, массагеты, невры, сигинны и скифы<sup>51</sup> и что сохранившиеся гуннские собственные имена могут лишь частично найти объяснение в германских и тюркских языках.<sup>52</sup>

Нас, однако, в связи с целями нашей статьи, интересует несколько иной аспект: не то, кем в этническом смысле гунны являлись в действительности, а то, что византийцы имели в виду под термином «гунны». И в данной связи, сравнивая содержание этого термина с термином «скифы», нельзя не отметить гораздо меньшую определенность термина «гунны», несмотря на то, что он появился в источниках тысячелетием позже термина «скифы». Точнее было бы сказать, что когда появился термин «гунны», понятие «скифы» употреблялось уже в каком-то ограничительном значении.

Видимо, в основе формирования понятия «гунны» у византийцев лежали не какой-то один или два главных принципа, а ис-

<sup>48</sup> Константин Багрянородный только однажды назвал русских, наряду с хазарами и турками, одним из «северных и скифских» народов (*Const. Porph. De adm. imp.*, p. 66.24—25), причисляемых им к «нечестивым», «иноверным и некрещенным» (*ibid.*, p. 70. 106, 116).

<sup>49</sup> *Argiani Tactica et Mauricii artis militaris libri duodecim*, ed. J. Schef-fer. *Upsaliae*, 1664, p. 137.

<sup>50</sup> *Zosimi comitis et exadvocati fisci historia nova*, ed. L. Mendelsohn. *Lipsiae*, 1887, p. 174.22—24.

<sup>51</sup> G. Moravcsik. Op. cit., II, S. 359.

<sup>52</sup> *Ibid.*, I, S. 58.

сколько принципов, среди которых этнический имел второстепенное значение<sup>53</sup>. В самом деле: вряд ли в этническом отношении имелось что-либо общее между такими «гуннскими» народами, как готы, с одной стороны, и болгары и турки,— с другой. В понятии «гунны», по нашему мнению, византийцы с самого начала подчеркивали два основных признака: принадлежность к огромному союзу племен и народов, неумолимо и быстро продвигавшемуся в глубь Европы, и необычайную свирепость воинов и вождей этого союза по отношению к побежденным (т. е. современное значение эпитетов «гунны» или «вараны»).

Третьим по емкости термином, использовавшимся византийцами для обозначения народов Восточной и Юго-Восточной Европы, является термин «славяне» (*Σκλαβοι*, *Σκλαβηνοι*, *Σκλαβοι*, *Σθλαβοι*, *Σθλοβενοι*). Однако емкость этого термина в известном смысле формальна: он указывает лишь на огромные пространства, занятые славянскими племенами. Анты, кривитеины, лендзанины, северы, сербы, хорваты, сагудаты, драгувиты и т. д. — таковы названия славянских племен, но этнические различия между ними отмечены в источниках крайне печетко и слабо. Предположить недостаточное знание византийцами славян как причину этого невозможно: римеи, по крайней мере с VI в., постоянно сталкивались со славянами, которые заселили значительные территории самой империи. Следовательно, отразившиеся в племенных названиях славян различия указывали, скорее, не на этнические особенности каждого из племен, а на обособление длительное развитие социально-общественной организации в недрах каждого из племен. Именно поэтому созданная Кириллом и Мефодием славянская грамота оказалась доступной и мораванам, и русским, и славянам Болгарии и Сербии.

Хотя славяне, несомненно, входили в гуннский союз, византийцы никогда не причисляли их к гуннам или скифам. Объяснение этому следует, вероятно, искать в том, что славяне резко отличались и языком, и образом жизни (оседлые земледельцы) от доминировавших в гуннском союзе (и среди скифов вообще) тюркских кочевых народов. Правда, как мы упоминали, славян иногда идентифицировали с аварами, а аваров — с гуннами. Однако причина этого лишь в том, что часть славян в VII—IX вв. Однако причина этого лишь в том, что часть славян в VII—IX вв. включала в состав Аварского каганата, т. е. причина эта — чисто политическая: как и в случае с гуннским союзом, на славян было перенесено название господствовавшего в каганате народа (аваров).

Показательна в этом отношении эволюция термина «болгары» (*Βολγαροι*). Д. Моравчик строго различает два периода в исто-

<sup>53</sup> Иордан, основываясь на сочинении Приска Панийского (в том числе на утраченных его фрагментах), представляет гуннов малорослым широкочленным народом, мужчины которого безбороды (Иордан о происхождении и действиях гетов. Вступительная статья, перевод, комментарий Е. Ч. Скржинской. М., 1960, с. 90, 91).

рии термина: до оседания болгар на Балканах и после поселения на Балканах<sup>54</sup>. Их причисляли (мы полагаем, в основном благодаря тюркоязычию) к скифам и к гуннам (входили в их союз). Более того, само наименование этого народа — в некой мере случайно: согласно анонимным «Заметкам о народах» (VIII—IX вв.), оно образовано от личного имени племенного воинства (филарха) Булгара<sup>55</sup>. Эту версию повторяют многие византийские авторы X—XIV вв. Николай Мистик считает болгар осколком аваров<sup>56</sup>, Константин Багрянородный пишет, что раньше их называли оногуандурами, а «имя их стало известным», когда они в конце правления Константипа IV переправились через Истр<sup>57</sup>. (Иначе говоря, лишь тогда византийцы узнали, как этот народ именовал себя сам.) Иосиф Генесий считал их аваро-хазарами<sup>58</sup>.

После переселения болгар на Балканы и создания ими совместно со славянами Мисии государственной организации, в которой болгарам принадлежала господствующая роль, их имя было распространено на все население этого государства, в котором славянам принадлежало большинство (подобно тому, как обстояло дело в Аварском каганате). Феофилакт Охридский пишет в «Житии Климента»: «славянский народ стал затем народом болгарским»<sup>59</sup>. Однако к X—XI вв. византийские авторы, отмечая, по-рой, недавний биэтнический характер страны в термине «славяно-болгары»,<sup>60</sup> называют болгар «славянами по природе» (*Σθλαβούςεις*)<sup>61</sup>. В конце XII — начале XIII в. в силу особых политических причин (восстание болгар против византийского господства, сохранение провинции Болгария на западе Балкан, не затронутом восстанием, большая роль влахов в восстании) на болгар временно переносилось также наименование влахи<sup>62</sup>. В целях архаизации писатели империи с VIII в. называли болгар также мисянами (они заняли на Балканах территорию древней Мисии), пеонами, или паннонами<sup>63</sup>. Кроме того, во время византийского господства болгарские воины в составе византийской армии «удостаивались» наименования «ромеев».

<sup>54</sup> Moravsk G. Op. cit., S. 100, 101; см. также: Ангелов Д. Образование..., с. 116, сл., 215 сл.

<sup>55</sup> *Pseudo-Callisthenes* nach der Leidener Handschrift, hrsg. v. H. Meusel.— *Jahrbücher für class. Philologie*, Suppl. 5, 1864, 72, S. 792.

<sup>56</sup> *Nikolaos Mystikos*. — PG, t. 111. Paris, 1863, col. 81. C. 57. *Const. Porph.*, De themat., p. 85.29—32.

<sup>58</sup> *Genesius*, rec. C. Lachmann. Bonnæ, 1834, p. 85.22—86.

<sup>59</sup> Теофилакт. Климент Охридски. Перевод от греческого оригинала, увод и белочки на Ал. Милев. София, 1955, с. 34.23.

<sup>60</sup> *Acta monasterii Iberon*, hrsg. v. F. Dölger.— «Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften». Philosophisch-historische Classe, II, 1, 1952, N 1b, S. 7.13.

<sup>61</sup> Theophanes Continuatus, Joannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius Monachus. Bonnæ, 1838, p. 50.21.

<sup>62</sup> См. об этом: Литаврин Г. Г. Болгария и Византия в XI—XII вв. М., с. 431—437.

<sup>63</sup> *Geographi Graeci Minores*, ed. C. Müller, II. Parisiis, 1882, p. 269.28; *Ioannis Tzetzae hiliades*. Lipsiae, 1826, p. 369.85.

Таким образом, на примере этого этнонима можно проследить, сколь различным может быть содержание одного и того же византийского термина, употребляемого для обозначения хорошо известного византийцам народа.

Излюбленными у византийских авторов были также обобщающие термины, указывающие на конфессиональную принадлежность народов. Гораздо чаще, чем этонимы «франки», «алеманы», «испаны», «инглизы», и т. п., они использовали по отношению к народам Западной Европы термин «латины», который означал их приверженность к католичеству и содержал, несомненно, отрицательную характеристику.

По отношению к мусульманам в подобном смысле уже с VIII—IX вв. широко употреблялись три термина: «агаряне» (т. е. потомки наложницы Агари, прогнанной Авраамом), «исмаилиты» (потомки сына Агари Исмаила) и «сарацины» (потомки жены Авраама Сарры). Прилагавшиеся первоначально к арабам эти термины в XI в. были перенесены также на принявших мусульманство турок-сельджуков, а впоследствии — на османов и татар. В последние века византийской истории к этим трем терминам прибавились с тем же значением еще два: «махуметианы» и «мусульмане».

Конфессиональный смысл при указании на языческие племена и народы вкладывали византийцы также в термин «эфники», образованный от слова «этнос». Подобное же значение (без всякого указания на этническую принадлежность) имели также термины, обозначавшие приверженцев различного рода ересей (манихеев, павликian, массальян и др.). Нередко как синоним ереси (монофизитства) употребляли византийцы и термин «армяне». Однако при этом ощущалось некоторое неудобство: немало армян были халкидонитами, т. е. приверженцами православия (символа веры, выработанного на Халкидонском соборе), немало их занимали крупные должности при самом дворе. Поэтому для указания на монофизитство («армянскую ересь») византийцы часто использовали термин «акефалы». Для понимания этно-политической ситуации в империи не лишено значения то обстоятельство, что среди негреческих народов чувство этнического единства иногда преобладало над религиозным: полководец Григорий Бакуриани испросил у императора хрисовул на право передавать свое имущество кому хочет, в том числе — своим родственникам и людям, «хотя бы они были армянского исповедания»<sup>64</sup>.

Широко распространенными в византийских источниках для обозначения народов были термины, образованные от географических попытий и также не содержащие этнической характеристики. Порой эти термины крайне неопределены и свидетельствуют почти о полной неосведомленности византийцев о населявших

<sup>64</sup> Typicon Gregorii Pacuriani, p. 154.14—16. Впрочем, о происхождении Григория (грузин или армянин) в литературе ведутся нескончаемые споры.

данные места народах (например, термин «гипербореи»). Порой, напротив, чрезвычайно конкретны, указывая на точное в пределах очень небольшой территории место поселения народа (например, «вардариоты» или «вардарские турки», как византийцы называли венгерскую колонию на р. Вардаре в Южной и Средней Македонии)<sup>65</sup>.

Специфической особенностью византийской этнической терминологии является чрезвычайно распространенная архаизация этнонимов. Она, несомненно, была связана с отмеченной выше аттикализирующей тенденцией в византийской литературе. Недаром особенно интенсивно эта особенность проявилась в последние столетия византийской истории — в прямом противоречии с углублением конкретных знаний византийцев о других народах.

О том, как сами византийцы объясняли свою приверженность к этой моде, хорошо сказано у Дь. Моравчика<sup>66</sup>. Наиболее ярким на этот счет является высказывание Анны Комнины: она не хочет «оскорблять» повествование приведением в их подлинном звучании «варварских имен и названий»<sup>67</sup>. Подобное заявление делал и долго живший среди болгар архиепископ Охридский Феофилакт Ифест<sup>68</sup>.

Конкретные причины выбора того или иного архаичного этнонима для обозначения современного и нередко хорошо известного византийцам народа были различны. Иногда такой причиной было неведение — искренняя убежденность, что данный народ действительно происходил от того древнего народа, название которого византийский автор употребляет паряду с современным или даже вместо современного. Примером в данном случае может служить наименование русских тавроскифами у Льва Диакона, убежденного в этногенетическом родстве русских со斯基фами древней Тавриды<sup>69</sup>.

В большинстве случаев, однако, перенос древнего названия народа на современников византийские авторы осуществляли, отлично зная, что в этногенетическом отношении между обоими народами не было ничего общего, кроме тех же мест обитания. Так, турки-сельджуки оказываются «персами», «персармянами» и даже «парфянами»<sup>70</sup>, а африканские арабы — «карфагенянами»<sup>71</sup>.

Впрочем, иногда при архаизации византийские авторы пыта-

<sup>65</sup> Laurent V. ‘О Бардариях в Греции. Персы. Туры азиатские или Туры краснокожие?’ В кн.: Сборник в память на проф. Петър Ников. София, 1940; *Oikonomides W. Vardariotes*. — W. I. nd. g. — V. n. nd. g: Hongrois installés dans la vallée du Vardar en 934. — «Südost-Forschungen», 1973, 32, p. 1—8.

<sup>66</sup> Moravcsik G. Op. cit., II, S. 9—17.

<sup>67</sup> Анна Комнина. Алексиада..., с. 201.

<sup>68</sup> Theophylacti archiepiscopi epistulae. — PG, t. 126. Paris, 1864, col. 372. A—B etc.

<sup>69</sup> Leonis Diaconi historiae libri decem. Bonnae, 1828, p. 150.

<sup>70</sup> Cedr., II, p. 670.8, Nic. Chon., p. 25.20; Michel Psellos. Chronographie, ed E. Renauld, II. Paris, 1928, p. 114.7, 122.7.

<sup>71</sup> Cedr., II, p. 520.6 sq.

лись с известными основаниями обосновать перенос названия именно этногенетическими связями древнего народа с современным. Так, например, поступает Кекавмен, называя влахов даками и бессами<sup>72</sup>.

И, наконец, еще одна причина архаизации, о которой вскользь было упомянуто выше,— сознательное стремление унизить, оскорбить враждебный империи народ. Такова, например, природа наименования болгар скифами. Порой при этом под архаичное однозначное слово подгонялось, переосмысливаясь и искаляясь само этническое название народа: вместо «татары» — «Тáртаро́ (тартары, т. е. «исчадия Тартара»)<sup>73</sup>.

Таковы вкратце наиболее общие, типичные особенности этнической терминологии византийских письменных источников. Мы коснулись лишь нескольких вопросов, возникающих перед историком при наблюдениях над нею. Однако уже из сказанного ясно, что при исследовании проблем этногенеза народов Центральной и Юго-Восточной Европы византийские источники потребуют немало труда для раскрытия сложного и далеко не равнозначного на разных этапах содержания упоминаемых в этих письменных памятниках этнонимов.

<sup>72</sup> Советы и рассказы..., с. 269, 519—521, 561.

<sup>73</sup> Moravcsik G. Op. cit., II, S. 301.

# ВОПРОСЫ ЭТНОГЕНЕЗА И ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ СЛАВЯН И ВОСТОЧНЫХ РОМАНЦЕВ В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

## О ХАРАКТЕРЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ БОЛГАРИИ В VII—IX ВВ.

(Краткий обзор трудов  
болгарских и советских археологов 1948—1973 гг.)<sup>1</sup>

*Н. Л. Подвигина*

Изучение этногенеза любого народа связано в первую очередь с разработкой важнейших вопросов истории тех этнических компонентов, из которых сложился тот или иной народ, и с выяснением характера его материальной культуры. В настоящее время считается установленным, что в создании болгарской народности приняло участие несколько этнических компонентов — местное фракийское и иллирийское население, славяне и праболгары (называемые также протоболгарами, булгарами, тюрко-болгарами). Для выяснения роли каждого из них в процессе этногенеза болгарского народа необходимо комплексное изучение всей совокупности исторических источников VII—IX вв., в том числе и данных археологии.

Как известно, археологические материалы позволяют исследователям определить характер материальной культуры и уровень развития производительных сил у того или иного этноса, а это в свою очередь помогает выяснить и характер господствовавших производственных отношений. Археологически можно проследить и некоторые явления, связанные с процессом этногенеза. Однако лишь немногие специалисты по раннесредневековой истории Болгарии (С. А. Никитин, Д. Апгелев) обращаются к данным археологии, хотя достижения этой отрасли исторической науки за последние два с половиной десятилетия весьма значительны. Археологи не всегда используют в своих исследованиях письменные источники, что мешает делать обоснованные исторические выводы.

<sup>1</sup> В статье рассматриваются основные труды обобщющего характера и работы, посвященные исследованию наиболее значительных раннесредневековых археологических памятников Болгарии, опубликованные за последние два с половиной десятилетия.

Одной из первых проблемных работ по археологии, появившихся после 9 сентября 1944 г., была книга К. Миятева «Славянская керамика в Болгарии и ее значение для славянской археологии на Балканах»<sup>2</sup>, которая, по существу, положила начало серьезному изучению материальной культуры славян. Проанализировав огромный керамический материал из большинства археологических музеев Болгарии, автор пришел к выводу, что славянская керамика была широко распространена на территории к югу от Дуная, где на позднеантичной основе был заложен тот фундамент, который в дальнейшем определил культурную общность славян. Придавая большое значение античному наследию, К. Миятев в то же время недооценивал уровень развития культуры славян. До прихода на Дунай славяне, по его мнению, почти не знали металла и керамики и пользовались в основном деревом. Их культуру он называет «примитивной», «деревянной». Последующие археологические исследования опровергли его точку зрения и показали, что и до появления на Балканах славяне были знакомы и с керамикой, и с металлом.

В конце 40-х годов начались систематические раскопки археологических памятников, связанных с историей Первого болгарского царства. Перед археологами стояла важная задача — высказать свое мнение по поводу реакционной «теории превосходства» прраболгар над славянами, основываясь на «вещественных доказательствах». А это невозможно было сделать, не выяснив характера и уровня развития славянской и прраболгарской материальной культуры.

С самого начала массовых археологических исследований в стране большое внимание стало уделяться раскопкам обеих древних столиц болгарского государства — Плиски и Преслава. Их изучение началось еще в конце прошлого столетия и продолжается до сих пор.

Первая болгарская столица Плиска (681—893 гг.) была обнесена двойным поясом укреплений — земляным валом со рвом и мощной каменной стеной. Над крепостной стеной возвышались круглые и пятиугольные башни. Городские ворота были укреплены двойными квадратными башнями. Улицы «внутреннего города» вели к центру, где находились Большой и Малый дворцы, дворцовая крепость и другие монументальные здания на каменных фундаментах, остатки которых раскопаны археологами.

В Преславе, ставшем столицей Первого болгарского царства в 893 г., в период его культурного расцвета, также исследуются «внутренний» и «внешний» город. Во времена турецкого владычества Преслав был разрушен, а его раннесредневековый строительный материал использовался для возведения мечетей и других сооружений. Уцелел монументальный фундамент царского двор-

<sup>2</sup> Миятев К. Славянската керамика в България и нейното значение за славянската археология на Балкана. София, 1948.

ца, сложенной из массивных каменных блоков, который удалось открыть археологам. Сохранились также часть стен, мраморные колонны и капители храмов, найдены детали мозаики, глазурованные сосуды, золотые, серебряные и медные украшения. Обнаружены развалины Круглой, или Золотой, церкви, а возле нее — две ремесленные мастерские по изготовлению расписной керамики. В двух километрах к югу от старого города, в местности Патлейна, исследованы остатки керамической мастерской и мастерской по производству стекла.

Монументальная архитектура Плиски и Преслава (наряду со всем комплексом археологического материала) уже не одно десятилетие изучается специалистами, которые понимают, что эти памятники больше, чем какие-либо другие, могут дать ответы на вопросы о формировании раннеболгарской культуры и о роли местного населения, славян и праболгар в этом процессе. Мнения археологов о том, кем были построены монументальные сооружения обеих столиц Первого болгарского царства, разделились (эта проблема является темой специального исследования и здесь подробно не рассматривается). Одни ученые, например С. Станчев (Ваклинов), считают, что крепостная и дворцовая архитектура отражают племенные традиции праболгар, другие (А. Милчев) полагают, что она создавалась на местной античной основе.

В настоящее время считается установленным, что Плиска была смешанным поселением. Несмотря на то, что она являлась резиденцией ханов праболгарского происхождения и праболгарский элемент в составе городского населения был значителен (о чем свидетельствует массовый бытовой археологический материал, прежде всего керамика праболгарского типа), там, особенно на окраинах города, жили и славяне. В пределах «внешнего города» обнаружены типичные славянские жилища — землянки и полуzemлянки. С. Михайлов, А. Милчев, С. Георгиева полагают, что славяне могли здесь жить еще до образования болгарского государства<sup>3</sup>.

Преслав был основан ханом Омуртагом в 821 г., а в конце IX в. процесс формирования болгарского народа близился к завершению, так что говорить о Преславе конца IX в. как о городе со смешанным славяно-болгарским населением уже не приходится. В это время здесь жили не праболгары и славяне, а единое население, говорившее на славянском языке и называвшееся болгарами.

В последние годы в Северо-Восточной Болгарии, на основной территории Первого болгарского царства, открыто множество смешанных поселений. Кроме того, археологи ведут исследования

<sup>3</sup> Михайлов С. Археологически материали от Плиска (1948—1951 гг.). — «Известия на Археологически институт», т. XX. София, 1955, с. 139; Милчев А. Разкопки в Плиска западно от Вътрешния град през 1959 г.— «Археология» [София], 1960, № 3, с. 38; Георгиева С. По въпроса за характера на ранносредновековната българска култура.— «Археология», 1962, № 3, с. 4.

как раннеславянских, так и праболгарских памятников. Изучение таких археологических объектов имеет большое значение для выяснения характера той и другой культуры, отдельные элементы и взаимопроникновение которых можно проследить в смешанных памятниках эпохи Первого болгарского царства. А это в свою очередь дает возможность установить характер болгарской материальной культуры конца VII—IX вв.

В 1948 г. начались систематические раскопки некрополя у г. Новый Пазар, недалеку от Плиски, материалы которого были опубликованы С. Станчевым и С. Ивановым в 1958 г.<sup>4</sup> Исследования показали, что некрополь оставлен праболгарами, о чем свидетельствуют как погребальный обряд, так и могильный инвентарь, главным образом керамика.

Рядом с некрополем, на противоположном берегу Кривой реки, обнаружены остатки поселения, которое С. Стапчев связывает с некрополем. Открытие новопазарского памятника имело большое значение для изучения праболгарской материальной культуры.

В начале 50-х годов в археологических исследованиях раннесредневековых памятников Болгарии приняли участие и зарубежные специалисты. В 1954 г. в местности Калето у с. Попина Силистренского округа начала работы болгаро-советско-румынская экспедиция. Раскопками были открыты позднеантичная крепость IV—VI вв. и средневековое городище VIII—XII вв., а также его некрополь<sup>5</sup>.

Несмотря на интенсивное археологическое изучение Северо-Восточной Болгарии, которое велось с конца 40-х годов, среди болгарских археологов не было единого мнения о характере раннесредневековой культуры Болгарии. Как и прежде, существовали две точки зрения: одни считали, что в ее формировании главную роль сыграли праболгары, другие отдавали предпочтение славянам, правда, роль античного наследия признавалась всеми.

В 1962 и 1964 гг. на страницах периодического журнала «Археология», органа Археологического института и музея Болгарской Академии наук, прошла оживленная дискуссия по указанному вопросу. Одна из ее участниц, С. Георгиева, в своей статье подвергла критике господствовавшую в буржуазной литературе концепцию, по ее мнению, до сих пор поддерживаемую некоторыми современными болгарскими археологами<sup>6</sup>. Особенно критиковала С. Георгиева работы С. Стапчева, считая многие его положения противоречивыми и недостаточно аргументированными. Она подчеркивала роль античного и византийского наследия, оказавшего благотворное влияние на славянскую культуру, которая явилась

<sup>4</sup> Станчев С. и Иванов С. Некрополът до Нови пазар. София, 1958.

<sup>5</sup> Въжарова Ж. Славянобългарското селище край село Попина, Силистренско. София, 1956.

<sup>6</sup> Георгиева С. По въпроса за характера..., с. 1—5.

основой раннесредневековой культуры Болгарии. Но, критикуя С. Станчева, преувеличивающего, по ее мнению, роль праболгар, С. Георгиева впадала в другую крайность, отрицая их вклад в болгарскую культуру эпохи раннего средневековья, что тоже нельзя было признать верным.

Вскоре вышла в свет статья С. Станчева, посвященная выяснению той же проблемы<sup>7</sup>. Отметив антинаучность и реакционность построений Б. Филова и других буржуазных ученых, автор подчеркнул, что неправы и те современные исследователи, которые отрицают роль праболгар или обзывают праболгарскую культуру славянской.

С. Станчев рассматривает памятники Северо-Восточной Болгарии VIII — первой половины XI вв. (известно около 150 укрепленных поселений этой эпохи), жилища и бытовой археологический материал которых не отличаются от комплекса Плиски (за исключением монументальной архитектуры). Это позволяет говорить, подчеркивает он, о связи Плиски с археологическими памятниками Нижнего Дуная и о том, что население, жившее в этой части страны, было смешанным, состоявшим из славян и праболгар. В конце IX—XI вв. оно представляло собой часть той, уже славянской народности, которая называлась болгарской. Далее, на основании изучения изменений в погребальном обряде, конструкции жилищ и т. п. автор пытается проследить картину этнических перемен. Он отмечает, что чем дальше на юг, тем меньше заметны в быте населения праболгарские черты.

Культуру Северо-Восточной Болгарии С. Станчев считает результатом развития и взаимодействия славянской и праболгарской культур. В процессе формирования единой болгарской народности на Балканах и славянской по своему характеру древнеболгарской культуры сыграли свою роль как славяне, так и праболгары. Победа славянского элемента для С. Станчева несомненна, несмотря на то, что праболгары, по его мнению, обладали «относительно более высокой материально-бытовой культурой»<sup>8</sup>. Это последнее положение С. Станчева вызывает серьезные возражения со стороны других археологов.

В 1964 г. в дискуссию включился А. Милчев<sup>9</sup>, который выступил с критикой теории культурного превосходства праболгар над славянами, но в то же время отметил несостоятельность утверждений тех исследователей, которые отрицают существование праболгарской культуры на Балканах. Рассмотрев прежде всего вопрос об античном наследии и его роли в формировании раннесредневековой культуры Болгарии, автор специально остановился на славянских материалах, свидетельствующих о достаточно высоком

<sup>7</sup> Станчев С. Славяни и прабългари в старобългарската култура. — «Археология», 1962, № 4, с. 1—6.

<sup>8</sup> Там же, стр. 6.

<sup>9</sup> Милчев А. По въпроса за култура на славяните и прабългарите в нашите земи през ранното средновековие. «Археология», 1964, № 1, с. 1—12.

уровне развития материальной культуры славян в первой половине I тысячелетия н.э. При этом он использует и письменные источники.

А. Милчев считает, что болгарская культура VIII—IX вв. создавалась на основе раннеславянской культуры в процессе взаимодействия ее с местной фракийской, позднеантичной и ранневизантийской культурами при участии праболгар, которые, хотя и имели в то время менее развитую, по его утверждению, материальную и духовную культуру, чем славяне, все-таки оказали некоторое влияние на формирование раннесредневековой болгарской культуры<sup>10</sup>. Мнение А. Милчева об уровне развития славянской и праболгарской культур противоположно точке зрения С. Станчева, которая в свою очередь вызывает возражения у других исследователей.

В 1964 г. вышла из печати новая статья С. Станчева, в которой подводились итоги двадцатилетнего изучения археологических памятников VIII—X вв. на территории Северной Болгарии<sup>11</sup>. Автор выделил несколько типов поселений той эпохи: неукрепленные селища, характерные, по его мнению, для скотоводческого населения страны (автор считает их праболгарскими), и укрепленные городища, наиболее крупными из которых являются Плиска, Преслав и ряд аулов, возникших по инициативе государства (С. Станчев полагает, что они были характерны для земледельческих племен эпохи великого переселения народов»).

Исследованы две группы некрополей VIII—X вв.: с трупосожжениями и с трупоположениями. Сравнивая их, автор делает вывод о взаимном влиянии этих двух погребальных обрядов, что свидетельствует о взаимопроникновении двух основных племенных культур на территории Северо-Восточной Болгарии — славянской и праболгарской. Таким образом, древнеболгарская культура представляет собой результат органического слияния славянской, праболгарской и местных культур и в IX—X вв. уже воспринимается, по мнению С. Станчева, как различные проявления единой славянской, болгарской культуры<sup>12</sup>.

Большое внимание проблемам формирования раннесредневековой культуры Болгарии уделяет Ж. Выжарова. Ею опубликованы две монографии и ряд статей на болгарском и русском языках, посвященные этим вопросам<sup>13</sup>.

<sup>10</sup> Там же, с. 9.

<sup>11</sup> Станчев С. Старобългарската култура през VIII—X век. Кратка археологическа характеристика. — «Трудове на Висшия педагогически институт „Братя Кирил и Методий“, т. I. Велико-Търново, 1964, с. 21—51.

<sup>12</sup> Там же, с. 39.

<sup>13</sup> Въжарова Ж. Славянобългарското селище край село Попина, Силистренско; она же. Славяните на юг от Дунава. — «Археология», 1964, № 2, с. 23—33; она же. Славянски и славянобългарски селища в българските земи от края на VI—XI век. София, 1965; она же. Средновековни обекти по долините на реките Цибрица и Огоста. — ИАИ, т. XXVIII. София, 1969, с. 231—245; она же. Средновековното селище в м. Стареца, с. Гарван, Силист-

В статье, изданной в 1964 г., раннеславянские памятники конца VI—VIII вв. на территории к югу от Дуная рассматриваются в сравнении с памятниками эпохи Первого болгарского царства<sup>14</sup>. Автор отмечает самобытный характер раннеславянской культуры этих районов, в которой преобладают общеславянские признаки. В памятниках же культуры VIII—IX вв. прослеживаются, по мнению Ж. Выжаровой, как славянские, так и неславянские признаки (Северо-Восточная Болгария); в Южной и Юго-Западной Болгарии встречаются только славянские памятники.

Год спустя вышла в свет монография Ж. Выжаровой, в которой освещались материалы археологических объектов конца VI—XI вв., и в первую очередь поселения в местности Джеджови лозя у с. Попина Силистренского округа, раскопанного автором. Поселение представляет собой прекрасный образец двухслойного памятника<sup>15</sup>. В работе даны подробные описания жилищ и типологические характеристики находок (керамики, каменных, костяных и металлических изделий, орудий, украшений и т.п.). Основываясь на классификации жилищ и керамики памятника, Ж. Выжарова выделила два этапа в жизни поселения и две археологические культуры. Одна из них характеризовалась печами-каменками и керамикой, лепной и сделанной на легком гончарном круге; вторая — полуземлянками с печами, врытыми в материк, и гончарной керамикой (горшками с линейным орнаментом, лощеными сосудами и котлами с внутренними ушками). Первую культуру (нижний слой Джеджови лозя) исследовательница определила как славянскую и датировала концом VI—VIII вв., а вторую (верхний слой Джеджови лозя) связала и со славянами, и с праболгарами, и отнесла ее к «славяно-болгарскому» времени VIII—XI вв.

Относительно этого интересного памятника советский археолог И. П. Русанова высказала мнение, что датировка первой культуры еще нуждается в уточнении. Керамика групп А и Б из нижнего слоя Джеджови лозя, аналогичная керамике из Луки Райковецкой, роменско-боршевских поселений и Глинчи I, относится, по мнению И. П. Русановой, ко времени не ранее конца VII в. и бытует до начала IX в.<sup>16</sup> То же самое можно сказать и о датировке других раннеславянских объектов Болгарии, культура кото-

ренско.—«Археология», 1966, № 2, с. 21—31; она же. Памятники Болгарии конца VI—XI вв. и их этническая принадлежность. «Советская археология» (далее — СА), 1968, № 3, с. 148—159; она же. Славяни и прабългари (турко-българи) в светлината на археологическите данни.—«Археология», 1971, № 1, с. 1—22.

<sup>14</sup> Въжарова Ж. Славяни на юг от Дунава, с. 23—33.

<sup>15</sup> Въжарова Ж. Славянски и славяно-български селища...

<sup>16</sup> Плетнева С. А., Русанова И. П. Рец. на кн.: Ж. Н. Въжарова. Славянски и славяно-български селища в българските земи от края на VI—XI век. София, 1965.—СА, 1966, № 3, с. 277.

рых сходна с культурой I Джеджови лозя. Эта (безусловно, славянская) культура должна датироваться не VI—VIII, а концом VII — серединой IX вв.<sup>17</sup>

В двух других статьях Ж. Выжаровой, опубликованных в 1968 и 1971 гг.<sup>18</sup>, подведены итоги почти двадцатилетнего изучения раннесредневековых памятников (некрополей, селищ, городищ и городов), которые она, как и прежде, относит к концу VI—XI вв., и сделана попытка определения их этнической принадлежности. Автор отмечает, что в последние годы проводятся систематические раскопки поселений и могильников эпохи раннего средневековья не только в Северо-Восточной Болгарии, но и в северо-западных, юго-западных и южных районах страны. Эти исследования особенно важны и интересны, так как долгое время представление о раппесредневековой болгарской культуре можно было составить лишь по археологическим памятникам Северо-Восточной Болгарии.

Достоинством работ Ж. Выжаровой является использование ею письменных источников и этнографических данных. Пытаясь локализовать некоторые из славянских племен на основании материалов некрополей, автор обращается к эпиграфическим памятникам<sup>19</sup>. Однако ссылки на письменные источники иногда даются в отрыве от археологических материалов. Так, сообщения средневековых хронистов о массовом пропиленении славян на Балканский полуостров в VI—VII вв. не подтверждаются данными археологии. Но это не значит, что славян в VI в. на Балканах не было — ведь неизвестны и памятники праболгар, которые примили на балканские земли во второй половине VII в. Возможно, что эти ранние памятники еще не открыты и ждут своего исследователя, и дальнейшие разведки и раскопки подтвердят сообщения средневековых авторов<sup>20</sup>.

Интересные наблюдения при изучении раппесредневековых памятников Северо-Восточной Болгарии сделал Д. И. Димитров<sup>21</sup>. Он обратил внимание на то, что раннеславянские селища всегда возникали на позаселенных местах или на месте древних фракийских поселений и в большинстве случаев уже к VIII в. прекращали свое существование. Раннеславянский слой не за- свидетельствован до сих пор ни в одном из ранневизантийских

<sup>17</sup> Там же, с. 278.

<sup>18</sup> Въжарова Ж. Н. Памятники Болгарии конца VI — XI в..., с. 148—159; Въжарова Ж. Славяни и прабългари (турко-българи)..., с. 1—22.

<sup>19</sup> Ж. Въжарова. Славяни и прабългари (турко-българи)..., с. 19, 20.

<sup>20</sup> К праболгарским памятникам VI—VII в., возможно, относится селище у с. Боймир-Каолиново (см.: Ваклинов С. За характера на раннобългарската селищна мрежа в Североизточна България.—«Археология», 1972, № 1, с. 11).

<sup>21</sup> Димитров Д. И. Някои въпроси на проучването на ранносредновековните селища в Североизточна България.—«Музей и паметници на културата», 1967, № 4, с. 1—5.

городов и крепостей как в Болгарии, так и в Румынии. Лишь над двумя из пяти раннеславянских поселений Силистренского округа обнаружены слои эпохи Первого болгарского царства. Следовательно, связь между обитателями рапннеславянских и славяно-болгарских поселений также не была значительной. Зато на месте римских крепостей, расположенных в удобных для земледелия равнинных районах, которые продолжали свое существование и в ранневизантийское время, остатки поселений эпохи Первого болгарского царства встречаются довольно часто. Новые поселенцы не использовали прежние жилища и сооружения, а устраивали над ними и между ними свои жилища-земляники.

Общеизвестно, что изучение керамики играет важную роль в археологических исследованиях. Керамика является самым массовым материалом, позволяющим уточнить датировку, а иногда и этническую принадлежность памятника, что имеет большое значение для решения проблем этногенеза.

Л. Дончева-Петкова специально занимается болгарской керамикой. Весь керамический материал, открытый на территории Болгарии, она делит на четыре большие группы, каждую из которых подробно характеризует<sup>22</sup>. Автору удалось выяснить технологию производства керамической посуды<sup>23</sup>, проследить время ее появления и продолжительность бытования, районы распространения и возможные производственные центры<sup>24</sup>. Так, горшки, имеющие форму перевернутого усеченного конуса, Л. Дончева-Петкова, как и большинство болгарских археологов, считает славянскими, а лощеную керамику, сферические и яйцевидные сосуды с врезным орнаментом в виде параллельных линий связывает с праболгарами. В конце IX и особенно в X в. обе традиции в керамическом производстве сливаются, появляются сосуды-гибриды, сочетающие и те и другие признаки<sup>25</sup>. Все это еще раз наглядно свидетельствует о глубоком взаимопроникновении и слиянии славянской и праболгарской культур в единую болгарскую культуру.

В разработке проблем, связанных с формированием раннесредневековой материальной культуры Болгарии и этногенезом болгарского народа, принимают участие и советские археологи. Особенно важны исследования, проводимые Прутско-Днестровской экспедицией Академии наук Молдавской ССР и Института археологии Академии наук СССР<sup>26</sup>.

<sup>22</sup> Дончева-Петкова Л. Българската битова керамика през ранното средновековие (края на VI—XI век). София, 1969. Автореф. канд. дисс.

<sup>23</sup> Дончева-Петкова Л. Технология на рапннеславянската и старобългарска битова керамика (края на VI—X век). — «Археология», 1969, № 2, с. 10—24.

<sup>24</sup> Дончева-Петкова Л. Трапезната керамика в България през VIII—XI век. — «Археология», 1970, № 1, с. 12—25.

<sup>25</sup> Дончева-Петкова Л. Българската битова керамика..., с. 29, 30.

<sup>26</sup> Для изучения раннесредневековой культуры Болгарии немаловаж-

За это время в южной, степной, части Прутско-Днестровского междуречья обнаружено несколько десятков поселений, культура которых аналогична культуре памятников эпохи Первого болгарского царства в Болгарии. Наиболее интересным из них является городище у с. Калфа Тираспольского района Молдавской ССР, исследование отрядом Прутско-Днестровской экспедиции под руководством Г. Ф. Чеботаренко<sup>27</sup>.

Основная масса находок на поселении представлена керамикой. Опираясь на стратиграфию культурного слоя памятника и керамический материал, Г. Ф. Чеботаренко выделяет два горизонта, соответствующих определенным хронологическим периодам жизни на городище. Первый период — славянский — характеризуется лепной керамикой типа Луки Райковецкой (горшками, мисками, сковородами) и датируется VIII — первой половиной IX в. Ко второму периоду — периоду Первого болгарского царства — относится верхний горизонт культурного слоя, содержащий гончарную керамику двух групп: кухонную и лощеную. Кухонная керамика частично продолжает традиции раннеславянской посуды (формы сосудов, орнаментация), но отличается более развитой техникой изготовления (она сделана на быстром ручном гончарном круге и содержит примесь кварцевого песка в тесте, а не шамота, как лепная керамика). Другую большую группу керамического материала этого периода составляет керамика салтовского типа: столовая (лощеная) и кухонная, которую по внешнему виду трудно отличить от одновременной рапннеславянской посуды (шарообразные горшки с лилейным и волнистым орнаментом, в отличие от славянских, содержат известняк и растительную примесь в тесте). Лощеная керамика, широко распространенная на территории Первого болгарского царства и Хазарского каганата, на городище Калфа датируется X в.

ное значение имеют работы советских археологов по исследованию памятников, имеющих большое сходство с праболгарскими древностями на Дунае и расположенных в Подонье, Приазовье, в Крыму, на Северном Кавказе (труды И. И. Ляпушкина, М. И. Артамонова, С. А. Плещевой, А. Л. Якобсона, А. В. Гадло, В. А. Кузнецова). Но в рамках одной статьи, в которой делается попытка проанализировать исследования, проводившиеся на территории Дунайской Болгарии, где происходило формирование болгарской народности, останавливаются на трудах упомянутых ученых не представляется возможным. В статье не рассматриваются также работы исследователей раннеславянских памятников на территории Молдавии (Г. Б. Федорова, И. А. Рафаловича, П. И. Бырги, И. Г. Хыпку), так как они также не имеют прямого отношения к теме.

<sup>27</sup> Чеботаренко Г. Ф. Калфа — городище VIII—X вв. на Днестре. Кишинев, 1973; он же. Жилища городища Калфа VIII—IX вв. — «Известия АН Молдавской ССР», (Кишинев), 1965, № 12, с. 63—67; он же. Городище Калфа. — В кн.: «Материалы и исследования по археологии и этнографии Молдавской ССР» (далее — МИАЭМ). Кишинев, 1964, с. 197—209; он же. Классификация керамики поселения Калфи. — «Труды III конференции молодых ученых Молдавии», (Кишинев), 1963, вып. III, с. 86.

Относящиеся к этому периоду жилища, так же как и раннеславянские, представляют собой прямоугольные в плане землянки с печами — каменками в одном из углов (иногда печи располагались и в центре). Стены жилищ обшиты деревяшными плахами или сложены из бревен, образующих сруб. Ко второму горизонту относятся также два гончарных горна, несколько ручных мельниц и хозяйственных ям грушевидной и цилиндрической формы.

В конце IX в. раннеславянская культура на городище Калфа уступила место культуре Первого болгарского царства. Эту смену Г. Ф. Чеботаренко связывает с освоением степной части Прутско-Днестровского междуречья выходцами из Северо-Восточной Болгарии в результате роста могущества и расширения территории Первого болгарского царства. После победы болгарского царя Симеона над венграми в 896 г. этот район, по мнению автора, оказался, вероятно, в составе болгарского государства. Поэтому культура южной части междуречья Прута и Днестра подверглась сильному влиянию славяно-болгарской культуры, о чем свидетельствует керамический материал из поселений Калфа, Криничное, Глубокое и других (всего в южной части Прутско-Днестровского междуречья обнаружено около 90 подобных памятников<sup>28</sup>), совершенно аналогичный керамике из большинства памятников Северо-Восточной Болгарии. Этот период на городище Калфа Г. Ф. Чеботаренко датирует второй половиной IX — рубежом X и XI в.

В 1970 г. вышла из печати статья М. И. Артамонова, посвященная характеристике болгарских культур Северного и Западного Причерноморья<sup>29</sup>. Автор отрицал существование в средневековой Болгарии так называемой славяно-болгарской культуры. По его мнению, славяне и тюрко-болгары с самого начала оседания последних на Нижнем Дунае и до исчезновения их под ударами Византии, с одной стороны, и других тюркских народов — печенегов и половцев — с другой, оставались особыми этническими общностями связанными только единой политической организацией, но в остальном сохранявшими свою территорию, свой язык и культуру. Случаи биологического смешивания, так называемые «династические браки», особенно частые у представителей правящих слоев соседствующих этносов, не меняли существа отношений между тюрко-болгарами и славянами в целом как между двумя народами. Вот почему ошибочно и в силу этого неприемлемо, по утверждению М. И. Артамонова, наименование «славяно-болгарская» культура, равно как и распространение названия «бол-

<sup>28</sup> Чеботаренко Г. Ф. Материалы к археологической карте памятников VIII—X вв. южной части Прутско-Днестровского междуречья. В кн.: «Далекое прошлое Молдавии». Кишинев, 1969, с. 211—227.

<sup>29</sup> Артамонов М. И. Болгарские культуры Северного и Западного Причерноморья. — В кн.: Доклады Географического общества СССР, вып. 15. Этнография. Л., 1970, с. 3—37.

гарская культура» на средневековую культуру всей Болгарии. Термин «праболгарская культура», по мнению автора, также неверен, так как тюрко-болгары вовсе не были праболгарами, т. е. предками славяно-болгарского народа<sup>30</sup>. (Соглашаясь с тем, что в подобной интерпретации употребление этого термина действительно неправильно, нельзя не отметить, что большинство исследователей-болгаристов называют праболгарами именно тюрко-болгар.)

М. И. Артамонов полагал, что тюрко-болгары переселяли славян не только при хане Аспарухе, но и значительно позже, в конце VIII — начале IX вв., чтобы освободить для себягодные к земледелию районы. Поэтому в Западной Болгарии преобладающим стало славянское население, а в Восточной — тюрко-болгарское. В 971 г., не оправившись после недавнего поражения от Святослава, Восточная Болгария пала под ударами армии Иоанна Цимисхия. Восстановленное Самуилом в прежних границах болгарское государство продержалось недолго, и в 1018 г. было покорено Византией. Начавшиеся набеги печенегов, а затем половцев, привели не только к сильному разорению страны, но и к уничтожению тюрко-болгар как особого народа. Они были истреблены или поглощены другими тюркскими народами<sup>31</sup>.

«Славяне средневековой и современной Болгарии,— утверждается в статье,— получили от тюрко-болгар только имя, как наследие созданного тюрко-болгарами государства, в состав которого они входили. Они ассимилировали какую-то часть тюрко-болгар, главным образом из числа болгарской аристократии, усвоили некоторые второстепенные элементы тюрко-болгарской культуры, но не стали от этого славяно-болгарами, а остались, как и были, славянами»<sup>32</sup>.

Эта точка зрения представляется по меньшей мере спорной. Как показывают исследования болгарских ученых, характер раннесредневековой культуры Болгарии исключает вытеснение славян праболгарами из Нижнего Подунавья. Это подтверждается всеми данными картографирования раннеславянских и праболгарских памятников, а также наличием смешанных элементов, явившихся результатом взаимных влияний, даже в таких показательных памятниках, как праболгарский некрополь у г. Новый Пазар, где обнаружены несвойственные праболгарам трупосожжения.

М. И. Артамонов не отрицал частичного смешения славян с тюрко-болгарами и взаимодействия их культур, о чем, в частности, свидетельствуют могильники с характерными славянскими трупосожжениями и с тюрко-болгарской керамикой. Но ведь подобных могильников в Северо-Восточной Болгарии известно не-

<sup>30</sup> Там же, с. 12.

<sup>31</sup> Там же, с. 11—13.

<sup>32</sup> Там же, с. 13.

мало<sup>33</sup>, и такое смешение выглядит скорее правилом, чем исключением.

Следует признать, что большая груша керамики из раннеболгарских памятников имеет салтово-маяцкое (праболгарское) происхождение. Однако смешанный характер культуры Душайской Болгарии определяется не только керамикой, но и конструкцией жилищ (сочетание в поселениях славянских землянок и праболгарских юртообразных жилищ)<sup>34</sup>, смешанным погребальным обрядом и другими признаками, свидетельствующими о взаимодействии двух этносов и их культур.

Большой вклад в разработку проблем этногенеза болгарского народа вносят труды известного болгарского историка Д. Ангелова, в которых подводятся итоги многолетних исследований болгарских ученых в этом направлении<sup>35</sup>. На основании комплексного изучения письменных источников и данных топонимики, гидронимики, лингвистики, археологии, антропологии и этнографии автор прослеживает весь процесс образования болгарской народности. Процесс этот был сложным и продолжительным и сводился, с одной стороны, к постепенному преодолению племенной раздробленности у славян, а с другой — к постепенному слиянию двух этнических групп (славян и праболгар). Но еще до прихода на Балканы праболгар закончился процесс ассимиляции славянами фракийцев и иллирийцев. Д. Ангелов отмечает, что для ускорения процесса образования болгарской народности большое значение имело создание единого государства. У славян и праболгар в рамках общего государства была теперь общая государственная власть, общая внутренняя и внешняя политика, что создавало важную предпосылку для объединения двух этносов.

По мнению автора, уровень развития производительных сил у славян и праболгар, судя по археологическим данным, был примерно одинаков. Поэтому вряд ли возможно говорить о превосходстве праболгарской культуры над славянской или славянской культуры над болгарской и на этом основании оценивать вклад тех и других в создание болгарского государства и болгарской народности. Думается, прав историк П. Петров, считающий, что нельзя сравнивать две несопоставимые величины, так как условия жизни двух народов были совершенно различными. Славяне были оседлыми земледельцами и долго жили в тесном контакте с Византийской империей, у них сложились такие общественные

<sup>33</sup> Могильники Разделна, Блысково, Аксаково, Шишкина, Кипра, Орешака, Девния (Варненский округ); Юпер, Разград, Синий вир (Шуменский округ).

<sup>34</sup> Поселения у с. Нова Черна Силистренского округа, Брестак Варненского округа и другие, открытые совсем недавно.

<sup>35</sup> Ангелов Д. Образуване на българската народност. «Ново време», 1968, № 12, с. 42—55; он же. Възникване и утвърждаване на българската народност. — «Исторически преглед» (София), 1971, № 2, с. 35—63; он же. Образуване на българската народност. София, 1971.

отношения, которые соответствовали быту и условиям их жизни. Кочевники-праболгары имели сильную военную организацию, что было связано с постоянными набегами и войнами. Но степень общественного развития обоих народов была такова, что позволяла и тем и другим создать государственную организацию<sup>36</sup>. А это в свою очередь способствовало укреплению их связей и взаимного влияния друг на друга. Смешанные славяно-болгарские поселения — паглядное тому свидетельство.

В IX—XI вв. в Болгарии утверждается феодализм. В середине IX в. болгарское государство становится относительно централизованным. К концу IX в. происходит завершение процесса этногенеза.

Д. Ангелов приводит данные топонимики и гидронимики, показывающие, что даже в Северо-Восточной Болгарии, где праболгарское население было наиболее компактным и многочисленным, уже в IX в. большинство названий городов и рек были славянскими<sup>37</sup>. Победа славянского этноса логична и естественна хотя бы потому, что славянское население было гораздо многочисленнее, а уровень развития производительных сил у славян был не ниже, чем у праболгар. Принятие христианства и создание славянской письменности также сыграли немаловажную роль. В IX в. болгарами назывались уже не праболгары, а подданные болгарского государства, говорившие на славянском языке. Это были, по существу, уже славяне, воспринявшие, однако, традиции и элементы культуры двух других этнических компонентов — фракийцев и праболгар, влившись в состав болгарской народности.

<sup>36</sup> Петров П. Към въпроса за образуването на първата българска държава. — В кн.: «Славянска филология», т. V. София, 1963, с. 104.

<sup>37</sup> Ангелов Д. Образуване на българската народност. София, 1971, с. 251—256.

**ПРОБЛЕМА ЭТНОГЕНЕЗА  
В СОВРЕМЕННОЙ РУМЫНСКОЙ ЭТНОГРАФИИ**  
(О древних источниках румынской народной культуры)  
**Э. А. Рикман**

Изучение этногенеза румын ставит перед исследователями задачи, трудно поддающиеся решению, в чем сказывается в первую очередь состояние письменных источников, приуроченных к Карпато-Дунайским землям, касающихся предков румын. В этих источниках волохи — предки румын отчетливо выступают лишь с XII в. Изучение археологических памятников VI—XI вв. еще не дало удовлетворительного ответа на вопросы происхождения румын. Сомнительно мнение, что археологические данные свидетельствуют о сложении в VI—X столетиях румынской пародности<sup>1</sup>.

Упомянутые трудности вызывают необходимость использовать для решения проблем этногенеза весь доступный круг источников и методических приемов, в частности, тех, которыми располагает этнография.

В предлагаемой статье по данной проблеме анализируется румынская этнографическая литература, вышедшая в течение последних десяти лет (1964—1973 гг.), в особенности статьи основного журнала румынских этнографов<sup>2</sup>, отражающие изученность проблемы на «переднем крае науки».

*Методические основы изучения этногенеза в румынской этнографии.* Румынские этнографы считают одной из своих задач изучение истории румын в связи преимущественно с археологией.

Г. Г. Шталь и И. Донат в статье «Этнография и история» коснулись ряда научных и методологических задач, которые этнографы ставят перед собой, исследуя происхождение румын. Одним из основных методов этнографии в этой области признается «ретроспекция», именуемая «социальной археологией». «Исследование настоящего может быть часто полезно для реконструкции прошлого», — замечают авторы статьи. Г. Г. Шталь и И. И. Донат считают принципиально необходимым, изучая прошлое, опираться на этнографические данные: «...реконструкция прошлого, которая не может быть связана с современной ситуацией, именно поэтому представляется ошибочной».

В число основных проблем этнографии Г. Г. Шталь и И. Донат включают: исследование древнего процесса опускания населения с гор на равнину; определение зон, которые в период великого

<sup>1</sup> Nestor I. Les données archeologiques et le problème de la formation du peuple roumain.— «Revue roumaine d'histoire», 1964, t. III, N 3, p. 419.

<sup>2</sup> Revista de etnografie și folclor (далее — REF).

переселения пародов были заняты иммигрантами, «не столь подвижными, как о них думали»; изучение «одной из основных проблем румынской истории» — культурно-этнографического ареала оседлого населения дунайской долины в отличие от культурно-этнографического ареала населения Карпат; исследование географической среды, в которой преимущественно сохранился местный элемент на территории к северу от Дуная в течение тысячелетий после того, как римляне оставили Дакию (271 г. н. э.) по приказу императора Аврелиана; исследование по языковым данным влияния на предков румын тюркских народов и анализ тюркской и славянской (Х—XIII вв.) топонимики на территории между Карпатами и Дунаем, в частности для выделения зон последующих полевых этнографических изысканий<sup>3</sup>.

Из предшествующего изложения видно, что румынские этнографы придают важное значение проблемам заселения своей страны в древности, роли в этом процессе оседлого и кочевого, земледельческого и скотоводческого населения. Румынские этнографы считают необходимым изучать географическую и этническую среду, в которой происходило формирование румын и их традиционной культуры. Последняя понимается как единая, формирующаяся на территории Румынии в течение ряда столетий, причем единство преодолевает региональные различия, влияния других народов<sup>4</sup>. Это единство прослеживается в народных архитектуре (П. Петреску), мебели (П. Петреску и Р. Майер), ткачестве (М. Фокша), вышивке (Н. Дунэрэ), скульптуре (Н. А. Миропеску)<sup>5</sup>.

Румынские этнографы считают принципиально возможным по явлениям материальной (ткачество, костюм и т. д.) и духовной культуры изучать этногенез и этническую историю. Например, костюм, являясь «историческим документом, отражает всю историю формирования древнего народа»<sup>6</sup>.

При решении вопросов этногенеза и этнической истории, как увидим ниже, основным методическим приемом, используемым румынскими этнографами, является сравнение явлений современной традиционной и древней культур. При этом румынские этнографы исходят из той методической предпосылки, что решение вопросов этнической истории и этногенеза не может быть отделено от изучения истории материальной культуры и идеологии на протяжении тысячелетий.

Такой же методический подход к изучению происхождения современных этнографических явлений проявился еще в известной работе В. А. Городцова «Дако-сарматские религиозные элементы

<sup>3</sup> Stahl H. H. și Donat I. Etnografie și istorie.— REF, 1966, t. 11, N 1, p. 3—11.

<sup>4</sup> Bănățeanu T., Focșa G., Ionescu E. Arta populară în RPR Port. Țesături, Cusaturi, București, 1967, p. 8, 9.

<sup>5</sup> Arta populară românească. București, 1969, p. 34, 205, 275, 460, 623.

<sup>6</sup> Там же, с. 275, 414. Из главы Н. Дунэрэ о ткани и главы Ф. Б. Флореску, посвященной костюму.

в русском народном творчестве»<sup>7</sup>, однако соответствующая румынская этнографическая методика сложилась, по-видимому, самостоятельно.

Б. А. Рыбаков, развивая методику В. А. Городцова, поставил вопрос о необходимости построения эволюционных рядов, отражающих развитие явлений народной культуры с древнего периода вплоть до современности<sup>8</sup>. Ниже будет показано, что эта методическая установка применяется и румынскими этнографами.

*Выявление роли фрако-гето-дакийского субстрата в формировании современной народной румынской культуры.* Румынская этнография, изучая происхождение своего народа и его культуры, выявляет сходство некоторых этнографических явлений в культурах фрако-гето-дакийской, с одной стороны, и современной традиционной румынской, духовной и материальной — с другой.

Так, изучая скотоводство, румынские этнографы констатировали сходство типов «пастушеских хижин» румын и даков, сделав вывод об «исторической непрерывности развития материальной культуры румын со временем даков до нашей эпохи»<sup>9</sup>.

Г. Морару-Попа, анализируя методами этнографии архаический земледельческий румынский инвентарь, усматривает черты сходства между системой земледелия античной эпохи и современной. Она разделяет мнение тех исследователей, которые полагают, что у румын лесной перелог, связанный и с пастушескими формами хозяйства, является культурным наследием даков. В неизменной природной среде, замечает Г. Морару-Попа, с древних времен сохранялись, передаваясь от поколения к поколению, формы земледельческих орудий.

Румынские архаические земледельческие орудия формировались от эпохи исолита до первых веков н. э. под влиянием земледелия средиземноморских (греков и римлян) и центральноевропейских народов.

Однако Г. Морару-Попа — сторонница широкого подхода к изучению народных румынских земледельческих орудий, признавая существование на Балканах единого в культурном отношении фрако-иллирийского субстрата, культурные традиции которого унаследовали современные народы этого района, предлагает для изучения румынского народного инвентаря привлечь этнографический материал из соседних с Румынией стран Балканского полуострова<sup>10</sup>.

Г. Морару-Попа предприняла интересную попытку выявления и реконструкции трех типов гето-дакийских пахотных орудий,

<sup>7</sup> «Труды Государственного исторического музея», вып. I. М., 1926.

<sup>8</sup> Рыбаков Б. А. Древние элементы в русском народном творчестве.— «Советская этнография», 1948, № 1, с. 91.

<sup>9</sup> Etnografia și folcloristica română în anii de după eliberare.— REF, 1964, t. 9, N 4—5, p. 326.

<sup>10</sup> Moraru-Popa G. Puncte de vedere în cercetarea etnografică a inventarului agricol arhaic românesc.— REF, 1968, t. 13, N 3, p. 252, 258—262.

увязывая археологические данные с этнографическими и, таким образом, прослеживая древние типы этих орудий в традиционной румынской материальной культуре. Используя этнографические данные, исследователь обращается именно к зоне первоначального обитания гето-дакийских племен, т. е. соблюдая географический принцип отбора этнографического материала<sup>11</sup>.

В гето-дакийской среде, по мнению Г. Морару-Попа, сложился тип рала с двумя отвалами («*gagiu*»), наиболее приспособленного для обработки почв Карпато-Дунайского района. С IV в. н. э. у гето-дакийских племен распространился тип провинциальнопримского наконечника плуга. Оба орудия были синтезированы гето-дакийским населением, что явилось выражением синтеза обоих культурных фондов в целом — результата романизации Дакии и Нижней Мезии. Синтезированные явления культуры, в частности земледельческие орудия, эволюционировав в течение средневековья, дожили в народной культуре до наших дней<sup>12</sup>.

Таким образом, Г. Морару-Попа стремится найти историческую связь земледелия гето-даков и современных румын, прослеживая происхождение румын от гето-даков. Интересны взгляды автора о едином фрако-иллирийском субстрате как базе происхождения ряда балканских народов, и о влиянии на среду, в которой происходило формирование прототипов румынских земледельческих орудий, культуры средиземноморских и центральноевропейских народов.

В работе И. Влэдуциу, посвященной земледелию Южной Молдовы, развивались те же идеи, которые обосновывались Г. Морару-Попа: сходство этнографически засвидетельствованных элементов традиционного земледелия в гето-дакийскую и современную эпохи говорит о непрерывном существовании на рассматриваемой территории и земледелия и румынского населения от гето-дакийского периода до наших дней. Особое значение, замечает И. Влэдуциу, имеет этнографическое изучение современных способов и орудий обработки проса, которое играло большую роль в питании населения на территории Румынии еще в гето-дакийскую эпоху<sup>13</sup>.

Р. Вулкэнеску рассматривает особый вид земледелия — горное — в относительно узкой зоне — западном районе Южных Карпат, на территории, частично занятой в древности ядром государства даков. Здесь в сельских общинах даков, а впоследствии дако-романцев, сложился особый тип земледелия — «горная агрокультура» с прогрессивным для упомянутого района земледельческо-пастушеским хозяйством, однако характеризующаяся рядом архаических черт системы земледелия, возникших в горах.

<sup>11</sup> Moraru-Popa G. Comentarii etnografice la arheologia plugului.— REF, 1967, t. 12, N 3, p. 213—220.

<sup>12</sup> Moraru-Popa G. Contribuții la tipologia plugului românesc.— REF, 1970, t. 15, N 2, p. 148, 149.

<sup>13</sup> Vlăduțiu I. O veche mărturie materială privind agricultura în Moldova de sud.— REF, 1967, t. 12, N 5, p. 384, 388.

«Горная агрария» в этом районе сохранилась у румын впоследствии в предфеодальном и феодальном периодах и даже позднее.

Р. Вулканеску, констатируя неизменность экономической структуры хозяйства населения, исходит из устойчивости его обитания в изучаемом районе в течение ряда столетий, причем положительной чертой исследования является попытка проследить явление в сменяющих друг друга исторических этапах<sup>14</sup>.

Исследуя скотоводческую топонимику, па дофеодальном или феодальном этапах на территории Западной Олтении, Р. Вулканеску заключает, что, начиная с периода первобытнообщинного и до эпохи капиталистического строя, скотоводство развивалось на территории Румынии преимущественно в его оседлой форме, будучи тесно связанным с земледелием. Отгонное же скотоводство, оторванное от земледелия, имело второстепенное значение. На этот характер скотоводства не повлияли демографические изменения, связанные с миграцией народов. Таким образом, профессиональная топонимика, по Р. Вулканеску, является дополнительным аргументом для обоснования «автохтонности и непрерывности развития румынского народа па территории его родины»<sup>15</sup>.

Исследование Р. Вулканеску предостерегает от увлечения ролью отгонного скотоводства, именуемого иногда хозяйством «настунского типа», для объяснения этнической истории восточных романцев<sup>16</sup>. Вместе с тем автор неправомерно переносит выводы, полученные при исследовании топонимики Западной Олтении, на всю территорию Румынии.

К. Белчин рисует в своей работе широкую картину земледелия, скотоводства и ряда промыслов у гето-даков, которую имеет палеоэтнографический. Она построена на основе данных древних авторов и археологии.

Наиболее интересны для темы настоящей статьи конкретные сопоставления между гето-дакийской и народной румынской культурой. Автор, например, замечает: «...современное этнографическое исследование привело к заключению, чтоaborигенный сортимент разновидностей (румынской лозы.— Э. Р.), особые системы подрезки и ухода за лозой, практика виноделия» представляет собой ценное сокровище, унаследованное от гето-даков. К. Белчин добавляет, что древняя материальная культура гето-даков может быть реконструирована сравнением с традиционной румынской народной культурой. К. Белчин разделяет мнение, что гето-

дакийские загоны для скота — стены дожили в рамках оседлого скотоводства в румынской народной культуре до нашего времени. Сведения античных авторов дают возможность определить, замечает Белчин, хозяйствственно-культурный тип, характерный для населения Дакии: оседлые земледельцы и скотоводы.

К. Белчин решается даже утверждать, что сельская община оседлого гето-дакийского населения сохраняется в современных румынских селах<sup>17</sup>. И этот автор, следовательно, полагает, что гето-дакийская культура явила той базой, на которой сформировалась современная народная культура румын. В аргументации этого автора большую роль играет утверждение об оседлом характере гето-дакийских земледельцев и скотоводов.

Г. Морару-Попа составила на основании античных источников этнографический обзор не только земледелия, но и металлургии гето-даков. Автор детально рассматривает, опираясь на сведения древних авторов и археологические данные, металлургический процесс у гето-даков, римлян, комплексно решая палеоэтнографическую задачу. Археологический материал рассматривается как этнографический источник. Для нас наиболее интересны попытки автора показать дальнейшее развитие металлургии дако-гетов в эпоху феодализма и далее в румынском пародном хозяйстве до XIX—XX вв.

Г. Морару-Попа видит продолжение развития гето-дакийской металлургии особенно у населения культуры Дриду (X в.), которое некоторые историки СПР считают румынским.

Так, по мнению Г. Морару-Попа, методы добычи руды, описанные античными авторами и известные по археологическим данным, у населения на территории СПР в XVII в. отмечены Павлом Алеппским. Перекликаются методы обработки руды античные и середины XIX в. Наблюдается сходство между дако-римскими и современными орудиями труда и приспособлениями металлургов. Орудия и техника труда, инструменты древних золотоискателей прослеживаются до XX в.

В развитии производства гето-даков были и периоды упадка, в особенности с V в. н. э., когда под давлением завоевателей это население передвинулось в труднодоступные горы и развитие его замедлилось.

Несмотря на эти периоды упадка, металловыделка и металлообработка постепенно и непрерывно развивались, по Г. Морару-Попа, от гето-дакийской эпохи до современного периода. То же происходило везде в Европе.

Г. Морару-Попа правомерно признает факт влияния народов, с которыми контактировали фракийцы, па производство у гето-даков.

<sup>14</sup> Vulcănescu R. Agricultura de munte în vestul Carpaților meridionali.— REF, 1967, t. 12, N 2, p. 89—91, 98.

<sup>15</sup> Vulcănescu R. Toponimie profesională. REF, 1965, t. 10, N 3, p. 252, 253.

<sup>16</sup> Бромлей Ю. В., Королюк В. Д. Славяне и волохи в великом переселении народов и феодализации Центральной и Юго-Восточной Европы.— В кн.: Юго-Восточная Европа в эпоху феодализма. Кишинев, 1973, с. 26, 31.

<sup>17</sup> Belchin C. Ocupațiile daco-geților în lumina literaturii antice.— REF, 1968, t. 13, N 1, p. 63—72.

Автор правильно указывает, что сходство палеоэтнографических и современных этнографических данных, относящихся к металлургии и металлообработке, не означает их идентичности. Действительно, ведь техника и орудия труда в течение двух-трех тысячелетий развивались, передаваясь от поколения к поколению. Речь может идти только о сохранении некоторых типов орудий, приспособлений и техники производства, эффективность которых в течение ряда веков была апробирована и которые сохранились в современном народном традиционном производстве в более или менее сходных с древними формах.

Приведенные выше соображения позволили автору на основании признания непрерывности развития металлургии и металлообработки на территории Карпато-Дунайских земель прийти к основному для него выводу о «непрерывности жизни автохтонного дако-романского населения на территории Румынии»<sup>18</sup>.

К. Джуреску в капитальном исследовании, посвященном истории рыболовства в Румынии, показывает, что эта отрасль хозяйства развивалась непрерывно с древнейшего до новейшего времени, то же относится к отдельным приспособлениям и приемам рыболовства, а также обработки продукции. Таковы однодревки-моноксилы, существование которых автор прослеживает с IV в. до н. э., в эпоху средневековья (1148 г. и 1445 г.), в XVIII в. и в первой половине XX в.

Подледный лов рыбы неводом, описанный Страбоном, румынским рыбакам известен в течение ряда столетий. Способы лова и экспорта рыбы, известные по древним документам, нашли свое продолжение и развитие в средневековой Килие. Соляные копи Подунавья использовались рыбаками в дакийскую, дако-романскую, дако-романско-славянскую эпохи, с периода средневековья до современности<sup>19</sup>. Выводы К. Джуреску были восприняты К. Белчин при разработке истории хозяйства гето-даков.

Таким образом, и К. Джуреску, показывая непрерывность развития рыболовства в Румынии, пытаясь наметить его эволюцию, доказывает непрерывность развития практиковавшего фракийского романизированного населения в Карпато-Дунайских землях. К сожалению, автор не выявил в подкрепление своих идей индивидуальных румынских форм рыболовства и именно их эволюции.

П. Петреску в духе идеи континуитета прослеживает стыки между современной румынской народной и древней архитектурой местного населения, выявляя в современном строительстве «древние традиции». Начало их усматривается в строительных конструкциях еще эпох неолита и бронзы. Древние местные корни П. Пет-

<sup>18</sup> Moraru-Popa G. Date etnografice referitoare la prelucrarea metalelor în izvoare antice.— REF, 1965, t. 10, N 5, p. 454, 456, 458, 462, 463, 467, 469, 471, 474, 475.

<sup>19</sup> Giurescu C. C. Istoria pescuitului și a pisciculturii în România, vol. I. București, 1964, p. 44, 45, 47, 48.

реску находит для современной строительной системы Blockbau, особое внимание обращая на сходство современных и дакийских, а также дако-романских сооружений: печей и загонов для скота, распространенных в Западных горах.

В отличие от большинства румынских этнографов, которые отмечают сходство различных явлений современной материальной культуры и тех, которые отражены на колонне Траяна, П. Петреску в жилищах не усматривает этого сходства<sup>20</sup>.

Этнографы конкретно прослеживают сходство и преемственность между формами народной традиционной одежды, бытующими у румын в настоящее время, и теми, которые существовали у гето-дакийцев. Суманы (*sumanele*), юбки и рубахи усматриваются среди одежды дакийцев, изображенных на монументе в Адамклисси<sup>21</sup>. Полагают также, что сама этимология названий этой одежды — плащей (*ghebă*), кожухов (*sarică*) и т. д. — свидетельствуют об их древности, традиционности, автохтонном происхождении. Производство суманов зафиксировано в XV в.<sup>22</sup>, в чем проявляется попытка проследить их эволюцию.

Равным образом этнографы считают, что у румын сохранились женская кофта (*ie*) и постолы (*opincă*), использовавшиеся за много столетий до наших дней гето-даками<sup>23</sup>.

Пожалуй, в наиболее общей форме вывод о сходстве гето-дакийской и народной румынской одежды высказан М. Куку на основе рассмотрения изображений на колонне Траяна: «...даки периода римского завоевания имели такую же одежду, какая была у крестьян горной зоны Трансильвании в первой половине ХХ в.»<sup>24</sup> — вывод столь же широкий, сколь в работе М. Кука необоснованный.

Одежда служит для Ф. Б. Флореску материалом для этногенетических выводов. Он устанавливает соответствие этапов ее развития и этапов развития народа, начиная с эпох неолита и бронзы. Костюм является, как можно заключить из изложения Ф. Б. Флореску, свидетельством родственности иллирийцев и фракийцев. Иллирийско-фракийский костюм, будучи запечатленным во II в. н. э. в барельефах монумента Адамклисси и колонны Траяна, сохранился до настоящего времени у румын Молдовы и Мунтении даже «в мелких деталях формы и декора». Это наблюдалось и в румынском костюме феодального периода.

Народная одежда румын, аромун, албанцев и греков, по Ф. Б. Флореску, имеет отдельные общие элементы, что находит свое объяснение в истории этих народов, автохтонных в Карпато-

<sup>20</sup> Arta populară românească, p. 34, 35, 38, 39.

<sup>21</sup> Florescu F. B. Monumentul de la Adamklissi, Tropaeum Traiani, ed. a II-a. București, 1961, p. 532.

<sup>22</sup> Pavel E. Sumanele moldovenești.— REF, 1965, t. 10, N 4, p. 415, 416.

<sup>23</sup> Florescu F. B. Urme ale începuturilor artei ceramico în România: ceramică lucrată din suluri de lut.— REF, 1964, t. 9, N 6, p. 594.

<sup>24</sup> Cuc M. Cercetări asupra cojocărăitul în depresiunea Beiușului.— REF, 1973, t. 18, N 3, p. 217.

Балканском регионе и сохранивших в настоящее время достояние своих предков, и некоторые формы культуры, общие в древности. «Народный румынский костюм,— заключает автор,— представляет собой исторически непрерывную хронику»...<sup>25</sup>

Идеи об автохтонности румын, которые пронизывают выводы Ф. Б. Флореску, касающиеся истории костюма, в равной мере представлены в работе Н. Дунэре, посвященной вышивке. Изучение ее привело автора к выводу, что многовековая эволюция от простого к сложному привела к отбору — репродукции в румынском народном искусстве древних декоративных форм и к творческому развитию орнамента, отражающих «художественную взыскательность румынского народа в различные эпохи его истории»<sup>26</sup>. Автор увязывает развитие художественного творчества румын с их историей. Ее этапы соответствуют определенным этапам истории народного искусства.

Особенно много данных для уяснения связей гето-дакийской и традиционной румынской культур устанавливают Ф. Б. Флореску и П. Петреску на основании сходства современной керамики, в особенности черной и серой, из Молдовы, Олтении и Трансильвании, с гето-дакийской. «Этот факт,— замечают авторы,— является решающим аргументом для демонстрации непрерывности традиций до этой отдаленной эпохи»<sup>27</sup>. Нетрудно заметить исторический подтекст этого вывода: непрерывность развития керамики — одно из свидетельств непрерывного существования на территории Румынии населения фракийского происхождения.

Ф. Б. Флореску делает этногенетические выводы из этнографического изучения современной керамики из Вала Муреш, сформованной с помощью валиковой техники, без помощи гончарного круга, но с применением вращающейся подставки. Автор полагает, что эта техника, судя по археологическим данным, зародилась у гето-даков еще в доиндоевропейский период. Впоследствии эта техника существовала непрерывно, дожив до наших дней у румын. Автор считает, что собранные им данные дают возможность заключить о непрерывном развитии румынского народа на территории его обитания, а также о культурной изоляции отдельных его групп. Ф. Б. Флореску, однако, полагает, что описанная им техника не является специфически дако-гетско-румынской. Ее наличие в других странах Европы, Азии и Америки (особенное внимание уделяется подобной керамике у индейцев Перу) свидетельствует о сходных путях развития культуры народов этих стран<sup>28</sup>.

<sup>25</sup> Arta populară românească, p. 279, 284, 414. Это мнение разделяет Е. Павел. См.: Florescu F. B. (в сотрудничестве с E. Pavel). Portul. In: Arta populară de pe valea Bistriței. București, 1969, p. 155.

<sup>26</sup> Arta populară românească, p. 447, 460.

<sup>27</sup> Ibid., p. 543, 544, 546, 549, 552—554, 563.

<sup>28</sup> Florescu F. B. Urme ale începuturilor artei ceramice..., p. 576, 578, 579, 594.

Кроме того, Ф. Б. Флореску и П. Петреску усматривают прямую преемственность современной традиционной керамики румын от римской и средневековой византийской посуды, пытаясь даже наметить эволюцию последней в пределах Румынии<sup>29</sup>. В этом видят проявление не только культурных, но и этнических связей предков румын с римлянами и византийцами.

К сожалению, Ф. Б. Флореску и П. Петреску, указывая на сходство техники производства, форм, характера и способа написания растительного и геометрического декора мисок, кувшинов, кружек двух упомянутых выше категорий, нигде не прибегают к сопоставлению конкретных образцов современной румынской и гето-дакийской посуды, нет тем более и попыток наметить эволюцию керамики в течение двух с половиной тысячелетий. А ведь такое сопоставление двух категорий посуды не выявляет того разительного сходства, о котором пишут румынские авторы. Существует сходство в орнаментации посуды валиками с вдавлениями. Но не является ли оно следствием имитации старины посуды современными гончарами, а не ее эволюции?

Больше данных требуется и для рассмотрения связей дако-гетско-румынской культуры с культурой римлян, византийцев и еще более — народов отдаленных стран и континентов, имея в виду установление их роли в формировании румын.

Румынские этнографы полагают, что некоторые особенности современной традиционной духовной культуры их народа произошли из духовной культуры гето-дакийцев.

В статье О. Быря «Фольклор и история» провозглашается: «...фольклор — искусство народных масс — творцов истории — сопутствует истории, фиксируя ее атмосферу и факты в своем жанре». «История разновидностей фольклора подчеркивает в какой-то мере политico-экономическую историю страны». Исходя из этих позиций анализируется происхождение современных румынских фольклорных явлений. Автор предполагает, что происхождение различных форм медвежьего культа, наблюдавшихся у румын до наших дней («день», «суббота» и «тапец» медведя), следует искать в религии гето-даков, в медвежьем культе Залмоксиса. У гето-даков, вероятно, существовал и тотемистический культ быка, что предполагает наличие у них тех религиозных концепций и мышления, каковые могли породить и кult медведя<sup>30</sup>. Представления О. Быря о происхождении этнографически зафиксированных элементов культа медведя и быка пронизывают идеи автохтонизма.

Р. Вулканеску усматривает у гето-дакийцев доримского, а затем римского периодов зачатки румынского народного театра. Обрядовые переодевания и маскарады с использованием ритуальных, церемониальных и развлекательных масок во многом

<sup>29</sup> Arta populară românească, p. 539, 547, 557, 562.

<sup>30</sup> Bîrlea O. Folclor și istorie.— REF, 1966, t.11, N 1, p. 13, 15, 16, 18.

аналогичны соответствующим представлениям, происходящим в настоящее время<sup>31</sup>.

О том же свидетельствует анализ погребального спектакля *Gogiu*, проведенный Р. Вулкэнеску. Автор обращает наше внимание на то, что термин «*Gogiu*» аналогичен албанскому слову «*goge*» — чудовище, пугало и т. д. Таким образом, уже этот термин относится к древнейшему фрако-иллийскому пласту румынского языка.

В погребальном ритуале представлен стул, именуемый лошадью, а восседающий на нем молчащий персонаж символизирует покойного. Эти моменты погребального ритуала, отмечает Р. Вулкэнеску, перекликаются с погребальными обычаями древних народов историко-этнографического Балкано-Дунайского региона, где лошадь почиталась как покровительница покойного, будучи связанная с уропическими (небесными) и хтоническими (погребальными) культурами.

Наибольшее внимание автор обращает на то, что перекликается с гето-дакийским культом «фракийского» или «душайского» всадника, возникшим во II—III вв. н. э. из более древних культов Карпато-Балканского района. Примечательно то, что Р. Вулкэнеску выделяет в погребальном ритуале *Gogiu* элементы, наслонившиеся на него в эпоху феодализма и даже капитализма, устанавливая эволюцию описываемого архаического «спектакля», а также то, что почитание коня сохранилось до современного периода не только в *Gogiu*, но и в румынских притчаниях, будучи распространенным фольклорным мотивом. Таким образом, в основе истолкования погребального «спектакля» у Р. Вулканеску лежит идея автохтонного происхождения румын, аборигенного населения Карпато-Балканского района<sup>32</sup>.

В бытующей в румынском фольклоре легенде о Лазэр'е Н. Рэдулеску видит проявлениеrudиментов культа румынского варианта аграрного бога, олицетворяющего идею умирающих и возрождающихся растений. Автор полагает, что Лазэр возник еще в неолите из растительных культов. Особенно примечательным он считает существование таких героев у фрако-гето-даков в качестве автохтонного культа. Автор, однако, отказываясь от крайнего автохтонизма, предполагает, что представление об аграрных богах и героях (Адонис, Аттис, Осирис, Думузиз, Таммуз), проникнув к фрако-гето-дакам от народов Средиземноморья или Ближнего Востока, «стимулировали жизнь и циркуляцию аграрных обычаях у автохтонов или даже вызывали их развитие»<sup>33</sup>.

Нетрудно убедиться в том, что проводимая автором аналогия между Лазэр'ом и гето-дакийскими героями свидетельствует, по мысли автора, об автохтонности румын в Карпато-Дунайских землях.

<sup>31</sup> *Arta populară românească*, p. 634, 640.

<sup>32</sup> Vulcănescu R. «*Gogiu*, un spectacol funerar.— REF, 1965, t. 10, N 6, p. 620—624.

<sup>33</sup> Rădulescu N. Lazăr — o versiune românească a eroului vegetațional.— REF, 1966, t. 11, N 4, p. 321, 336, 337.

Р. Вулкэнеску использует для решения вопросов этногенеза румынский народный орнамент, в частности изображение руки. Это его исследование построено на взаимосвязанном этнографическом и археологическом материале, причем последний используется как источник этнографического характера.

Автор возражает против мнения, что мотив, воспроизведенный руку, — азиатского происхождения, полагая одновременно, что на формирование этого «румынского орнамента» оказало влияние искусство восточно- и южнославянское, а также других народов Юго-Восточной Европы. Однако Р. Вулкэнеску констатирует, что изображение руки в румынской орнаментации — «мотив подлинно автохтонный», возникший в неолите или даже палеолите.

Автор детально прослеживает развитие мотива вотивных рук, особенно распространенного у автохтонов Карпато-Балканского района с III в. до н. э., в периоде средневековья, говоря о «непрерывности тех, кто непрерывно развивал этот мотив в своем искусстве от форм дофеодальных к феодальным, отражая искусство «румынского народа в различные исторические периоды его развития».

Заключая свое исследование о мотиве руки в румынском народном орнаменте, Р. Вулкэнеску пишет: «художественная форма и особенности орнаментальных жанров, символов и техники их выполнения несомненно связаны и следуют один за другим от одного исторического периода к другому, и периоды, в которых кристаллизировалась народная румынская орнаментика, в основном являются периодами румынского этногенеза. Этот факт заставляет нас поддерживать мнение, что проблема непрерывного автохтонного элемента на территории нашей родины находит дополнительное доказательство в дополнительном материале, доставленном изучением народного румынского орнамента»<sup>34</sup>.

Р. Вулкэнеску выразил идеи автохтонизма, пожалуй, ярче, чем остальные упомянутые в настоящей статье румынские этнографы.

Стыки между современной традиционной румынской и фрако-дако-гетской культурами этнографы пытаются наметить и по музыкальным инструментам. Так, отмечено, что свистки, аналогичные трубкам цикуты, бытующим у румын, изобретены еще фракийцами из племени мезов. Это свидетельствует, справедливо отмечает И. Герця, «о господстве этих музыкальных пастушеских инструментов у фрако-гетов»<sup>35</sup>.

Уяснение связей румынской народной культуры с гето-дакийской закономерно находится в центре внимания этнографов, ибо со времени выхода работ Б. П. Хашэду, а затем В. Пырвана исто-

<sup>34</sup> Vulcănescu R. Figurarea mâinii în ornamentica populară română. (I) și (II).— REF, 1964, t. 9, N 3 и N 4—5, p. 213—215, 236, 239, 241, 246, 248, 254, 255, 415, 417, 421, 422, 439, 446, 447.

<sup>35</sup> Herțea J. Șuierașul de cuciuta.— REF, 1964, t. 9, N 4—5, p. 505.

рики обоснованно считают гето-даков тем этническим субстратом, на основе которого сложились румыны<sup>36</sup>. Поэтому этнографы стремятся выявить связи упомянутых народов в широком диапазоне явлений культуры, чтобы своими методами утвердить эту идею происхождения румын.

*Освещение роли древних соседей гето-даков Карпато-Дунайского региона в формировании предков румын.* Румынские этнографы уделяют внимание и другим компонентам, сыгравшим роль в этногенезе румын.

Этнографы в разной мере оценивают роль славян в румынском этногенезе. Часть исследователей основательно считает ее в этом процессе этапной. Так, Р. Флореску полагает, что хотя обработка дерева была распространена еще у гето-даков, но в эпоху феодализма ее роль стала еще более важной, ибо именно в эту эпоху формирования румынского народа путем «включения славянского элемента в предшествующий автохтонный дако-романский фонд» особенно распространилась обработка дерева, столь характерная для ремесла славян<sup>37</sup>.

Влияние славян на этногенез румын признает А.-И. Драгомир, рассматривая его на материалах языка и мифологии. Автор присоединяется к тем ученым, которые считают славянское влияние на румынский язык результатом «длительного лингвистического (конечно, как следствие культурно-исторического.— Э. Р.) контакта» между предками румын и древними славянскими народами. А.-И. Драгомир полагает, что контакт имел место в VI—XII вв. н. э., когда часть славянских племен осела к северу от низовьев Дуная, заняв территорию, которая приблизительно совпадает с бывшей Дакией. В этот период был наиболее тесен и глубок контакт с болгарами. Южнославянские заимствования происходили из устной речи и возникли при прямом контакте народов. Глубина и интенсивность южнославянского влияния обусловила распространенность южнославянских лексических заимствований по всей лингвистической дакороманской территории и во всех древних румынских диалектах. Позднее, отмечает автор, контакты сначала с украинцами, а затем с russkimi и поляками вызвали влияние их языка на румынский. Региональность этого влияния обусловила региональность распространения соответствующих слов в румынском языке.

Особое внимание А.-И. Драгомир уделяет рассмотрению в румынском языке славянских по происхождению обозначений женских мифологических существ. Большинство этих терминов произошло из болгарского и сербо-хорватского, меньше — из украинского языков. Первые и вторые относятся к древнейшему слою славянского влияния на обозначения мифологических существ

<sup>36</sup> Pârvan V. Getica. Bucureşti, 1926.

<sup>37</sup> Florescu R. Lucrul lemnului în aşezarea feudală timpurie de la Capidava.— REF, 1965, t. 10, N 5, p. 529, 530.

в румынском языке. Однако для обозначения женских мифологических существ имелись и латинские термины. Заемствование славянских слов было обусловлено тем, что соответствующие латинские термины были зачастую табуированы.

Славянские обозначения женских мифологических существ — явления мировоззренческого религиозного характера — проникли в дако-романский или волошский языки в результате длительного периода латино-славянского билингвизма, наблюдавшегося у предков румын<sup>38</sup>. Такой билингвизм — добавим мы в рассуждения А.-И. Драгомира — возникал только вследствие длительного культурно-исторического контакта и этнического смешения предков румын и славян, прежде всего южных. Этого важного заключения мы у А.-И. Драгомира не находим, но оно неизбежно вытекает из фактов, приведенных ею.

В отличие от Р. Флореску и А.-И. Драгомира во взглядах других этнографов наблюдается известная недооценка влияния славян на этногенез румын. Так, Г. Морару-Попа указывает, что славяне мало повлияли на материальную культуру румын в процессе формирования последних. Сельскохозяйственные орудия не были заимствованы у славян. Именно об этом свидетельствует появление терминологического параллелизма (латинско-славянского), возникшего у дако-романцев после расселения на их землях славян и последующей ассимиляции последних<sup>39</sup>.

Н. А. Демченко, специально исследовавший вопрос о происхождении земледельческих орудий у восточных романцев, полагает, что весь комплекс их земледельческих орудий воспринят из «славянской земледельческой культуры», что произошло после падения уровня земледелия у восточных романцев в период великого переселения народов<sup>40</sup>. Автор видит в этом проявление этапной роли славян в этногенезе восточных романцев<sup>41</sup>.

Взгляды К. Джуреску на происхождение румын известны, в частности, из этнографического исследования по истории рыболовства<sup>42</sup>. Автор полагает, что римляне оказали большое влияние на культуру гето-даков. Поэтому в лексике румынского языка термины рыболовства латинского происхождения занимают основное место.

На романизованное гето-дакийское население, продолжавшее развиваться на территории бывшей Дакии и после ухода из нее римлян, в раннем средневековье, по мнению К. Джуреску, оказали наибольшее влияние осевшие на этих землях славяне. Многие

<sup>38</sup> Dragomir A.-I. Numiri de origine slavă ale řimelor mitologice feminină în limba română.— REF, 1973, t. 18, N 3, p. 205—209, 211.

<sup>39</sup> Moraru-Popa G. Puncte de vedere în cercetarea..., p. 260.

<sup>40</sup> Демченко Н. А. Земледельческие орудия молдаван XVIII — начала XX вв. Кишинев, 1967, с. 81.

<sup>41</sup> Демченко Н. А. Земледельческие орудия как материал для изучения этногенеза и этнической истории молдавского народа.— Материалы и исследования по археологии, этнографии МССР. Кишинев, 1964.

<sup>42</sup> Giurescu C. C. Istoria pescuitului..., p. 53, 54.

говековое взаимовлияние обеих этнических групп, ассимиляция славян дако-романцами обусловили проникновение в язык последних названий многих (в том числе наиболее важных в промысловом отношении) рыб и приспособлений их лова, сохранившихся в румынском.

Переселение славян создало на территории Дакии новую социальную и политическую ситуацию, которая способствовала восприятию славянской терминологии. Славяне познакомили дако-романцев с новыми формами орудий и сырьем для их производства. Сказались у дако-романцев и тенденция к имитации терминов, обозначающих более усовершенствованные орудия и процессы.

Таким образом, анализ истории рыболовства приводит К. Дикуреску к выводу об ограниченном влиянии славян на формирование предков румын — дако-романцев. Во взглядах исследователя есть противоречие: почему же дако-романцы, заимствуя славянские термины, не воспринимали у этого народа более совершенные орудия и приемы рыболовства?

Важная роль славян в процессе этногенеза румын некоторыми упомянутыми выше учеными оценена не в полную меру.

Исследуя явления современной традиционной румынской культуры, этнографы выявили в ней черты, восходящие к фактам влияния на предков румын древних, ныне исчезнувших народов.

Г. Чобану интересно осветил влияние ираноязычных народов на гето-дакийских и последующих предков румын, привлекая данные этномузыкования. Мелодии, — замечает он, — распространяются мигрирующими народами. В случае, если эти народы ассимилируются более многочисленными, в среде последних часть мелодий мигрантов осваивается и передается тысячелетиями вплоть до наших дней. Сходство музыкального фольклора разных народов в первую очередь объясняется их контактами. В фольклоре румын существуют мелодии, созданные в новое время, с теми, которые возникли в его субстрате и хранят «тайны истории румынских народа и культуры».

Совпадение мелодий румынского и иранского фольклора проявляется в песнях, связанных с обрядами, практикующимися при рождении. Различные варианты этой мелодии отмечены в Мунтении и некоторых районах Македонии. Совпадение вызвано наследованием их у сарматского населения, проживавшего на территории Румынии и со временем ассимилированного. Возможность контактов между предками румын и сарматами подтверждается лингвистическими, историческими и археологическими данными<sup>43</sup>.

Рассмотрев хроматическую тональность народной румынской музыки, Г. Чобану приходит к заключению, что лишь некоторые такие явления перешли в эту музыку из гето-дакийского «суб-

страта». Они в основном заимствованы у народов, с которыми предки румын вступали в контакт, главным образом у скифов и сарматов, с которыми гето-даки вступили в контакт соответственно с VII в. до н. э. и с I в. н. э. Но и сейчас хроматическая тональность занимает важное место в музыке иранцев, — замечает Г. Чобану. Контакт с болгарами привел с начала IX в. к проникновению в румынский фольклор еще одной группы аналогичных явлений, ибо в это время через посредство болгар предки румын (воловхи. — Э. Р.) восприняли вместе с православием византийскую музыку, для которой, как и для народной иранской музыки, характерны хроматическая тональность<sup>44</sup>.

Исследование Г. Чобану заслуживает признания. Его выводы находят опору в историко-археологических исследованиях, которыми выявлены факты обитания сарматов (алан и роксолан) по соседству с гето-дакийцами, взаимовлияние этих племен<sup>45</sup>. В средневековом периоде обитание воловхов и алан по соседству тоже вероятно<sup>46</sup>, но взаиморасположение и взаимовлияние этих народов не изучено.

Хорошо известны многовековые культурно-исторические связи воловхов с болгарами и византийцами.

Румынские этнографы выявляют ту роль, которую, повлияв на гето-дакийские племена, сыграли кельты в различных областях традиционной культуры румын.

Анализируя содержание сказки «Девушка с отрезанными руками», К. Бэрбулеску указывает на поразительное сходство его с содержанием произведений бретонского (кельтского) фольклора, что свидетельствует о прямой передаче мотивов и исключает передачу через посредство фольклора других народов. Автор правильно заключает, что это сходство возникало с III—II вв. до н. э., когда кельты — носители латенской культуры — вступили в контакт с населением северных областей Балканского полуострова, в частности с гето-даками<sup>47</sup>, причем при взаимовлиянии этих племен, стоявших на почти одинаковом уровне социально-экономического развития, у них вырабатывались общие элементы фольклора или в результате заимствования или как отражение одинакового художественного мышления. «То, что подобные повествования, — замечает К. Бэрбулеску, — дошли до наших дней, будучи создаными автохтонными обитателями Карпато-Дунайских пространств более, чем 10 веков тому назад, устро передаваясь годами из поколения в поколение и сохранившись как древнее традиционное культурное достояние нашего народа, демонстрири-

<sup>43</sup> Giobanu G. Modurile cromatice în muzică populară românească. — REF, 1966, t. 11, N 4, p. 314, 316.

<sup>45</sup> Рикман Э. А. Поздние сарматы Днестровско-Дунайского междуречья. — «Советская этнография», 1966, № 1.

<sup>46</sup> Кулаковский Ю. Аланы по сведениям классических и византийских писателей. Киев, 1899, с. 19, 23, 24, 54.

<sup>47</sup> Istoria României, I. Bucureşti, 1960, p. 232—237.

рут древность и непрерывность автохтонной культуры на территории нашей родины»...<sup>48</sup>

К. Бэрбулеску не делает того вывода, который вытекает из логики его рассуждений: непрерывность развития автохтонной культуры обеспечивается непрерывностью обитания румын и их предков на территории Румынии.

В отличие от К. Бэрбулеску, который привел убедительные доказательства кельтского влияния на фольклор гето-даков, Г. Морару-Попа, сообщая о влиянии кельтов на культуру этих племен, в частности на аграрный инвентарь и сельскохозяйственное производство, не приводит равнозначных доводов<sup>49</sup>.

Румынские этнографы интересуются проблемой происхождения национальных меньшинств своей страны. Г. Сулияну, исследуя музыкальный фольклор татар Добруджи, ставит вопрос о «социальных условиях существования в прошлом»... этого населения. Показательно, что татары именуют в фольклорных произведениях румын «molduwan»<sup>50</sup>. В этом факте отразился контакт обоих народов в период существования Молдавского княжества.

В итоге отметим, что этнография указала на наличие в традиционной румынской культуре ряда явлений, корни которых прослеживаются в культуре гето-даков. В области материальной культуры обнаружено особенно много совпадений. Убедительно прослежены признаки влияния славян, кельтов и иранцев. Выводы румынских этнографов неравнозначны. Так, эволюция этих явлений от гето-дакийской эпохи до современности большинством румынских этнографов пока не изучена, сделаны только отдельные молоудолные попытки в этом направлении, и разрыв в развитии культуры между гето-даками и румынами еще не заполнен, а ведь только заполнив его, можно получить неоспоримые выводы о происхождении румын и непрерывном развитии их предков в Карпато-Дунайских землях. При этом мы должны убедиться в индивидуальной принадлежности развивающихся явлений только предкам румын, рассмотрев их под углом зрения автохтонности, исключив соображения об их заимствовании от соседних народов в ту или иную эпоху.

В этом отношении наиболее удачна попытка Н. Дунэре, не только определившего специфические для автохтонного населения Карпато-Дунайской территории типы мужских и женских рубах, но выявившего их развитие во времени, запечатленное графически и словесно в шести фазах. В основе эволюции, как полагает Н. Дунэре, находятся типы дакийских мужской и женской рубах (фаза А). Интересны попытки автора определить общерумынские типы рубах (фаза В) и последующее образование локальных раз-

<sup>48</sup> Bârbulescu C. Analiza istorică a basmului românesc «Fata cu mîinile tăiate». — REF, t. 11, 1966, N 1, p. 27—40.

<sup>49</sup> Moraru-Popa G. Puncte de vedere în cercetarea..., p. 260; Moraru-Popa G. Contribuții la tipologia plugului românesc, p. 148.

<sup>50</sup> Sueișeanu G. Introducere în culegerea și studierea folclorului muzical al tătarilor dobrogene. — REF, 1964, t. 9, N 6, p. 547, 549.

личий этой одежды<sup>51</sup>, связанных с формированием этнографических групп румын. Такие построения действительно являются доказательствами теории континуитета.

Румынская этнография активно участвует в выполнении основной задачи, которую решает вся румынская историческая наука в области изучения этногенеза: выявить автохтонность и непрерывность развития румын и их предков на левобережье нижнего Дуная и в Карпато-Дунайских землях<sup>52</sup>.

Историко- и палеоэтнографические направления, исследующие проблемы этногенеза, занимают в румынской этнографии прочное место. Этнографические данные охотно сравниваются с археологическими и историческими, однако сопоставления трех групп материала редко основываются на проработке категорий массовых источников. Чаще анализируется ограниченный круг фактов или единичные факты и связь трех наук — не органическая. Изучение этногенеза и этнической истории восточных романцев — важная, интересная, но сложная научная проблема, и этнографы СРР уже много сделали для ее решения.

<sup>51</sup> Arta populară din valea Jiului. București, 1963, p. 350, 426, 427, 430, 434, 495, 497, fig. 269, 270.

<sup>52</sup> Armbruster A. Romanitatea românilor (istoria unei idei). București, 1972.

# ПРОБЛЕМЫ ЭТНОГЕНЕЗА МОРАВСКИХ ВАЛАХОВ В СОВРЕМЕННОЙ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Н. Н. Грацианская, В. Д. Королюк

Моравские валахи — региональная этнографическая группа чехов в горной части северо-востока Моравии, так называемой Моравской Валахии. Это — самая крайняя область западных Карпат. Основным занятием населения здесь до середины XIX в. было отгонное овцеводство в сочетании с земледелием.

Специфика хозяйственного типа определила и весь культурный облик Моравской Валахии. Характерные для ее населения черты традиционно-бытовой культуры, склонившиеся под влиянием особых условий жизни в том районе, сохранялись и тогда, когда пастушество уже перестало играть сколько-нибудь важную роль в ее экономике. Многие элементы материальной и духовной культуры моравских валахов (включая и их диалект) очень сходны с культурой населения соседних горных районов Словакии. Много общего в культуре моравских валахов с культурой жителей других карпатских областей — поляков, украинцев и т. д. Общей была и чуждая славянским языкам терминология, связанная с пастушеством и топонимикой.

Считая себя чехами, моравские валахи в то же время сохраняют четкое самосознание региональной этнографической группы, отличая себя от соседей. Большую роль за последнее столетие в сохранении и развитии культурной специфики и регионального самосознания моравских валахов, как и других этнографических групп внутри чешского народа, сыграла деятельность местной интеллигенции, стремившейся во время широкого чешского национального движения, по существу своему буржуазного, удержать, а иногда и реставрировать народную культуру и обычай во всех локальных вариантах. Как научная проблема вопрос об этногенезе моравских валахов возник именно в этот период последней четверти XIX в. и до сих пор еще служит предметом научных споров как в самой Чехословакии, так и за ее пределами. Он связан с большой и еще далекой от окончательного разрешения проблемой колонизации на валашском праве, проходившей в течение XIV—XVIII вв. по всей дуге Карпат.

Отправной точкой для большой научной дискуссии по вопросам происхождения валахов в Моравии послужила работа известного слависта Ф. Миклошича, выступившего с теорией прямого румынского этнического инфильтрата в Западных Карпа-

тах и румынского происхождения моравских валахов: «Вопрос о том, являются ли валашские колонисты чисто румынским или смешанным румынско-славянским населением, до сих пор открыт, однако более вероятно последнее предположение», — писал Ф. Миклошич<sup>1</sup>. Главным его доказательством была румынская, как он думал, овцеводческая терминология в Западных Карпатах, прежде всего слово «валах», которое он считал синонимом слова румын<sup>2</sup>.

Развивая теорию Ф. Миклошича, румынский историк Б. П. Хашдэу сформулировал концепцию паннонского происхождения моравских валахов (румын по его терминологии). Согласно его точке зрения, моравские валахи явились потомками тех валахов — румын, которые были оттеснены из Паннонии венграми во время завоевания ими среднего Нодунавья<sup>3</sup>.

В 20—30-х годах паннонская теория была энергично поддержанна и развита в трудах многих видных румынских исследователей, занимавшихся проблемами происхождения румын и румынского языка и стремившихся доказать древность румынского этнического субстрата в Западных Карпатах (Н. Йорга, Н. Дрэгану и др.)<sup>4</sup>.

Именно эти настойчивые усилия румынских исследователей межвоенного двадцатилетия доказать древность румынского субстрата в Западных Карпатах не только возбудили в чехословацкой историографии интерес к проблеме этногенеза моравских валахов, но и вызвали довольно оживленную дискуссию, тем более, что и в чешской историографии вслед за Хашдэу прозвучали голоса, связывавшие происхождение моравских валахов с румынской пастушеской колонизацией.

Среди чешских ученых не было никого, кто бы разделял эту точку зрения. Специфические черты языка и культуры моравских валахов были свойственны и славянскому населению словацких, польских и украинских Карпат. Было явно, что черты эти позднего происхождения и об особом старом румынском субстрате именно в Моравской Валахии нельзя было и говорить.

Однако непосредственно с румынской пастушеской колонизацией связывал происхождение моравских валахов чешский ученый И. Валек<sup>5</sup>. Он первым при изучении данной проблемы использовал как лингвистические, так и исторические данные, а кроме того, и данные этнографии. И. Валек различал в Моравской Валахии две колонизационные волны. Первая — в XIII в.

<sup>1</sup> Miklosich F. Über die Wanderungen der Rumunen in den dalmatischen Alpen und den Karpaten. Wien, 1879, S. 6, 7.

<sup>2</sup> Ibid., S. 66.

<sup>3</sup> Hașdeu B. P. Stat și substrat, genealogia popoarlor balcanice. București, 1892.

<sup>4</sup> Drăganu N. Rumanii in veacurile IX—XIV pe baza toponimici și onomastice. București, 1933.

<sup>5</sup> Valek Y. Poznámky k mapě moravského Valašska.—«Časopis moravského muzea zemského», 1907—1911, s. 7—10.

из восточнославянских (украинских) районов Закарпатья шла в южные районы Моравской Валахии, вторая колонизационная волна, т. е. собственно валашская колонизация, наступила в XVI в. Это и были, по мнению И. Валека, настоящие румыны, число которых, правда, никогда не было значительным.

Решительным противником концепций, развивавшихся в румынской историографии и И. Валеком, выступил Д. Кранджалов<sup>6</sup>. Он с самого начала занял самую крайнюю позицию, отрицая всяческие румынские влияния в Моравской Валахии. Он считал, что нет оснований связывать пастушеский тип хозяйства в славянской части Карпат с приходом валахов-колонистов. Этот тип возник здесь до валахов и был обусловлен появлением балканских пастухов у карпатских притоков р. Тисы. Отсюда карпатское пастушество распространилось в Северные и Западные Карпаты так же как и в Карпаты румынские.

Д. Кранджалов писал, что проникновение пастушеского быта на север и запад Карпат нет нужды объяснять этнической миграцией, он переходил от одних этнических групп населения к другим без этнической инфильтрации, но с передачей названия «валах», которое в Западных Карпатах не имело этнического смысла, а обозначало лишь пастуха-горца. Что касается пастушеской терминологии, то Д. Кранджалов во всех языках славянского населения Карпат нашел лишь 37 слов румынского происхождения (исключение составляют украинские Карпаты, где, по его мнению, гораздо больше румынских слов). В Моравской же Валахии от нашел только 26 румынских слов в пастушеской терминологии, встречающихся в то же время в словацком, польском и украинском языках: bryuza, cap, cárrek, čutora, lujara, glaga — kléga, grapa — gropá, halbija, koliba, komarník, kulastra — kuřastva, kurnota, laja, merinda — merizaty, murganya, plekat' — plegat', podišar, regigat', rumigat', sinty — suty — čuty, strunga, urdá, vakeša, vetula<sup>7</sup>.

К сожалению, Д. Кранджалов, использовал этнографические данные не полностью. На самом деле применяемая в валашнице овцеводческая терминология в Моравской Словакии более обильна и, по-видимому, содержит гораздо больше слов восточно-романского происхождения.

Термин Моравская Валахия Д. Кранджалов выводил непосредственно из немецкой краеведческой литературы, считая его прямым переводом немецкого названия (Mährische Wallachei), употреблявшегося для этой области в австрийской военной терминологии еще в XVIII в., паряду с тремя другими землями австрийской империи — княжества на Нижнем Дунае, Олтении и пограничной со Славонией территории. Обособление Моравской Валахии как этнографической области он относил к XIX в.,

<sup>6</sup> Krandžalov D. Valaši na Moravě. Praha 1963 и др. (см. ниже).

<sup>7</sup> Krandžalov D. O valaších na Moravě. — «Československý časopis historický», 1962, N 2, s. 201.

связывая это с особенностями общественного развития Чехии и Моравии и деятельностью моравских народоведов конца XIX в.<sup>8</sup>

Оставляя в стороне работы чехосlovakских ученых, лишь попутно касавшихся проблематики Моравской Валахии (Гавуляк, Халоупецк<sup>9</sup>), следует подробнее остановиться на исследованиях Й. Мацурук<sup>10</sup>, где содержатся конкретные исторические сведения о валахах на узком участке Западных Карпат в Моравии. Й. Мацурук собрал огромный архивный материал, изучая политические, экономические, социальные и культурные условия карпатского пастушества в Моравской Валахии и Тешине на протяжении нескольких столетий.

Одними из самых значительных документов для изучения хода и характера валашской колонизации были свидетельства поданных при их спорах с феодалами о границах феодальных владений, пастбищ общин и т. д. В этих свидетельствах, а также в «валашских письмах», т. е. в жалобах пастухов на отдельных феодалов или жителей панств содержатся и многие исторические сведения.

На конкретном материале Й. Мацурук показал время прихода первых валашских поселенцев в западные Карпаты (конец XV в.), их экономическое, правовое по отношению к феодалам положение в XV—XVIII вв. в отдельных панствах Моравии, изменение функций валашского воеводы. Й. Мацурук пришел к выводу, что первые валахи в западных Карпатах были чуждый местному населению элемент, занимавшийся только пастушеством<sup>11</sup>. Валахи-пастухи пришли в Моравию с востока (из словацких Карпат, а в Словакию из Карпат восточных, т. е. украинских). Конкретные источники, рассмотренные Й. Мацуруком, говорят о том, что к переселенцам, двигавшимся с востока, присоединилось местное население. Поэтому необходимо считаться, особенно в поздний период колонизации (XVII в.), с присутствием в Западных Карпатах словацкого и польского этнического элемента, кроме указанного выше восточнославянского (украинского). Все это осложняет решение проблемы этнической принадлежности валашских колонистов, но Мацурук, в отличие от Кранджалова, все-таки признает в их среде наличие славянизированного румынского компонента<sup>12</sup>.

О смешанном этническом составе валахов-колонистов Восточной Моравии свидетельствуют их имена в источниках XVI—XVIII вв., среди них встречаются имена украинского, словацкого

<sup>8</sup> Krandžalov D. O современном состоянии изучения румынских влияний в Карпатах. — «Ethnographica», [Brno] 1960, III—IV.

<sup>9</sup> Kavuljak A. Valaši na Slovensku. — In: Sborník na počest' Y. Skultetyho. Martin, 1933, s. 336—374; Chaloupecký V. Valaši na Slovensku. Praha, 1947.

<sup>10</sup> Macůrek J. Valaši v zapadních Karpatech v 15—18 století. Ostrava, 1959.

<sup>11</sup> Ibid., s. 108.

<sup>12</sup> Ibid., s. 55, 56.

го, польского и по-видимому, восточно-романского происхождения: Bača, Beno, Cigan, Czunta, Dorolčun, Dalič, Fontana, Fagela, Halama, Chyrbjat, Ivan, Kotrdej, Kyčer, Kuběna, Maniak, Mocko, Mazura, Olepka, Opiela, Polák, Pierga, Piatkaw, Plandor, Rozmčun, Randušov, Roman, Rara, Rynoch, Schovag, Stacia, Škravan, Seliga, Svaucar, Truchančun, Tichan, Trzaska, Uher и др.<sup>13</sup>.

Продолжая работу Й. Мацурека по изучению происхождения и особенностей культуры моравских валахов как этнографической группы чехов, его ученик этнограф Ярослав Штика проследил процесс изменения значения термина «валах» в Моравии с XV до середины XIX в.<sup>14</sup> Слово «валах», обозначавшее в начальный период колонизации пастуха, постепенно с процессом оседания пастушеского населения, во второй половине XVI—XVIII вв., стало и названием жителей горных хуторов и деревень, занимавшихся, кроме того, и земледелием. Термин «валах» определял в то время два социальных слоя — валахов горных пастухов и владельцев отары, живших в деревне. Он обозначал и колонистов из равнинных областей Моравии, обрабатывавших копаницы — горные земельные участки в горах, начиная с XVIII в. Валахами же в то время назывались люди, выполнявшие государственную службу по охране лесов и границы страны, и горцы-проводники, вербовавшиеся из местного населения<sup>15</sup>.

После 30-летней войны валахами стали называть повстанцев всей Восточной Моравии, руководимых протестантами — жителями валашских деревень. Область Валахии в то время расширилась и на панства Злинское и Луковское, где «валашская колонизация» никогда не приобретала сколько-нибудь значительного размера, а отгонное скотоводство не имело решающего значения.

В течение XVIII в. значение слова «валах» опять изменилось. Оно уже не относилось к особой категории пастушеского населения в Моравии, отгонное скотоводство постепенно перестало быть основным занятием горцев, потеряли прежнее значение общественные институты в валашских поселениях. Теперь валахами называлось земледельческое население горной области Восточной Моравии, в культуре и диалекте которого замечались общие со словаками черты. Ядром этой области были панства Рожнов, Валашске Мезиржичи, Всетин и Гуквальд, более всего когда-то подвергшиеся пастушеской колонизации. Своёобразие диалекта и культуры сохранило и земледельческое население области. Моравская Валахия, таким образом, вовсе не искусственно созданная культурная область — результат деятельности чешских интеллигентов — патриотов конца XIX в.,

<sup>13</sup> Macurek J. Vaňšská kolonizace v západních Karpatech.— In: Slovanské historické studie, t. II. Bratislava, 1957, s. 245.

<sup>14</sup> Štika J. Význam slova «valách» v západních Karpatech.— «Slovenský národopis», 1962, N 3.

<sup>15</sup> Štika J. Badání o karpatském salašnictví a valašské kolonizaci na Moravě.— In: Slovenský národopis. Praha, 1961, s. 542, 543.

как думал Д. Крапджалов, а реально существующий регион со специфическими особенностями, жители которого отличали себя от соседей.

Дискуссию по вопросам происхождения моравских валахов в чехословацкой историографии нельзя признать законченной. Однако некоторые выводы из неё в настоящее время сделать можно. Но прежде чем перейти к ним, следует оговориться, что применяемая в чехословацкой, польской и румынской литературе этническая терминология не представляется удачной. Речь идет о терминах «румын» и «румыны», определении «румынский» в применении к валашскому этническому элементу и валашской колонизации XV—XVII вв. Учитывая, что румынская народность сложилась позже и не вобрала в себя весь восточнороманский этнос, применительно к рассматриваемой здесь эпохе, более правильно пользоваться термином восточные романцы и этнографическим определением восточнороманский, когда речь идет о валахах — валашах — волохах, их социальной организации, хозяйственной жизни, миграционных движениях.

Подводя итоги дискуссии в чехословацкой историографии по проблемам этногенеза моравских валахов, следует, как кажется, подчеркнуть следующие положения:

а) Моравская Валахия и моравские валахи не являются искусственным этнографическим образованием XIX в. Как особая этно-культурная область Моравии, как особая этнографическая группа чешской нации она сформировалась в результате специфики своего социально-экономического и этнического развития в предшествующий период.

б) В этническом развитии Моравской Валахии на разных этапах участвовал восточнороманский элемент (валахи), о чем свидетельствуют, в частности, и документальные источники конца XVI в., противопоставляющие валашов и украинцев словаков (Valachy et Rutheni — в письме владелицы Оравского панства, находившегося в горной Словакии по соседству с Моравской Валахией, Екатерины Зринской венгерскому королю).

в) Первые сведения в письменных источниках о валашах в Западных Карпатах относятся к XV в. В XV—XVII вв. развивается процесс так называемой валашской колонизации здесь, в которой паряду с восточнороманским элементом, принимали участие пастушеский восточнославянский (украинский), а затем словацкий и польский этнический элементы. Основное направление колонизационного потока: из восточных (украинских) Карпат в словацкие и польские, а затем в Западные Карпаты, на территорию Моравии. Этнически пестрый характер колонизационного потока свидетельствует в пользу того, что восточнороманский элемент еще до прихода в Моравию должен был подвергнуться славянизации.

г) Документально засвидетельствованная валашская колонизация XV—XVII вв. не исключает, однако, возможности более

раних валашских колонизаційних потоков на запад, не отмеченных источниками, особенно учитывая достаточно протяженные трассы отгона скота у отдельных групп валахов и социально-политическую ситуацию, складывшуюся в Карпато-Дунайских землях в связи с венгерским завоеванием и формированием венгерского феодализма. Вопрос этот следует признать открытым, требующим доследования.

д) Современные чехословакские ученые, занимаясь вопросами этнической истории Моравской Валахии, совершенно справедливо обращаются к этнической истории соседней Словакии, которая еще требует глубокого изучения и представляет собой целый комплекс перазрененных проблем. Одной из них остается степень участия восточнославянского населения в этногенезе словаков, которое дошло вместе с волной валашской колонизации до Моравской Валахии.

В венгерском тексте урбания Оравского панства от 1626 г. (на границе с Моравской Словакией) население деревень на валашском праве называлось «Oroszok», т. е. русины<sup>16</sup>.

Пастухи в Карпатах были в XVI в. привилегированным элементом: они выполняли лишь воинскую повинность, не платили податей католической церкви, а только «валашскую дань» с овец. К пастухам в горы постепенно и в Словакии присоединились местные жители — словацкие безземельные и малоземельные крестьяне, а также крестьяне спольской стороны Карпат. По-видимому, с этнической точки зрения валашское население горных районов Словакии, особенно в северо-восточной ее части было очень пестрым. Причиной массового продвижения валашских колонистов из словацких Карпат в Моравию было гораздо более тяжкое положение подданных в Венгрии<sup>17</sup>.

Это становится ясным при простом сопоставлении урбариев (т. е. перечней крестьянских податей и барщины), например, в Поважской Быстрице 1550 г. с урбариями отдельных панств восточной Моравии (Бизовицкого панства 1578 г., Гуквальского панства 1581 г.)<sup>18</sup>. Валахи, ранее освобожденные от многих податей, постепенно закрепощались, ограничивалось и их право передвижения. Естественно, что целые группы населения передвигались в поисках лучших условий жизни, а одной из самых популярных областей, куда направлялись колонисты из Словакии, была Восточная Моравия. Притоку валашских колонистов всячески способствовали крупные землевладельцы Моравии.

е) Термин «валах», означавший первоначально горного пастуха восточнороманского происхождения, т. е. имевший как этническое, так и хозяйственное значение (род занятий), с те-

<sup>16</sup> Mařírek J. Valáši..., s. 144.

<sup>17</sup> В 1574 г. в Венгрии, по решению сейма, валахи должны были платить только половину государственной подати. В 1595—1598 — 1599—1600 и 1601 гг. Ruthenis et Valachis были лишены всех прежних привилегий.

<sup>18</sup> Valašsko. Brno, 1965.

чением времени потерял в Моравии свое этническое значение, сохранившись как социально-хозяйственный, а затем только культурно-этнографический термин. В XIX в. он адекватен понятию чех — житель или уроженец горной области на северо-востоке Моравии.

ж) Углубление в проблематику этногенеза моравских валахов еще раз показало, что проблему развития пастушеского типа хозяйства нельзя отождествлять с проблемами этнического развития региона. Само собой разумеется, что восточнороманский этнос как этнос связан с пастушеским образом жизни в Карпатах. Об этом свидетельствует и пласт восточнороманской пастушеской терминологии в украинском, словацком и чешском (валашский диалект в Моравии) языках и хорошо засвидетельствованными источниками исконный характер древней славянской культуры. Однако заселение Карпат, географические условия, которые способствовали успешному развитию именно отгонного скотоводства, неизбежно вело в средние века по пути перехода к пастушеству.

Поэтому нет оснований делать вывод о том, что восточнороманский этнический элемент был древнейшим пастушеским элементом в Карпатах. Вопрос о карпатском пастушестве в древности требует особого исследования. Можно надеяться на то, что решение его будет существенно продвинуто с помощью Международной комиссии карпатской культуры, в которую входят ученые СССР, Чехословакии, Польши, Венгрии и Румынии и с которой сотрудничают этнографы Болгарии и Югославии. МКК созвала несколько подкомиссий, координирующих работу по отдельным темам материальной культуры населения Карпат и прилегающих к ним областей: высокогорному скотоводству и земледелию, народной архитектуре и поселениям, народному прикладному искусству и ремеслу, словесному и музыкальному фольклору и т. д.

Подавляющее большинство ученых, исследующих культуру карпатских горцев, в настоящее время согласилось с тем, что необходимо разграничивать проблему этнического происхождения и состава пастушеского населения валахов от проблемы происхождения карпатского типа отгонного овцеводства и путей его проникновения в Карпаты.

Изучение карпатского пастушества, естественно, было в тесной связи с изучением аналогичного хозяйственного типа на Балканах. Это не значит, конечно, что карпатское пастушество генетически связано с балканским, как думал Д. Кранджалов. В настоящее время можно только сказать, что и на Балканах, и в Карпатах с глубокой древности существовали в основном одинаковые условия, благоприятные для хозяйственного развития пастушеского типа. И это обстоятельство прежде всего вызывает необходимость исторических параллелей и сопоставления добывших этнографами, археологами, историками, лингвистами и т. д. результатов исследований.

## ХРОНИКА

### О РАБОТЕ СЕКТОРА ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ И СРЕДНИХ ВЕКОВ ИНСТИТУТА СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ И БАЛКАНИСТИКИ АН СССР<sup>1</sup>

На заседаниях сектора в конце 1973 г. были заслушаны и обсуждены научные доклады, статьи и сообщения по разным проблемам истории славянских и балканских народов эпохи средневековья. В частности, были заслушаны и обсуждены: сообщение о работе VII Международного съезда славистов в Варшаве в августе 1973 г. (А. И. Рогов), доклад по истории русско-византийских отношений середины XIV в. (Н. К. Голейзовский), статьи, подготовленные для сборника «Карпато-Дунайские земли в средние века» (Е. П. Наумов «Дипамика сербского феодализма и проблема типологических сдвигов на Балканах», Б. Н. Флоря «Россия и походы запорожцев в Молдавию в 70-х годах XVI в.»), доклад о эмблематике ранневизантийского искусства (С. С. Аверинцев), доклад о позиции государств Юго-Восточной Европы накануне и в начале русско-польской войны в 50-х годах XVII в. (Л. В. Зaborовский), о социально-политических взглядах Кекавмела (А. П. Каждан).

На заседаниях сектора в 1974 г. были обсуждены монографии Б. Н. Флоря «Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во второй половине XVI в.», Л. В. Зaborовского «Россия, Речь Посполитая и Швеция в середине 50-х гг. XVII в.», главы для коллективного труда «Славяно-германские отношения в средние века» (авторы — А. И. Вишнеградова, Г. Э. Сапчук, Ю. Ф. Иванов, А. И. Озолин). Были также заслушаны сообщения о III Международном конгрессе балканских исследований в Бухаресте, проходившем в сентябре 1974 г. (доклады А. И. Рогова и Г. Г. Литаврина), о работе над плановой

<sup>1</sup> О работе сектора в 1970—1973 гг. см. хронику в сборниках: Исследования по истории славянских и балканских народов (Эпоха средневековья) М., 1972; Вопросы историографии и источниковедения славяно-германских отношений. М., 1973.

темой «Германская империя и западнославянские государства в X—XII вв.» (Г. Э. Сапчук), о плане монографии «Формирование венгерской средневековой народности» (В. Н. Шушарин), о подготовке каталога старопечатных славянских книг (Е. Л. Несмировский), о конференции по книговедению, проведенной в Государственной Библиотеке им. В. И. Лепнина (А. И. Рогов).

В 1974 г. сектором были обсуждены также доклады Г. Г. Литаврина («Культурные связи древней Руси и Византии в X—XII вв.», «Византийский провинциальный город на рубеже XII и XIII вв.»), А. И. Рогова («Записки Япичара в историографии»), Н. К. Голейзовского («О литературном жанре толкования»), Б. Н. Флоря («Запорожское казачество и русское правительство в 80—90-е гг. XVI в.»), Г. М. Даниловой («Труд и его роль в докапиталистических формациях»), статья Е. Н. Прижимовой «Некоторые вопросы истории Салопы». Сектор рассмотрел докторскую диссертацию Ю. Ф. Иванова (на тему «Проблемы гуситизма в русской, советской и современной чехословацкой историографии»), доклад о работах А. И. Озолина по истории гуситского движения (для защиты в качестве докторской диссертации), автореферат кандидатской диссертации В. А. Артамонова на тему «Россия, Речь Посполитая и конфликт с Османской империей в 1709—1714 гг.», тему кандидатской диссертации аспиранта А. А. Турилова («Культурные связи России с южными славянами и проблемы развития местных школ русской письменности в XIV—XV вв.»).

В 1973—1974 гг. сотрудники сектора участвовали в работе различных научных сессий и конференций. Так, в сессии Археографической комиссии по составлению сводного каталога славяно-русских рукописей в СССР (Ленинград, 19—23 марта 1973 г.) принял участие А. И. Рогов. На пятой сессии Научного совета АН Молдавской ССР по изучению проблемы славяно-воловецких связей и происхождения молдавской народности (28—30 ноября 1973 г., Кишинев) было прослушано два доклада: «Проблема этногенеза моравских валахов в современной чехословацкой историографии» (В. Д. Королюк, Н. Н. Грацианская), «Воловецкая проблема в современной югославской историографии» (Е. П. Наумов). На Львовской конференции историков-славистов (октябрь 1973 г.) выступили с докладами В. Д. Королюк, Г. Г. Литаврин, А. И. Рогов, на ленинградской сессии советско-польской комиссии историков (сентябрь 1973 г.) — И. Б. Греков, А. И. Рогов, Б. Н. Флоря, на конференции Института истории искусств «Итоги и перспективы изучения древнерусского искусства» — О. С. Попова. На Международном съезде славистов (Варшава, август 1973 г.) был прочитан доклад А. И. Рогова «Россия в польских исторических и географических сочинениях XVII в.».

В 1974 г. в работе конференции по книговедению в Государственной Библиотеке им. В. И. Лепнина участвовал А. И. Рогов, который также сделал доклад на конференции по истории

белорусской литературы (Минск, 30—31 мая). Г. Г. Литаврин участвовал во втором симпозиуме по балканистике при кафедре истории и этнографии Философского факультета университета в г. Брюно (Чехословакия, 28—29 мая). В программу III Международного съезда по изучению стран Юго-Восточной Европы (Бухарест, 4—10 сентября) были включены доклады «Культурные связи древней Руси и Византии в X—XII вв.» (Г. Г. Литаврин) и «Русско-византийские фрески в Польше в свете культурных связей восточных славян с балканскими народами» (А. И. Рогов).

В 1975 г. сектором были обсуждены: глава для коллективного труда «Славяно-германские отношения в средние века» (автор — Б. Н. Флоря), текст первого тома «Истории лужицких сербов», подготовленного учеными ГДР, а также сообщения о ходе работы по плановым темам (Н. К. Голейзовского — о культурных связях Руси с Византией и южными славянами, Г. Г. Литаврина — о переводе сочинения Константина Багрянородного «Об управлении империей», Г. Э. Санчука — о переводе хроники Титмара Мерзебургского). Сектор заслушал и обсудил доклады: Ю. Ф. Иванова «Научная деятельность Н. Н. Любовича», С. П. Карпова «Связи Трапезунда с Русью», Г. Г. Литаврина «К вопросу о действенности законодательства в Византии при Македонской династии», Е. П. Наумова «Из истории болгарского Причерноморья в конце XIV в.», «Свидетельства сербских летописей в составе Русского хронографа», «Сербия и византийские государства после 1204 г.», «Анонимная болгарская хроника и общественно-политическая мысль балканского средневековья времен османского завоевания», А. И. Рогова «Связи Руси с балканскими странами в области изобразительного искусства в XVI—XVII вв.», Г. Э. Санчука «Особенности славяно-германских отношений в первой половине X в.», А. А. Турилова «Памятники южнославянской письменности в русских книгохранилищах по данным древнерусской библиографии конца XV—XVII вв.», Б. Н. Флори «Греки-эмигранты в Русском государстве во второй половине XV — начале XVI в.», «О путях политической централизации Русского и Польского государств в период развитого феодализма», А. М. Членова «К вопросу о надежности сведений Эймундовской саги, относящихся к русской истории». Сектор обсудил также план кандидатской диссертации Е. В. Ерохиной (Харьков) по истории польско-молдавских отношений в 1606—1620 гг., тему кандидатской диссертации Е. Н. Прижимовой о внешнеполитических связях Болгарии в X—XI вв., заслушал сообщения Г. Г. Литаврина и А. И. Рогова о работе XIV Международного конгресса историков (Сан-Франциско, август 1975 г.), международных конференциях «Славянские культуры и Балканы» (Варна) и «Искусство балканских народов XVI—XVII вв. и его интеллектуальное окружение» (Сучава — Яссы).

В 1975 г. сотрудники сектора участвовали в ряде общесоюзных и международных научных конференций. На VII Всеобщей

конференции историков-славистов (Черновцы, 24—27 июня) были сделаны доклады Г. Г. Литаврина, Л. В. Зaborовского, Б. Н. Флори, сообщение О. В. Ивановой. В программу X Всесоюзной конференции византиев (Москва, 3—5 ноября) были включены доклады: «Государственные крестьяне в Византии» (Г. Г. Литаврин), «Сербия и византийские государства после 1204 г.» (Е. П. Наумов). На конференции советско-польской комиссии историков (Сухуми, 28 октября — 2 ноября) на тему «Политические взаимоотношения стран Восточной Европы и Причерноморья с конца XV до начала XVIII вв.» выступили с докладами И. Б. Греков, Л. В. Зaborовский, Л. Е. Семенова, Б. Н. Флори, на всесоюзной конференции (в г. Тбилиси), посвященной античным и византийским традициям в Причерноморье — Г. Г. Литаврин. В международном симпозиуме «Искусство балканских народов XVI—XVII вв. и его интеллектуальное окружение» (Сучава — Яссы, 9—17 июня) принял участие А. И. Рогов, прочитавший доклад «Связи Руси с балканскими странами в области изобразительного искусства в XVI—XVII вв.»; А. И. Рогов участвовал также в заседании советско-румынской комиссии историков Бухарест — Сучава, 22—30 сентября). В программу конференции «Славянские культуры и Балканы» (Варна, 15—20 сентября) был включен доклад А. И. Рогова. «Культурные связи Киевской Руси с балканскими странами». Г. Г. Литаврин принял участие в работе XIV международного конгресса историков, выступив в секции «Средние века».

В первом полугодии 1976 г. сектор обсудил доклады Л. В. Зaborовского (о деятельности польской и украинской дипломатии в 1653 и 1654 гг. в связи с позициями государств Восточной и Юго-Восточной Европы), Е. П. Наумова (о трактовке проблем докапиталистических формаций в югославской историографии), Б. Н. Флори (о балканских выходцах в России в конце XVI в.) статью М. М. Фрейденберга «Динамика городской структуры в Далмации XIV—XVI вв.» и другие вопросы. Сектор заслушал также доклады В. А. Артамонова «Венгрия и русско-польский союз в годы Северной войны (1707—1712 гг.)», Г. П. Мельникова «Современная чехословацкая историография о проблемах развития городов Чехии первой половины XVI в.», А. И. Рогова «Петка Тырновская в восточнославянской письменности и искусстве», Г. Г. Литаврина «Проблема симбиоза в латинских государствах, образовавшихся на территории Византии (Феномены социальные и экономические: 1204—1261 гг.)», подготовленный для XV международного конгресса византиев, обсудил перевод Великопольской хроники (Л. М. Попова).

В 1973—1975 гг. вышли в свет следующие монографии сотрудников сектора: «Русско-польские отношения и балтийский вопрос в конце XVI — начале XVII вв.» Б. Н. Флори (1973), «Музикальная эстетика России XI—XVIII вв.» А. И. Рогова (1973), «Как жили византийцы» Г. Г. Литаврина (1974), «Восточ-

ная Европа и упадок Золотой Орды (на рубеже XIV—XV вв.)» И. Б. Грекова (1975), «Господствующий класс и государственная власть в Сербии XIII—XV вв.» Е. П. Наумова (1975). В 1975 г. в серии «Памятники средневековой истории народов Центральной и Восточной Европы» выпущена хроника Видукинда Корвейского «Деяния саксов» (вступительная статья, перевод и комментарии Г. Э. Санчука). Кроме этих работ, были изданы следующие сборники: «Вопросы историографии и источниковедения славяно-германских отношений» (М., 1973); «Юго-Восточная Европа в эпоху феодализма» (Кишинев, 1973; подготовлен Институтом славяноведения и балканистики АН СССР совместно с Институтом истории АН Молдавской ССР), «Карпато-дунайские земли в средние века» (Кишинев, 1975, совместное издание Института славяноведения и балканистики АН СССР и Института истории АН Молдавской ССР). Статьи, доклады и сообщения сотрудников сектора были опубликованы также в журналах «Советское славяноведение», «Вопросы истории», «История СССР», в очередных томах «Византийского временника» и «Средних веков», в сборниках «Историографические аспекты славяно-волоцких связей» (Кишинев, 1973), «Дантовские чтения» (1973), «Польша и Русь. Черты общности и своеобразия в историческом развитии Руси и Польши XII—XV вв.» (М., 1974; содержит материалы научной конференции Комиссии историков СССР и ПНР, проведенной в Москве осенью 1971 г.), «История, культура, этнография и фольклор славянских народов» (М., 1973; доклады советской делегации к VII Международному съезду славистов); «Аптичная древность и средние века» (вып. 10, Свердловск, 1973); «Летописи и хроники» (М., 1974), «Общество и государство феодальной России» (М., 1975), «Славяне и Запад» (1975) и др.

Е. П. Наумов

## СОДЕРЖАНИЕ

От редакционной коллегии . . . . .	3
------------------------------------	---

### ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭТНОГЕНЕЗА НАРОДОВ ВОСТОЧНОЙ, ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

В. Д. Королюк. К исследованиям в области этногенеза славян и восточных романцев . . . . .	6
В. В. Иванов. Язык как источник при этногенетических исследованиях и проблематика славянских древностей . . . . .	30
Л. А. Гиндин. Некоторые вопросы древнего балканского субстрата и адстрата . . . . .	48

### ЭТНОГЕНЕЗ И ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ СЛАВЯНСКИХ И БАЛКАНСКИХ НАРОДОВ

В. В. Седов. Ранний период славянского этногенеза . . . . .	68
В. В. Иванов, В. Н. Топоров. Миологические географические названия как источник для реконструкции этногенеза и древнейшей истории славян . . . . .	109
Л. В. Куркина. Изоглоссные связи южнославянской лексики (Материалы к проблемам славянского этногенеза) . . . . .	129
Любомир Гавлик. Моравская народность в эпоху раппского феодализма	156
А. В. Десницкая. Эволюция диалектной системы в условиях этнического смешения (Из истории славяно-албанских языковых контактов)	186
Г. Г. Литаврин. Некоторые особенности этнонимов в византийских источниках . . . . .	198

### ВОПРОСЫ ЭТНОГЕНЕЗА И ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ СЛАВЯН И ВОСТОЧНЫХ РОМАНЦЕВ В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Н. Л. Подвигина. О характере материальной культуры Болгарии в VIII—IX вв. (Краткий обзор трудов болгарских и советских археологов 1948—1973 гг.) . . . . .	218
Э. А. Рикман. Проблема этногенеза в современной румынской этнографии (О древних источниках румынской народной культуры) . .	232
Н. Н. Грацианская, В. Д. Королюк. Проблемы этногенеза моравских валахов в современной чехословацкой историографии . . . . .	250

### ХРОНИКА

О работе сектора древней истории и средних веков Института славяноведения и балканистики АН СССР . . . . .	258
--	-----

ВОПРОСЫ ЭТНОГЕНЕЗА  
И ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ  
СЛАВЯН И ВОСТОЧНЫХ РОМАНЦЕВ  
(методология и историография)

*Утверждено к печати*  
*Институтом славяноведения и балканистики*  
*АН СССР*

Редактор издательства Г. Н. Садокова  
Художественный редактор Ю. П. Трапаков  
Художник И. П. Якубовская  
Технические редакторы Ф. М. Хенюх, Л. В. Каскова  
Корректоры М. М. Баранова, И. Р. Бурт-Яшина

Сдано в набор 5/VII-1976 г. Подписано к печати 29/XI-1976 г.  
Формат 60×90<sup>16</sup>. Бумага типографская № 1  
Усл. печ. л. 16,5. Уч.-изд. л. 18,9  
Тираж 2100. Т-17788. Тип. зак. 1034.  
Цена 1 р. 19 к.

Издательство «Наука»  
103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21  
2-я типография издательства «Наука».  
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 10

**1 р. 19 к.**



**ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»**

ВОПРОСЫ ЭТНОГЕНЕЗА И ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ СЛАВЯН И ВОСТОЧНЫХ РОМАНЦЕВ